

**НОВЫЙ
МИР**

3

1934

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Т Р Е Т Ь Я

М А Р Т

М О С К В А
1 . 9 . 3 . 4

Подписку
на журнал

„НОВЫЙ МИР“

сдавайте

ПОЧТЕ,

письмоносцу, сборщику подписки и уполномоченным „Гудна“ на транспорте, или непосредственно Главной конторе Изд-ва „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“. Москва, 6, Пушкинская пл.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 год — 30 руб.

на 9 мес. — 22 р. 50 к.

на 6 мес. — 15 р. — к.

на 3 мес. — 7 . 50 к.

на 1 мес. — 2 р. 50 к.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

аккуратной доставки

„НОВОГО МИРА“

журнал в 1934 году рассылается всем подписчикам непосредственно экспедицией Главной конторы издательства отдельной бандеролью с наклеенным печатным

адресом.

ВНИМАНИЮ

ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА

НОВЫЙ МИР

Подписчики, срок подписки которых истек 1 апреля, должны немедленно возобновить свою подписку на второй квартал (апрель—июнь) и следующие месяцы 1934 года.

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОДПИСАТЬСЯ на 1934 год

на журнал

НОВЫЙ МИР

КОМПЛЕКТОМ
С ПЕРВОЙ
(ЯНВАРСКОЙ)

КНИГИ,—

должны поспешить подпиской!

Не откладывайте выписку журнала на последние дни месяца!

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. БОР. ПИЛЬНЯК. — Три рассказа	5
2. БОР. ПАСТЕРНАК. — Переводы из лрузинских поэтов . . .	12
3. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, роман, продолжение, книга 2-я	15
4. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — Недра, роман, продолжение	28
5. Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК. — I. Волга. II. Мугань цветет. <i>Записки уполномоченного, окончание</i>	62
6. И. ЛЕЖНЕВ. — Записки современника	82

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

7. А. КАРЦЕВ. — Сталиниси	125
8. М. РОММ. — Восхождение на пик Сталина, окончание	149

НАУКА И ЖИЗНЬ:

9. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение	175
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

10. П. РОЖКОВ. — Эдуард Багрицкий	195
11. МАРИЭТТА ШАГИНЯН. — Беседы с начинающим автором, продолжение	201
12. А. ЭФРОС. — Мартирос Сарьян	210

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

ДМ. ГЕЛЬМАН. — Галина Серебрякова «Юность Маркса» . . .	224
М. ПОЛЯКОВА. — М. Кахана «Осенние маневры»	225
В. Е. ЛЬВОВ. — Х. Шепли «От атомов до млечных путей» . . .	226



Статформат Б/5. 176 × 250.

Уполн. Главл. В—82.931. Объем $14\frac{1}{4}$ п. л. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак. 583. Тир. 53.000.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК ООН и ВЦИК». Москва.



Дорогого Михаила Ивановича Калинина

горячо приветствуем в день пятнадцатилетия пребывания на посту председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов и желаем долгих лет плодотворной работы.

Редакция журнала „НОВЫЙ МИР“.

Три рассказа

БОР. ПИЛЬНЯК

I. МАСТЕРА

В Москве, Тверская 37, на чердаке, в мастерской художника Семена Матвеевича Гузикова застряло фортепиано мастера начала прошлого века А. Мэйбома. Товарищ художника в 1914-м году, мобилизованный в армию, оставил фортепиано сначала на хранение, а затем навсегда, будучи убитым на фронте. Фортепиано никто не спрашивал, фортепиано принадлежало убитому. Художник Гузиков медленно, трудно, мужественно и одиноко умирал. Вместо окон у художника была стеклянная крыша, откуда только небо видел художник. Похожее на ларь красного дерева, фортепиано, никогда не настраивавшееся, за годы одряхления и умирания художника окончательно потеряло первоначальный свой смысл, вложенный в него сто лет тому назад мастером Мэйбомом,—художник складывал на нем и под него картины, растирал на нем краски. Вещь принадлежала убитому, за ней могли притти родственники убитого, если вообще они существовали, — в умирании художник распродался, — и фортепиано в одиночестве мастерской художника превратилось в стол, на нем художник — на примусе — грел воду, за ним — стоя — обедал и писал письма. Фортепиано покрылось коростой краски, подтеков, ожогов, пыли. Пожелтевшие, кое-какие клавиши вывалились из него, как зубы к старости.

И другой жил художник, молодой и здоровый, устраивавшийся на долгую жизнь, отбыв студенчество и первоначальную молодость. Он был коренным

москвичом. В его переулке от детства он помнил старика, седого, сухого, никогда не горбившегося и никогда не научившегося как следует говорить по-русски, — музыкального мастера Иоганна Августовича Мейера. Художник в детстве кланялся с Иоганном Августовичем. Художник в юности сдружился с Иоганном Августовичем. Он заходил к мастеру. Мастер жил одиноко. В московский полуподвал он перенес традиции нюрнбергских переулков, чистоту, свежесть воздуха, медленность времени, едва-едва уловимые запахи меда, канифоли и воска. В синем халате покроя шлагфрока, негорбящийся, Иоганн Августович, казалось, не работал, но наблюдал лишь, гипнотизировал медленным вниманием рояльные и пианинные разбитые временем и неумелыми руками музыкальные души. Иоганн Августович говорил только о музыке, он философствовал об искусстве. Иоганн Августович называл себя пролетарием. Художник запомнил любимую мысль, а может быть, и мечту Иоганна Августовича.

— Ми, майстера искусства — —

Мастера порядка Иоганна Августовича — пролетарии вдвойне: они пролетарии по своему социальному положению, ибо право на жизнь им дает их труд; — и они пролетарии потому, что мастерство их уха и рук интернационально; — Бетховен — великий мастер Бетховен — может поднять всё величественное в человеке и может опустить человека в прах — человека — японца, русского, абиссинца, канадца; — звук не ограни-

ген нароодообразованиями, как язык, предположим, — звук интернационален. Но звук будет принадлежать всему человечеству только тогда, когда он, Иоганн Августович Мейер, пролетарий по социальному своему положению и по убеждениям своим, вместе с остальными братьями — людьми пролетарского труда и миромышления, озонируют мир социалистическими революциями — так говаривал Иоганн Августович еще до девятьсот семнадцатого.

Молодой художник выехал из переулочка на главную улицу в живописных своих успехах. Художник устраивался в жизни. Молодой пришел к Семену Матвеевичу Гузикову, увидел фортепиано, расспрашивал о нем, Семен Матвеевич рассказал историю о том, что фортепиано принадлежит мертвецу, — и молодой убедил Семена Матвеевича продать фортепиано, — «я тебе привезу взамен него стол, и возьми денег, сколько ты считаешь» — Семен Матвеевич отказался от денег, — не покупал, о родственниках ничего не знает, — и не вернешь же денег человеку, убитому без малого лет двадцать тому назад!

— Бери, если хочешь, только, пожалуйста, без денег...

Молодой решил восстановить тот смысл фортепиано, который вложен был в него сто лет тому назад мастером А. Майбомом. Младший поехал за Иоганном Августовичем. Иоганн Августович не работал уже дома, он работал в совете, он организовал работы. Иоганн Августович осмотрел фортепиано.

— Адольф Майбом... — глаза Иоганна Августовича стали лиричными. — Майстэр натшало прошлый век. Адольф Майбом биль утшитель моего утшителя Карла Бернса... Скрыбин не будет звутшать на этот фортепиано, — сто лет назад биль не такой звук, как ест сейтшас... Но великий Бетховен!.. Хорошо, я сделаю этот инструмент, он будет звутшать, как он звутшал сто лет назад... Адольф Майбом, он умер в пятьдесят третий год прошлый столетий, он биль утшитель моего утшителя... Инструмент будет жить!

Иоганн Августович предложил предварительно пригласить краснодеревщи-

ков с тем, чтобы они отчистили от краски и пыли тело инструмента, реставрировав красное дерево. В память прежних бесед и в память учителя Иоганн Августович обещал вернуть инструменту его столетье. Молодой уволок фортепиано на новую свою квартиру. Краснодеревщики таинственно приходили в неурочное время, таинственно и неурочно уходили, иногда работали, иногда пили водку и через три месяца работу закончили.

Молодой поехал за Иоганном Августовичем. Он позвонил к нему в подвал, ему отпер незнакомый человек.

— Иоганн Августович Мейер умер полтора месяца тому назад, ему было восемьдесят четыре года...

Молодой постоял у парадного, в дом не вошел, постоял и вернулся обратно на главную свою улицу, в раздумьи о времени. Он стал искать другого мастера. Друзья и знакомые присылали к нему настройщиков, их переходило с десятков. Все они снимали пиджаки, поднимали крышку фортепиано, рассматривали порванные струны и битые клавиши, разглядывали фортепиано снизу, надевали пиджаки и говорили:

— Не-ет, починить невозможно. И нет смысла. Купите новый инструмент. А матерьял — дерево — действительно хорошо, смотрите, какое пламя, — позывите краснодеревщиков, сделайте, что хотите: либо шкаф, либо стол, либо диван, матерьялу много, матерьял окупит новое пианно.

Перед тринадцатым по счету, отказавшимся так же, как и предшественники, от работы, — перед ним молодой вознегодовал.

— Чорт знает, что такое!.. если бы я знал! — Вы понимаете, я купил эту рухлядь на чердаке, я пригласил мастера, он обещал реставрировать инструмент так, как он звучал бы при Бетховене, он предложил мне сначала отполировать его и — умер... Вы — уже тринадцатый, который... Вы слышали о мастере Мейере...

— Об Иоганне Августовиче?

— Да, он был моим другом, он...

Лицо тринадцатого сосредоточилось. Он вновь снял пиджак и подошел к

инструменту. Он долго молчал, рассматривая душу инструмента. Он очень долго молчал, мастер.

— Иоганн Августович говорил вам, что он намеревался возродить бетховенский звук? — мастер опять надолго замолчал, разворачивая и раскладывая на первоначальные элементы душу инструмента. — Иоганн Августович был замечательным мастером, настоящий художник, — мастер помолчал, — и был честнейшим человеком, настоящий пролетарий, — мастер помолчал. — Я был у него учеником...

Мастер замолчал надолго и затем сказал строго и сухо:

— Вы — член партии?

Художник развел руками, молвил в полтона — нет.

— Иоганн Августович, — сказал художник, — он... Он говорил, что звук этого инструмента должен жить — в память учителя Иоганна Августовича — мастера Мэйбома...

— Хорошо, я все-таки сделаю вам инструмент, как сделал бы Иоганн Ав-

густович. Я сделаю это в память Иоганна Августовича. О деньгах мы с вами не будем говорить, это не главное, я возьму с вас реальную стоимость труда и матерьялов. Я сделаю это для Иоганна Августовича, если он обещал вам... Пролетарии умеют хранить искусство! — Вы знали, что Иоганн Августович был членом партии с 1903-го года?

Художник развел руками, молвил в полтона:

— Нет, — он говорил со мной много о пролетарской революции, это было, когда я гимназистом... но — о партии...

— Никто никогда не слышал об этом от самого Иоганна Августовича, — какой скромности был человек!..

Фортепиано, сделанное сто лет тому назад, принадлежавшее мертвецу, найденное у умиравшего, было возрождено мастером Алексеем Сосницким, учеником Иоганна Августовича. Смысл инструмента, созданный мастером А. Мэйбомом, был восстановлен, — смысл звучания для искусства.

Ямское поле
11 марта 1934.

II. ТЕНЬ ПИСАТЕЛЯ ГОГОЛЯ

Старые наборщики, особенно ручного набора, живут в Москве такую же колонией, как правозаступники, врачи и художники. Ручной набор, как хирургия и актерское искусство, останутся у человечества навсегда, и лишь капиталистический режим ставил наборщиков на нижнюю социальную полку по сравнению с актерами например. Ручной набор — это конечно искусство. Каждый наборщик перенабрал, а стало быть, и перечитал, такое количество истин и абзацев, что Гоголь был прав, рассказывая и утверждая, как, когда набирались его «Мертвые души» и наборщики весело хохотали над ними, — как этот наборщик хохот был лучшей критикой для Гоголя, вернейшей и убедительнейшей. Извест-

но: повара (тоже люди искусства) презирают ресторанные сладости.

Жил да был в Москве артистический род, пропахший нафталином степенности. Мать была провинциальной актрисой, ныне в отставке, организовавшей некогда Русское театральное общество в Тифлисе. Дочь играла классические роли в академическом Малом театре. Муж дочери был правозаступником и степенным театральным критиком, сотрудником академических изданий. В этот артистический дом позвонили однажды. Театрального критика спрашивал — актер Волжанин-Бурлак. Театральный критик, выходя к посетителю, рылся в памяти: «Волжанин-Бурлак?.. Бурлак? — провинция, семидесятые годы?.. откуда помню?..» Пе-

ред театральным критиком стоял бритый старик, актер, в аккуратной толстовке, со старомодною цепочкой от часов.

— Волжанин-Бурлак, Василий Павлович, провинциальный актер, — сказал посетитель так, как говорят знаменитости.

— Как же, как же!.. — ответил критик. — Откуда вы!? — пятнадцать лет революции...

Все же критик оставил на минуту гостя, чтобы справиться у жениной матери о том, кто такое Волжанин-Бурлак. «Волжанин-Бурлак! батюшки, ужели жив!? — воскликнула мать. — Как этот актер волновал сердца всей провинции... но сколько же ему лет!? Я еще институткой в Казани...» — старуха не договорила, побежав к гостю.

— Василий Павлович, ну, как же, как же!.. девочкой, еще в институте, я слыхала на балу у казанского генерал-губернатора, как вы читали апухтинского «Сумасшедшего», — как вы читали!.. Вы не помните, конечно, — мы играли с вами, в Тифлисе, в Обществе, — вы играли Фамусова, а я Лизу... помните Бетхудовых!?

— Катерину Ивановну с Нодаром Акакиевичем?

— Ну да! ну да! — лицо старухи засияло счастьем воспоминаний. — Но, простите, сколько же вам лет!?

Лицо старика ответило счастьем благодущия.

— Сто один годок, сударыня! — весело ответил старик.

Старик чрезвычайно сохранился, — ему не было больше семидесяти. Актерская профессия не позволила ему сгорбиться, его зубы были целы, и он никак не шепелявил, водка лишь да долгое стояние на сцене переродили его ноги в плоскоступье. Это был знаменитый, знаменитейший провинциальный актер второй половины девятнадцатого века, знаменитый актер и легендарный, как бывало только у актеров, самодур, когда их самодурство сходило им с рук за счет их артистизма. Часа на полтора в квартире критика, за чаем с печеньями и за стаканом вина с яблоками, поселилась российская театральная провинция ше-

стидесятых, семидесятых, девяностых, девятисотых годов. Это была живая хронология. «Владимир Николаевич Давыдов, — Володя, — а вы знаете, что в Казани он начинал с оперетки», — «Вася Качалов, он же студент Шверубович, — Саратов...» — «Бетхудовы, бал на святом Давиде...»

— Наместник? — как же, как же!..

Старуха перебила Волжанина-Бурлака, сказала критику:

— Ты знаешь, Ловочка, что наделал в Тифлисе Василий Павлович!? — расскажите, расскажите!..

— А мы загуляли с грузинскими князьями, день пьем, два пьем из рогов, и надоело нам пить одним, и выяснилось, что двое приятелей у этих князей сидят — один на гауптвахте, а другой — хуже, в Метехском замке. Я и сказал с перепоя моим князьям, что могу через час доставить этих друзей сюда в «Симпатию», так назывался духан, в котором мы одни пили, выгнав остальных посетителей. Пошли на пари. Я потребовал от князей лихую тройку, помчал в театр, загримировался наместником, надел костюм и — в Метех на тройке. Комендант! — Отпереть ворота! — Прошел к князю. Одеваться! за мной! — Вместе с этим князем заехал на гауптвахту. Князья, надо сказать, ни живы, ни мертвы. Я молчу и еду с ними в «Симпатию». Двое суток еще пили, а потом я сам отправился в Метех, но сидел всего тоже двое суток, наместник освободил за остроумие.

Театральный критик хохотал и вспоминал, как некогда он читал об этом эпизоде у кого-то в артистических мемуарах. Часа через два Волжанин-Бурлак запросился домой и сказал цель своего визита: стар, много видел, грамотности нижесредней, хотел посоветоваться с критиком, как бы ему не похоронить в могиле его воспоминания, сам мемуаров написать не сможет. Критик прикинул в голове, — «социальной базы в рассказах нет, придется проработать, но материал... можно будет взять стенографистку», — и критик сказал:

— Давайте проработаем вместе.

— Вот об этом я и хотел просить вас, голуба!..

Уговорились о времени и практике работы. Прощались друзьями. Критик был поражен бодростью старости. Уже на пороге парадного, совершенно отлично сыграв, объяснив, что пенсия будет только пятнадцатого, в совершенном актерском мастерстве Волжанин-Бурлак попросил взаймы, не указав суммы. О том, что Волжанин-Бурлак будет прожить взаймы, критик знал в момент его прихода, — но дал ему половину своего бумажника, двадцать восемь рублей, с легким сердцем, в качестве аванса под работу.

Критик вышел из дома, чтобы потолкаться среди приятелей. Всем он рассказывал о поразительном визите, о поразительной старости и о той книге, которую он сделает. Старуха дома встретила его чрезвычайно недовольной.

— Этот твой визитер, — сказала она. — Он Давыдова называл Володей и говорил, что играл с ним в Казани... Играл с Давыдовым Волжанин-Бурлак, да не этот твой визитер.

В мемуарах Владимира Николаевича Давыдова сказано, что замечательнейший провинциальный актер Волжанин-Бурлак, не игравший на императорской сцене исключительно по своему самодурству, не создавший только поэтому себе мирового имени, умер в 1901-м году, опившись.

— А ты ему дал двадцать восемь рублей!..

Но у театрального критика — все же он любил искусство — загорелись глаза, он забегал в волнении по комнате с го-

рящими и пустыми глазами, спрятанными в приятные мысли.

— В таком случае, в таком случае... это еще замечательнее, мамынька!.. у нас был сегодня гениальный человек, гениальный актер, который сыграл перед актрисой и критиком гениального Волжанина-Бурлака!.. и — как сыграл!.. это ж еще замечательнее, мамынька!..

Дом артистического рода находился в одном из переулков на Тверской, неподалеку от типографии «Известий ЦИК СССР и ВЦИК». Как-раз против переулка на Тверской была закусовая-пивная. За мраморным столиком там сидели старики-наборщики, отдыхали, ели сосиски и пили пиво. Выигравший пари угощал и говорил от времени до времени:

— Это тебе не у Пастухова статьи писать об искусстве!.. — это тебе живой Гоголь!

Наборщики, собравшись иной раз в пивной в компанию или зашед друг к другу в гости, вспоминают «Московский листок» вместе с Пастуховым или Ивана Дмитриевича Сыгина. Пастухов писал в московском своем «Листке» бесконечный роман «Разбойник Чуркин», — так долго писал его, что вызван был однажды вице-губернатором и услышал от вице-губернатора следующую речь: «Ты это что же, Пастухов, не признаешь авторитета полиции!?! — полиция ловит ловит твоего Чуркина и поймать не может!?! — чтоб завтра, в воскресном номере, твой Чуркин был пойман и предан суду!» — В воскресенье Чуркин был пойман.

Ямское поле.
15 марта 934.

III. ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЯ

Обстоятельства, определившие рассказ, возникли в годы от четырнадцатого до девятнадцатого. Безвестный человек — из Каширы, из Саратова, с фронтов — писал другу письма обо всем, что происходило с ним, по поводу чего он размышлял. В морозах Каширы и Саратова, в отдыхе на шпалах было

много пустых часов за обвалами событий, — и, лежа на земле, сидя около печурок, человек писал:

«Дорогой Николай, вчера» —

В Москве жил товарищ, друг, который получал письма. Письма приносили в Москву революцию и события российских весей и верст. Письма прихо-

дили в стальные события московских режимов и складывались в строгий архив.

Обстоятельства, создавшие рассказ...

Прошло пятнадцать лет.

Автор писем поселился в Москве. Автор писем стал писателем. Его имя прогремело по всем российским весям и на языках, как союзных в социализме народов, так на языках феодальных и капиталистических стран, от Калькутты через Шанхай до Токио, от Токио через Сталинабад до Парижа, от Парижа через Буэнос-Айрэс до Нью-Йорка и Лос-Анжелеса. В Москве жил веселый парень, который никогда не ходил, но всегда бегал, который писал свои повести с такой же легкостью, как некогда писал письма со шпал, как гонял по Москве, от Москвы до Ленинграда, от Ниагарского водопада до Голливуда, автомобиль, сидя за шофера, — как гонялся за тысячами километров от Пейпина через Шпицберген до того ж Голливуда, — как весело читал самые злобные статьи о себе с тем, чтобы забыть о них через десять минут. Этот человек очень много терял в жизни — и всегда очень легко, в обретении нового; так потерял он зубы, так потерял он рыжие волосы, сменив их на белесую седину. Писатель знал, что судьба его определена революцией — и: «отсюда все качества», — именно это давало бодрость для дел и для жизни.

Тот, кому адресовались письма, — судьба того сложилась иначе. В стальном режиме московских дел пятнадцать лет под ряд, как каждый день, — каждый день этого человека был рассчитан с точностью до четверти часа. Это были просторы окон рабочего кабинета, в просторном свете за которыми виднелись кремлевские стены, в просторе пространств за которыми по всему социалистическому Союзу от фисташковых рош в Каратегине до низкорослой березы в заполярных тундрах командовались социалистические леса, рубились, сплавлялись, штамповались, железными дорогами и реками свозились на строительство пятилетки, океанскими пароходами направлялись в Ливерпуль, Гамбург, Йокोगаму, Сент-Диего для денег

на пятилетку. Это были свинцовые сумерки заседаний. Это были экспрессы европейских и союзных дорог, к которым надо приезжать за пять минут до отхода поездов. Это была очень большая и сложная работа, где мысли, внимательность и расчеты должны были комбинироваться так, как винты, поршни и цилиндры комбинируются в двигателе внутреннего сгорания.

Писатель любил вваливаться не вовремя, неожиданно, шумно, с приятелями, — телефон и режим для писателя были обременением, телефон и режим никак не организовали. Совершенно естественно, встречи у друзей иссякли.

Прошло пятнадцать лет.

Экспресс уходил в Ленинград. За пять минут до отхода на международный вагон сели два друга. Это было совершенной случайностью. Они не видались года три. Писатель засыпал друга новостями и пустяками. Проводник принес чай и сухари. Под полом вагона колеса и рельсы говорили нечто вроде: — вчера-ве-че-ра! — Поезд уходил в таежную Ленинградскую область, в таежный мрак.

— До тебя нельзя дозвониться, — сказал Николай, — или ты в Нью-Орлеансе, или ты спишь, или тебе забыли передать о моем звонке. Я тебе должен деньги.

— За что!? — весело спросил писатель.

— Ты знаешь, Бонч организовал литературный музей. Я продал ему твои письма, помнишь, те, которые ты мне присылал из Каширы, из Саратова и с фронтов. У меня они лежали бесцельно.

— И он — купил? — спросил писатель никак не весело и даже смущенно.

— Купил, как видишь.

Поезд уходил в таежную область. Писатель лег на верхней полке и долго не спал, куря и грызя мундштуки папирос. — Пространства, время. Поезд отсчитывал: — вчера-ве-че-ра... Когда это было? — всего пятнадцать лет тому назад? уже пятнадцать лет тому назад? — вчера?.. вчера-ве-че-ра... И это уже котируется, письма, содержание которых забыто, — котируется под смерть,

под время, — котируется по курсу в смерть!?. Действительно, содержание писем забыто, империалистическая война, провинция, русские веси, революция в весях, — но, стало-быть, — но, стало-быть, если письма уже покупаются, эпоха отлита в истории так, что ее пора уже хранить и охранять, как музейности? — письма, должно-быть, уже желты и чернила на них кое-где побелели... Конечно, они правы, этот рационализа-

тор с нижней полки и Бонч, письма надо положить в литературный музей революции, — но я, я, я?!.. — я — история? — но я же — жив! — что же — история жива!?. Вче-ра-ве-че-ра!.. Ленинград, классический город бывшей Российской империи и международной коммунистической революции, как сказано в учебниках физической географии, лежит —
Обстоятельства, определившие рассказ, изложены.

Ямское поле
14 мая 1934.

Из грузинских поэтов

БОР. ПАСТЕРНАК

Николо Миццишвили

Сталин

Своей страной ты выкован, как меч,
Как мысль без сна, как вечное

исканье,
Как скрытых мук прорвавшаяся речь
На потрясенье старым основаниям.

Твой край соединил в одну слезу
Все слезы толп, и ей, как горной соли,
Алмаза твердость дал в твоём глазу,
Чтоб растоплять, как солнце,
лед неволи.

Он Прометеевым огнем согрел
Тебя, и ты, по старой сказки слову,
Из зуб дракона нижешь тучи стрел,
Орфей, с рабов сдвигающий оковы.

Твой край тебя на подвиг снарядил
И щедро одарил тобой народы,
Чтоб всей игрой согретых кровью жил
Ты радугою лег на их невзгоды.

Ты та мечта, что он хранил промеж
Двух тысяч лет, в крошечной тьме
лелея, —

Прошел моря борьбы, как
Гильгамеш¹⁾,
Герой седого эпоса Халдеи.

Живущий в камне гений россиян
Встал над тобою северным сияньем,
И вы, как с океаном океан,
Теперь одно безбрежное плесканье.

И ты недостижимого достиг:
Ты пересоздал ум людей и душу,
Рука с серпом накрыла материк,
А с молотом — ушла концом иза сушу.

Как коммунизма имя, так и твой
Звук имени стал словом обихода,
Как слово: хлеб, река и промовой
Клич Лилео¹⁾, гимн солнцу над
природой.

Хотя, принадлежащий всем краям,
Ты всюду станешь страждущих
скрижалю,
Будь гордостью еще особой нам
И нашей славой, человек из стали.

Валерьян Гаприндашвили

1. Октябрьские строки

Иной поэт мне кажется Бетховеном,
Что слушал бурю, издали ей внемля.
Сказав «прости» заоблачным
диковинам,
В противность им, спустились мы
на землю.

Мы высypали из дому на улицу,
Где ходят массы световой завесой.
Затянем гимн, по-новому
разгулистый,
Мы, выросшие по часам Загэса²⁾.

Мы жидкой стали пропитались
тяжестью,
И наши песни возмужали с нами.

¹⁾ Гильгамеш — легендарное лицо ассиро-вавилонского эпоса того же названия.

¹⁾ Лилео — сванетский гимн солнцу.

²⁾ Электростанция на Куре, близ Тифлиса.

Уже луна нам знаменем не кажется,
 А общность темпов — ныне наше
 знамя.

Волшебно строится иная Грузия.
 Послужим ей всей нашей правдой
 новой.

Чем наши руки будут заскорюзлее,
 Тем полновесней всколосится слово.

Как никогда, зовут гудки фабричные
 В ряды со мной, друзья и однолетки!
 Поэзию живет одно сверхличное,
 И тем же дышат люди пятилетки.

Найдем слова, рожденные
 строительством,
 Бессонность сроков изберем размером
 И нормы прежних выработок
 вытесним,
 Одушевляясь С т а л и н а примером.

2. С галерки оперного театра

Смотрю на сцену, свесясь,
 Как попугай в окне.
 Вступленья всходит месяц.
 Горю; мой слух в огне.

Меня не мрак безумит,
 Упавший вниз, в партер.
 Чудит один инструмент
 На дне его пещер.

Курлыкая, как аист,
 Он задирает клюв,
 Свести весь зал стараясь
 С ума, и, вдруг свихнув,

Оркестр засел в теснине.
 То — духовидцев сбор.
 Потребуй Паганини, —
 Влетит во весь опор.

Певица льнет все кротче
 В край Фаустовых уст.
 Вальпургиевой ночи,
 Дрожа в углу, дождусь.

Лью голубые слезы:
 Внизу пустив росток,
 Фиалка ариозо
 Переросла раек.

В пахучий венчик пялюсь
 Ресницами во сне,
 И в этот миг Новалис¹⁾
 Уж не соперник мне.

Колау Надирадзе.

1. Песня

Сдается, — месяц запотел,
 И рядом с диском уменьшенным
 Я точно только-что летел
 В коляске детской с капюшоном.

И вдруг такая даль в дому,
 Что даже звезды будто внове,
 И верю — руки подыму,
 Взмахну и поплыву вдоль кровель.

Так шибко снилось детство мне,
 Что отмелькало, как ширянье
 На неоседланном коне
 Росистым лугом ранней ранью.

2. Белая алыча²⁾

Весна. Горячие лучи —
 Как драгоценные камни.
 Из-за цветущей алычи
 Смотрю на горы в отдаленьи.

О, сердце! Только я смиришь, —
 Тебе и все б уж тут. Тебе бы
 И голубем бы с ветки ввысь,
 И облачком бы к краю неба.

Полюбовалась бы! Я весь
 Под лепестков молочной пленкой.
 В глазах рябит, а перевесь —
 Несутся за пчелой вдгонку.

Гляди, вся ветвь в цвету. За ней
 И смежными — прохлада балок,
 И даль, и горы — цепь теней,
 Парящих складами фиалок.

От радости я сам не свой.
 Так и нырнул бы, словно лодка,
 В бездонный полдень головой
 И вынырнул до подбородка.

¹⁾ Новалис (Фр. Гарденберг) — немецкий романтик начала XIX в.

²⁾ Алыча — род сливы.

Приди, по вике пробегги,
Разросшейся напропалую.
Я помню жар твоей руки
И все ступени поцелуя.

Как женщина, ты расцвела
Тогда, почти-что в те недели,
Как, в смену дыням без числа,
В деревне персики созрели.

В густом ореховом шатре,
Под виноградом, висшим в дыры,
Я помню губы в коже
Растрескавшегося инжира.

И помню жатву, и потом
Сбор кукурузы, скрип аробный,
И днем, и ночью босиком
Твой дробный топот расторопный.

Весна. Побегги алычи
Кипят в цвету, шепча и ластьясь.
Кипите же и вы, ключи
Тепла и жизни — слезы счастья!

3. Окрокана¹⁾

Приходит в зрелость все во мне..
И мастерство на той ступени,
Когда в душевной глубине
Любовь приносит дар прозренья.

Покойтесь, слезы прошлых лет!
Я больше не пролью вас, мир вам.
Хочу смеющихся побед.
У гор родных признанье вырву.

Ей-ей, не стоит стольких гризги
В свои утраченные сроки.
Живи лишь ты отныне, жизнь.
Забудь, забудь мои упреки.

¹⁾ Дословно: золотая нива.

Благодарю за все и вас,
Минуты в срок и неурочье.
Возобновляя ваш запас,
Уходят дни, приходят ночи.

Хотя не время для молитв,
И праздности линяют перья,
Но что-то и средь дел велит
Открыть высоким чувствам двери.

Чтоб все, что искушало ум
И растлевало глаз невинность,
Из потайных сердечных сум
На свет широкий с пенем вынести.

Чтоб рассказать, как, полюбя
Все правое, спиной к причудам,
Я рад бы, позабыв себя,
Стать братства высшего сосудом.

А вы, которых нет¹⁾, и впредь
Мне больше не обнять руками,
Для вас останется гореть
Заплаканного сердца пламя.

Я вас не брошу вдалеке,
Но захвачу в ряды азарта,
Как зажимают в кулаке
Кусок отбитого штандарта.

О, Окрокана, ты, как сот,
Течешь, мне в душу меду вылив.
Как прежде, верую в полет
Мечты о паре вольных крыльев.

Одна она равняет слог
С тобою, золотая нива,
И гонит по колосьям строк
Все, чем глаза и уши живы.

¹⁾ Поэт вспоминает умерших юных друзей — поэтов Сандро Цирекидзе и Шалви Кармели.

Петр Первый

Роман

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами, — вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план, — стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов, — план этот не удался: центр русских сразу был прорван — войска Автомона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки — Семеновский и Преображенский.

Шел четвертый час, стрельба не затихала. Валил, крутился снег. До темноты необходимо было закончить бой победой, иначе четыре батальона шведов, проникшие в центре в лагерь, потрепанные и уставшие, могли быть в свою очередь окружены и уничтожены, если русские осмелятся наконец выйти из-за палисадов, — на флангах у них, по скромному расчету, оставалось тысяч пятнадцать свежего войска.

В начале боя Карл с тремя эскадронами кирасир находился между колоннами Стенбока и Мейделя, чтобы видеть одновременно атаку центра и правого

фланга. Здесь застала его метель. Наступающие колонны скрывались за белой снегой, не стало видно даже всплшек орудий. Карл, подняв нос, сжав зубы, слушал упоительные звуки боя. Подскакавший адъютант генерала Реншельда рапортовал, что гренадеры прорвали центр и гонят русских в глубь лагеря. Карл, схватив офицера за плечо, крикнул в ухо:

— Скажите генералу — король приказывает остановить преследование, занять центральный редут, приготовиться к обороне, ждать распоряжений...

Одного за другим он посылал вестовых на правый фланг к Шлипенбаху, безуспешно штурмовавшему линию укреплений Вейде... «Передайте генералу — король удивлен». Он послал ему в подкрепление две роты из резерва, но их не нашли и не послали. Шведы бешено штурмовали полуразрушенный палисад, генерал Вейде был ранен осколком бомбы, русские продолжали отбиваться чем попало...

Опасность увеличивалась с каждой минутой. Вчера на военном совете все генералы высказались против безумной операции под Нарвой: с десятью тысячами голодных, измученных солдат, навьюченных мешками (обозы пришлось бросить в поспешном наступлении), броситься на пятидесятитысячную армию за сильными укреплениями... Это было бы неосторожно... Но Карл сказал: «Вы-

См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

игрывает наступающий, опасность увеличивает силы, завтра вы приведете ко мне в палатку царя Петра...» Он изложил генералам свою диспозицию, — в ней было предвидено и учтено все, кроме бурана...

Подняв нос, вытянувшись в седле, весь занесенный снегом, он вслушивался в звуки боя. Опасность пьянила его. Эта игра несравнима даже с охотой на медведей в Кунгсёрском лесу. Ветер с особенной силой доносил выстрелы с левого фланга, где два батальона гренадер генерала Левенгаупта штурмовали позиции семеновцев и преображенцев. Неужели и там, в наиболее ответственном месте, еще нет успеха?

Обернувшись, Карл схватил за узду чью-то лошадиную морду (лошадь и всадника за бураном не было видно), крикнул, чтобы послали четыре роты из резервов в помощь Левенгаупту. Лошадиная морда вздернулась, исчезла. (Эти роты также не были найдены и посланы.) Пальба слева становилась все отчаяннее. Из облаков снега выскочил занесенный всадник:

— Король... Генерал Левенгаупт просит подкреплений...

— Я послал ему четыре роты... Я удивлен...

— Король... Палисады разбиты, рвы завалены фашинами и трупами... Но русские отошли за рогатки... Они озверели от страха и крови... Выкрикивают ругательства и лезут на штыки... Генерал Левенгаупт получил несколько ран, и пеший продолжает сражаться впереди солдат...

— Указывай дорогу!..

Карл толкнул коня, нагнувшись против снега и ветра, поскакал о стремя с посланным офицером в сторону выстрелов на левом фланге. Ветер, пронизывая тело, казался, пел в сердце... В этом упоении ветра, снега, грохота выстрелов ему нужно было ощутить сопротивление клинка, входящего в живое тело... Офицер что-то крикнул, указывая вперед, где на снегу расплылось желтое пятно... Это было занесенное русло ручья. Карл вонзил шпоры, конь тяжелым махом перенесся через желтый снег и увяз в трясине, вскидываясь,

глубже увязил зад, захрапел ноздрями в снежный ветер. Карл соскочил, — левая нога погрузилась в вязкий ил по самый пах... Рванул, вытащил ногу из ботфорта, на четверенках, потеряв шляпу и шпагу, пополз на тот берег, где, спешась, стоял офицер, протягивал руку...

Так — об одном ботфорте, без шляпы — Карл вскочил на его дрожащую, покрытую ледяной коростой, худую лошадь, колотя одной шпорой, поскакал на близкие выстрелы, дикие крики. Лошадь стала перепрыгивать через снежные бугорки, — это были убитые или раненые... Впереди перебежали неясные тени. Огненно грохотнула пушка... Неожиданно близко он увидел беспорядочную толпу своих гренадер — они угрюмо стояли, опираясь на ружья, глядели туда, где за истоптанным, окровавленным снегом, за уткнувшимися телами убитых торчали наискось острые колья рогаток. За ними колыхалась стена русских. Они что-то надрывно кричали, грозя кулаками и мушкетами. Видимо, только-что была отбита атака...

Он наехал лошадью на гренадер: «Шпагу!» — крикнул, как выстрелил... К нему обернулись, его узнали... Нагнувшись с седла, вытянул руку, растопырив пальцы: «Шпагу! (Кто-то сунул ему в руку эфес шпаги.) Солдаты! Честь вашего короля — здесь, на этих рогатках... Они должны быть взяты... Вы опрокинете в Нарову этих грязных варваров. (Поднял шпагу, и сейчас же протряхнул зацепил горн, и второй, и — еще, невидимо за метелью.) Солдаты... С вами бог и ваш король!.. Я иду впереди вас... За мной!..»

Он поскакал по кровавому снегу. Позади угрюмые глотки рявкнули: «Во имя божье». Из-за рогаток раздались редкие выстрелы. Он наметил одного, великаньего роста, широкий русский стоял, нагнув башку, посреди бреши в рогатках, разбитых ядрами... Усмехаясь, Карл поднял лошадь на дыбы, русский с озверелым лицом вонзил штык, как вилы, в грудь лошади... Карл распластался по конской спине, соскальзывая, со всей силы вытянулся, погрузил шпагу в грудь великану...

Но, соскакивая с коня, он пошатнулся... (Вокруг — оружие рты, лязг железа, хрусткие удары.) Его толкнули, — упал. Тяжелый сапог наступил на спину, вдавил в снег... Сейчас же короля подхватили, подняли, понесли... Мысли его смешались. Карл очнулся на пушечном лафете под вонючей шинелью. Горны протяжно играли отбой. Сбросив шинель, сел:

— Принесите чьи-нибудь сапоги, я бос... Сапоги и коня...

Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого, в страхе быть отрезанными от переправы, добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели, — желтые воды вздутой западным ветром Наровы начали переклестываться через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева, потонувших при переправе (пятью верстами выше). Конские туловища прибывало, громоздило у осевшего моста. С берега напирала оружие люди. Зыбкий мост сильнее накренился правым бортом, вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начли рваться, средние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревуший поток, где крутились конские и человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать, — солдаты сотнями валились в Нарову, откуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу.

Там, близ реки, стоял шатер герцога фон-Круи, — в тылу расположения Преображенского и Семеновского полков. Третий час длился отчаянный бой на рогатках на южной и западной стороне лагеря. Но положиться можно было только на одну волю божью, — ни руководить, ни распоряжаться в этом снежном аду... В шатре у стола, обхватив голову, сидел толстый преображенский полковник Блюмберг, изредка сошел. Напротив него скучный Галларт мигал ресницами на свечу, спокойно ждал, когда надо будет отдавать шпагу — эфесом вперед, с поклоном — шведскому офицеру.

В шатер вошел герцог, в осыпанной снегом оленьей шубе поверх лат, забрало поднято, усы висели сосульками, губы тряслись...

— Пускай чорт воюет с этими русскими свиньями! — крикнул герцог. — Майор Кунингам и майор Гаст задущены в землянках... Капитан Вальбрехт с перерезанным горлом лежит здесь, в двадцати шагах от шатра... Царь знал, что подсунуть мне, — армию! Сброд сволочи!..

Галларт поспешно поднялся и откинул ковер, — в палатку влетел вихрь снега. Рев многотысячной толпы заглушал звуки выстрелов. Герцог бросился вон из шатра. Внизу были видны очертания подносимого к берегу моста, на нем кричали люди. Справа, там, где частокол лагеря упирался в реку, бесновались бесчисленные толпы...

— Центр прорван, — сказал Галларт, — это полки Головина...

Солдаты лезли через частокол, отдельные кучки их бежали к шатру...

— О, чорт! — крикнул герцог. — На коней, господа! — он потащил с себя оленью шубу, латы мешали движениям. — Помогите же, о, чорт! — бешено заорал на полковника Блюмберга...

Герцог, Галларт и Блюмберг влезли на коней, спустились вниз к воде и по топкому берегу тяжело поскакали на запад, навстречу шведским выстрелам, — сдаваться в плен, чтобы этим уберечь свои жизни от разъяренной сволочи.

Стемнело. Ветер затихал, валил мягкий снег. Изредка хлопал одинокий выстрел. В русском лагере было тихо, как на кладбище, ни одного огня. Лишь в центре, в захваченном обозе, пьяные шведские гренадеры хрипло орали песни. Памяя горящих бочек озаряло пелену снега, ложившуюся на мертвецки пьяных и на убитых.

Автамон Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский, Яков Долгорукий, десять полковников (среди них — сын славного генерала Гордона и сын Франца Лефорта), подполковники, майоры, капитаны, поручики — восемь-

десять командиров — собрались на конях и пешие у землянки, где совещались генералы. Только-что были посланы к королю Карлу парламентареры, — князь Козловский и майор Пиль, — но они наткнулись на своих солдат, были опознаны и убиты...

В землянке при свете лучины Автамон Головин говорил:

— Укрепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, пороховые обозы — у шведов... Назавтра не можем возобновить боя... Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля жёночных условий, сохранить оружие и войска... Ты, Иван Иванович (поклонился Бутурлину), ступай, батюшка, сам к королю, скажи ему, что, не желая-де пролития христианской крови, хотим разойтись: уйдем-де в свою землю, а он пускай уходит в свою...

— А пушки? Отдать? — прохрипел Бутурлин. На это никто не ответил, генералы потупились. У гордого Головина слезно сморщилось все лицо. Толстогубый, черный Яков Долгорукий сказал, ломая брови:

— Что зря-то болтать... Выньем сраму досыта... На милость сдаемся.

Бутурлин щелкнул кремнями двух пистолетов, сунул их за пояс, надвинул шляпу на лоб, вышел из землянки:

— Трубача!

К нему придвинулись офицеры:

— Иван Иванович, ну что? Сдаемся?

— Мы готовы умереть, Иван Иванович... Да ведь от своих же умирать-то...

В версте от русского лагеря, на мызе, Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы так же, как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров, а войско пусть идет с богом домой... Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой:

— Из любви к брату царю Петру спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске...

Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы, — со знаменами и оружием, под барабанный бой перешли мосты: солдаты все были рослые, усадые, угрюмые. На плечах несли раненых. Когда стала проходить дивизия Вейде, шведские кирасиры угрожающе придвинулись, потребовали сдать оружие. Солдаты, матерясь, бросали мушкеты... Остальные полки прогнали уже просто выстрелами...

На рассвете остатки сорокапятитысячной русской армии — разутые, голодные, без командиров, без строя — двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб...

4

Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород, на двор воеводы. В раскрытые ворота вслед за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский, соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя.

— Оттуда? — нахмурился, спросил Петр.

— Оттуда, господин бомбардир.

— Что там?

— Конфузия, господин бомбардир...

Петр быстро, низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меншиков, сразу все понял: что было спрошено и что отвечено. Воевода Ладыженский, пучеглазый старичок, стоя на нижней ступени, разинул рот, — колючий ветер поднимал его редкие волосы.

— Ну... Идем, Расскажи. — Петр поставил ногу на ступень и вдруг повернулся к воеводе, будто с великим изумлением разглядывал этого новгородского правителя:

— У тебя все готово к обороне?

— Великий государь... Ночи не сплю, все думаю — как тебе угодить? — воевода Ладыженский стал на колени, молил собачьими глазами, трепетал вывороченными веками. — Где ж его оборонять?.. Город худой, рвы позавалились, мост через Волхов сгнил совсем... Да и мужиков не сгонишь из деревень, лошадей всех побрали в извоз... Смилуйся...

Воевода не говорил, а вопил, хватался за ножки государя. Петр отряхнул его от ноги, взбежал в сени. Там повскакали с мест монахи, монашки, попы, старцы в скуфейках. Один, с гремящими цепями на голом теле, пополз под лавку...

— Это что за люди?

Чернорясыные и попы замахали туловищами. Строгий сытый иеромонах стал говорить, закатывая зрачки под лоб:

— ... Не дай запустеть монастырям и храмам божим, великий государь. Указом твоим велено с каждого монастыря брать по десяти, и более подвод и людей с железными лопатами; сколько вмочно, и кормы им... И от каждого прихода ставить подводы и людей же... Воистину сие выше сил человеческих, великий государь... Одною милостыней живем Христа ради...

Петр слушал, держась за дверную скобу, выпучась, оглядывал кланяющихся:

— От всех монастырей челобитчики?

— От всех, — враз, бодро ответили монахи. — От всех, от всех, милостивец наш, — клиросными голосами пропели монашки...

— Данилыч, не выпускать никого, поставь караул!..

Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низенькой, жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о гибели в Нарове тысячи всадников шереметьевской конницы, о гибели пяти тысяч солдат на разломавшемся мосту, — да более того было убито во время боя, — о сдаче в плен семидесяти девяти генера-

лов и офицеров (в их числе и раненый Вейде), о злосчастном отступлении войска — без командиров и обозов (остались только младшие офицеры и унтер-офицеры, и то главным образом в гвардейских полках)...

— Герцог первый сдался? Цезареццо, герой, сукин сын! И Блюмберг с ним? Алексашка, можешь понять? Брат родной — Блюмберг — ускакал к шведу.. Вор, вор! (Изю рта Петра летели огуречные семечки). Семьдесят девять предателей! Головин, Долгорукий, Бутурлин Ванька, знал я, что — дурак... но — вор! Трубецкой, боров гладкий! Как они сдались?..

— Под'ехал к землянке капитан Врангель с кирасирами, отдали ему шпаги...

— И ни один, — хотя бы?..

— Которые плакали...

— Плакали! Ерои! Что ж они, надеются: я после сей конфузии буду просить мира?

— Мира просить сейчас — подобно смерти,—негромко сказал Алексашка...

Петр остановился перед слюдяным окошечком — в глубине низкого свода, расставя ноги, сжимал, разжимал за спиной пальцы:

— Конфузия — урок добрый... Славы не ищем... И еще десять раз разобьют, потом уж мы одолеем... Данилыч... Город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же — копать рвы, ставить палисады, — шведов дальше Новгорода пустить нельзя, хоть всем умереть... Да скажи, чтоб нашли и немедля быть здесь Бровкину, Свешникову, которые новгородские купцы из добрых — тоже пришли бы... А воеводу — отставить... (Вдогонку Алексашке.) Вели выбить в шею со двора. (Меншиков торопливо вышел. Петр — Ягужинскому.) Ты ступай — найди подвод сотни три, грузи печеный хлеб, к вечеру выезжай с обозом навстречу войску. Уразумел?

— Будет сделано, господин бомбардир...

— Позови монахов...

Сел напротив двери на лавку, — не приветливый, чистый антихрист. Вошли духовные. И без того было душно, стало — не продохнуть.

— Вот что, божи заступники, — сказал Петр, — идите по монастырям и приходам: сегодня же выйти на работу всем — копать землю. (Иеромонаху, задвигавшему под клобуком густыми бровями, — угрожающе.) Помолчи, отец... Выйти с железными лопатами и с лошадыми не одним послушникам, — всем монахам вплоть до ангельского чина, и всем бабам-черноризкам, и попам, и дяконам, с попадыми и с дяконицами... Потрудитесь во славу божию... Помолчи, говорю, иеромонах... Я один за всех помолюсь, на сей случай меня константинопольский патриарх помазал... Пошлю поручика по монастырям и церквам: кого найдет без дела, — на площадь, к столу — пятьдесят батогов... Этот грех тоже на себя возьму. Покуда рвы не выкопаны, палисады не поставлены, службам в церквах не быть, кроме Софийского собора... Ступайте...

Взялся за край лавки, вытянул шею, — на круглых щеках отросшая щетина, усы торчком. Ох, страшен! Духовные, теснясь задами, улезли в дверцу. Петр крикнул:

— Кто там в сенях, — снять караул!..

Налил чарку водки и опять заходил... Немного времени спустя бухнула дверь с улицы. В сенях — «полголоса: «Где сам-то? Грозен? Ох, дела, дела...»

Вошли Бровкин, Свешников, пятеро новгородских купчиков, — эти мяли шапки, испуганно мигали. Петр не позволил целовать руки, сам весело брал за плечи, целовал в лоб, Бровкина — в губы:

— Здорово, Иван Артемич, здорово Алексей Иванович! (Новгородским.) Здравствуйте, степенные... Садитесь... Видишь, закуски, вино — на столе, хозяйна велел прогнать... Ах, как меня сгорчил воевода: я чаял, здесь у вас и рвы, и неприступные палисады готовы уж... Хоть бы лопатой ткнули...

Налил всем водки. Новгородцы, приняв, вскочили. Он выпил первый, хорошо крякнул, стукнул пустой чаркой:

— За почин выпили... (Засмеялся.) Ну что ж, купцы, слышали? Побил нас маленько шведский король... Для нача-

ла — ничего... За битого двух небитых дают, так, что ли?..

Купцы молчали, — Иван Артемич, поджав губы, глядел в стол, Свешников, перекосив страшные брови, тоже отводил глаза. Новгородские купчики чуть слышно вздыхали...

— Шведов ждать надо сюда на неделю. Отдадим Новгород и Москву отдадим, — всем тогда пропадать.

— Охо-хо... — из утробы вздохнул Бровкин. У чернобородого Свешникова лицо стало желтое, как деревянное масло.

— Задержим шведов в Новгороде, — к лету соберем, обучим войско сильнее прежнего... Пушек вдвое нальем... Пушки под Нарвой! Пожалуйста, бери их: дрянь были пушки... Таких пушек лить не станем... Генералы — в плену, я тому рад... Старики у меня, как гири на ногах. Генералов надо молодых, свежих. Все государство на ноги поднимем... Потерпели конфузю, — ладно! Теперь войну и начинаем.. Дашь на войну рубль, Иван Артемич, Алексей Иванович, — через два года десять рублей верну...

Откинувшись, ударил кулаками по столу:

— Так, что ли, купцы?

— Петр Алексеевич, — сказал Свешников, — да где его, этот рубль-то, возьмешь? В сундуках у нас — деньги? Мыши...

— Истина, охо-хох, истина, — застонали новгородские купчишки.

Петр метнул на них взором (поджалась). Тяжело положил ладонь на короткую спину Ивану Артемичу:

— Ты что скажешь?

— Связал нас бог одной веревочкой, Петр Алексеевич, куда ты, туда и мы.

Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже обмер: ведь сговаривались только-что — попридержать денешки, и вдруг Ванька-ловкач сам выскочил... Петр обнял его за плечи, прижал запотевшее лицо к груди, к медным пуговицам:

— Другого ответа от тебя не ждал, Иван Артемич... Умен ты, смел, много тебе воздастся за это... Купцы, деньги нужны немедленно. В неделю должны

укрепить Новгород и посадить в осаду дивизию Аникиты Репнина...

«... Рвы копали и церкви ломали... Палисады ставили с бойницами, а около палисад складывали с обеих сторон дерном...

А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина — мужеска и женска пола...

А башни насыпали землю, сверху дерн клали, — работа была насыпная. А верхи с башен деревянные и со стен кровлю деревянную же всю сломали... И в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служб не было...

В Печерском монастыре велено быть на работе полуполковнику Шеншину. И государь, пришед в монастырь и не застав там Шеншина, велел бить его нещадно плетью у раската и послать в полк, в солдаты...

И в Новгороде же повешен начальник Алексей Поскочин за то, что брал деньги за подводы, — отступново, чтобы подводам у работы не быть...»

5

Караульный офицер на крыльце Преображенского дворца отвечал всем:

— Никого не велено пускать, проходите...

На дворе собралось много возков и карет. Декабрьский ветер забивал снежной крупой черные колеи. Шумели обледенелые деревья, скрипели флюгера на ветхих дворцовых крышах. Так, в возках и каретах, и сидели с утра весь день министры и бояре. Шестериком в золоченой карете раскатился было Меншиков, — и этого поворотили оглоблями...

Вечером в одиннадцатом часу приехал Ромодановский. Караульный офицер затрясся, увидя князя кесаря, в медвежьей шубе, вперевалку вползающего по истертым кирпичным ступеням. Пустить, — нарушить царский приказ, не пустить, — князь кесарь своею властью, не спрашивая царя, велит ободрать знutom...

Ромодановский прошел во дворец, — стража у каждых дверей, слыша грузные шаги, пряталась. По пути до царской спальни — три раза присаживался. Постучав ногтем, вошел, поклонился старинным уставом.

— Ты чего, дядя, сюда забрел? — Петр ходил с трубкой, в дыму, недобольно обернулся, не ответил на поклон. — Я сказал — никого не пускать.

— Никого и не пускают Петр Алексеевич. А меня и родитель твой без доклада пускал. (Петр пожал плечом, продолжал ходить, пригнать чубук.) О чем, Петр Алексеевич, целые сутки думаешь? Родитель твой и родительница наказывали тебе совета моего слушать. Давай — вместе подумаем... Ай — чего надумаем...

— Будет тебе пустое молоть... Сам знаешь... О чем?..

Федор Юрьевич не сразу ответил, — сел, распахнул шубу (старик в такой духоте трудно было дышать), цветным платком вытер лицо:

— Может, и не пустое пришел я молоть... Как знать, как знать...

Петр, сам не слыша своего голоса, так вдруг громко начал кричать, что за стеной, в темной тронной зале, часовой уронил ружье с испугу:

— В Бурмистерской палате толстосумы рассуждать стали: под Нарвой-де мы себя показали, воевать со шведом не можем... Мириться надо... В глаза мне не глядят... Я с ними вот как говорил... (Взял Федора Юрьевича за грудь, за кафтан, тряхнул.) Плачут. «Вели нам хоть на плаху, великий государь, а денег нет, оскудели...» О чем я думаю!.. Деньги нужны! Сутки думаю — где взять? (Отпустил его.) Ну? Дядя... — Слушаю, Петр Алексеевич, мое слово потом будет.

Петр прищурился: «Гм!..» Походил, косясь на князя кесаря, и — уже голосом полегче:

— Медь нужна... Лишние колокола — пустой трезвон, без него обойдутся, — колокола снимем, перельем... Акинфий Демидов с Урала пишет: чугуна пятьдесят тысяч пудов в болванках к весне будет... Но — деньги! Опять с посад-

ских, с мужиков тянуть? Много ли выгнешь? Им и так дышать нечем, да и раньше года дани не собрать... А ведь есть и золото, и серебро, есть оно, — лежит втуне... (Петр Алексеевич еще не выговорил, а уж у Федора Юрьевича глаза стали пучиться, как у рака.) Знаю, что ответишь, дядя. За тобой поэтому и не посылал... Но эти деньги я возьму...

— Монастырской казны трогать сейчас нельзя, Петр Алексеевич...

Петр крикнул петушиным голосом:

— Почему?

— Не тот час... Сегодня — опасно... Я уж тебе и не говорю, каких людей ко мне едва не каждый день таскают... (Толстые пальцы Федора Юрьевича, лежавшие на колене, начали беспокойно шевелиться.) Московское купечество — верные твои слуги покуда... Что ж, испугались Нарвы... Всякий испугается... Поговорят, да и перестанут, — война им в выгоду... И денег дадут, только не горячись... А тронь сейчас монастыри, оплот-то их... На всех площадях юродивые закричат, что намедни-то Гришка Талицкий кричал на базаре с крыши. Знаешь? Ну, то-то... Монастырскую казну надо брать исподволь, без шума...

— Хитришь, дядя...

— А я — стар, чего мне хитрить...

— Деньги немедля нужны, — хоть разбоем добыть...

— А много ли тебе?

Федор Юрьевич спросил и чуть усмехнулся. Петр опять, — «гм», — пробежался по спальне, закурил у свечи, пустил клуб, другой и выговорил твердо:

— Два миллиона.

— А поменьше нельзя?

Петр сейчас же присел перед ним, стал трясти князя кесаря за колени:

— Будет тебе томить... Давай так, — монастыри я покуда не трону... Ладно? Есть деньги? Много?

— Завтра посмотрим...

— Сейчас... Поедем...

Федор Юрьевич взял шапку, тяжело поднялся:

— Ну, бог с тобой... Если уж нужда крайняя... (По-медвежьему заковылял к двери.) Только никого с собой не бери, одни поедем...

На Спасской башне прозвонило — нас, кожаная карета князя кесаря в'ехала в Кремль, покрутилась по темным, узким переулкам между старыми домами приказов и стала у приземистого кирпичного здания. На ступеньке низенького крыльца стоял фонарь, привалясь к железной двери, хралел человек в тулупе. Князь кесарь, вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, поднял фонарь (сальная свеча, наплыв, коптила), ногой ткнул в лапоть, торчащий из тулупа. Человек — спросонок: «Чово ты, чово?», приподнялся, отогнул край бараньего воротника, узнал, вскочил.

Князь кесарь, отстранив его от двери, отомкнул замок своим ключом, пропустил Петра, вошел сам и дверь за собой запер. Держа высоко фонарь, пошел вперевалку через холодные и через теплые сени в низкую, сводчатую, с облупившимися стенами палату приказа Тайных Дел, учрежденного еще царем Алексеем Михайловичем. Здесь пахло пылью, сухой пылесенью, мышами. Два решетчатых окошечка — затянuty паутиной. Приотворилась дверь, со страхом просунулась стариковская голова внутреннего, доверенного, сторожа:

— Кто здесь? Что за люди?

— Подай свечу, Митрич, — сказал ему князь кесарь.

У дальней стены были дубовые низенькие шкапы с коваными замками (к шкапам не то, что прикасаться, но любопытствовать — какие такие в них хранятся дела — запрещено под страхом лишения живота). Сторож принес в железном подсвечнике свечу. Князь кесарь, — показывая на средний шкаф:

— Отодвинь от стены... (Сторож затряс головой.) Я приказываю... Я отвечаю...

Сторож поставил свечу на пол. Налег хилым плечом, — шкаф не сдвигался. Петр торопливо сбросил полушубок, шапку, взялся, — шея побагровела, — отодвинул. Из-под шкапа выбежала мышь. За ним в стене, затянута пыльными хлопьями паутины, оказалась железная дверца. Князь кесарь вынул двухфунтовый ключ, сопя: «Митрич,

свети, — не видать», неловко совал ключом в скважину. За три десятка лет замок заржавел, не поддавался. «Ломом, что ли, его, сбегай, Митрич».

Петр, со свечой осматривая дверь:

— Там что?

— Увидишь, сынок... По дворцовой росписи там — дела тайные хранятся. В крымский поход князя Голицына сестра твоя Софья раз приходила сюда ночью... Да я тоже, вот так-то, отпереть не мог... (Князь кесарь чуть усмеянулся под татарскими усами.) Постояла, да ушла Софья-то...

Сторож принес лом и топор. Петр начал возиться над замком, — сломал топорщице, ободрал палец. Тяжелым ломом начал бить в край двери. Удары гулко раздавались по пустынному дому, — князь кесарь, тревожась, подошел к окошку. Наконец удалось просунуть конец лома в щель. Петр, навалясь, отломал замок, — железная дверца со скрипом приоткрылась. Нетерпеливо схватил свечу, первый вошел в сводчатую, без окон, кладовую.

Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные развалистые енды — времен Ивана Грозного и Бориса Годунова; итальянские кубки на высоких ножках; серебряные лохани для мытья царских рук во время больших выходов; два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости; стопки золотых тарелок; поломанные серебряные паникадила; большой павлин литого золота, с изумрудными глазами, — это был один из двух павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров, механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки, у некоторых через истлевшие швы высыпались голландские ефимки. Под лавками лежали груды соболей, прочей мягкой рухляди, бархата и шелков — все побитое молю, сгнившее.

Петр брал в руки вещи, слюня палец, тер: «Золото!.. Серебро!..» Считал мешки с ефимками, — не то сорок пять, не то и больше... Брал соболя, лисьи хвосты, встряхивал: «Дядя, это же все сгнило».

— Сгнило, да не пропало, сынок...

— Почему раньше мне не говорил, дядя?

— Слово дано было... Родитель твой, Алексей Михайлович, в разные времена отъезжал в походы и мне по доверенности отдавал на сохранение лишние деньги и сокровища. При конце жизни родитель твой, призвав меня, завещал, чтоб никому из наследников не отдавать сего, разве впоследствии государству крайняя нужда при войне...

Петр хлопнул себя по ляжкам, начал смеяться:

— Выручил, ну — выручил... Этого мне хватит... Монахи тебе спасибо скажут... Павлин! — обувь, одеть, вооружить полк и Карлу еще наложить, как нужно... Но, дядя, насчет колоколов, — колокола все-таки обдеру, — не сердись...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В Европе посмеялись и скоро забыли о царе варваров, едва было не напугавшем прибалтийские народы, — как призраки рассеялись его вшивые рати. Карл, отбросивший их после Нарвы назад в дикую Московию, где им и надлежало вечно прозябать в исконном невежестве (ибо известна, со слов знаменитых путешественников, бесчестная и низменная природа русских), король Карл ненадолго сделался героем европейских столиц. В Амстердаме ратуша и биржа украсились флагами в честь нарвской победы; в Париже в лавках книгопродавцев были выставлены две бронзовые медали, — на одной изображалась Слава, венчающая юного шведского короля: «Наконец правое дело торжествует», на другой — бегущий, теряя калмыцкую шапку, царь Петр; в Вене бывший австрийский посол в Москве Игнатий Гвариент выдал в свет записки, или дневник, своего секретаря Иоганна-Георга Корба, где с чрезвычайной живостью описывались смешные и непросвещенные порядки Московского государства, а также кровавые казни стрельцов в 98-м году. При венском дворе громко говорили о новом поражении русских под Псковом, о бегстве с

немногими людьми царя Петра, о восстании в Москве и освобождении из монастыря царевны Софьи, снова взявшей правление государством.

Но все эти мелкие события сразу были заслонены разразившейся наконец военной грозой. Умер испанский король, — Франция и Австрия потянулись за его наследством. Вмешались Англия и Голландия. Блестящие маршалы Джон Черчилль, граф Мальборо, принц Евгений Савойский, герцог Вандом начали разорять страны и жечь города. В Италии, в Баварии, в прекрасной Фландрии по всем дорогам пошли шататься вооруженные бродяги, насильничая над мирным населением, опустошая запасы пищи и вина. В Венгрии и в Савеннах вспыхнули мятежи. Решалась судьба великих стран, — кому, какому флоту владеть океанами. Дела на Востоке пришлось предоставить самим себе.

Карл сгоряча после Нарвы собрался броситься за Петром в глубь Московии, но генералы умолили его дважды не играть с судьбой. Усталое и потрепанное войско было отведено на зимние квартиры в Лаису, близ Дерпта. Оттуда король написал в сенат высокомерное письмо, требуя пополнений и денег. В Стокгольме те, кто не желал войны, замолчали. Сенат приговорил новые налоги и к весне послал в Лаису двадцать тысяч пехоты и конницы. На латинском языке была выдана в свет книга «О причинах войны Швеции с московским царем», — при европейских дворах ее прочли с удовлетворением.

Теперь у Карла была одна из сильнейших в Европе армий. Предстояло решить — в какую сторону направить удар: на восток, в пустынную Московию, где редкие и нищие города сулили мало добычи и славы, или — на юго-запад против вероломного Августа, — в глубь Польши, в Саксонию, в сердце Европы? Там уже гремели пушки великих маршалов. У Карла кружилась голова в предчувствии славы второго Цезаря. Его гвардейцам, потомкам морских разбойников, мерещились пышные шелка Флоренции, золото в подзе-

мельях Эскуриала, светловолосые женщины Фламандии, кабаки на перекрестках баварских дорог...

Когда установился летний путь, Карл выделил восьмидесячный корпус под командой Шлипенбаха, велел ему идти к русской границе, сам со всею армией быстрыми маршами прошел Лифляндию, в двух верстах выше Риги, в виду неприятеля, переправился на барках через Двину и наголову разбил саксонские войска короля Августа. В этой битве, восьмого июля, был ранен Иоганн-Рейнгольд Паткуль, — едва уйдя верхом от королевских кирасир, он на этот раз избежал плена и казни.

Под Ригой были разгромлены не какие-то вшивые русские, но славнейшие в Европе саксонские солдаты. Казалось, крылья Славы раскрылись за плечами. «Король Карл ни о чем больше не думает, как только о войне... (Так писал о нем в Стокгольме генерал Стенбок.) Он больше не слушает разумных советов... Он так разговаривает, будто бог непосредственно внушает ему дальнейшие замыслы... Он полон самомнения и безрассудства... Думаю — если у него останется тысяча человек, и с теми он бросится на целую армию... Он не заботится даже, чем питаются его солдаты. Когда кого-нибудь из наших убивают, — его это больше не трогает...»

От Риги Карл устремился в погоню за Августом. В Польше началась кровавая междоусобица между панями: одни стояли за Августа и против шведов, другие кричали, что шведы одни могут навести порядок и помочь вернуть правобережную Украину с Киевом и что Польше нужен новый король (Станислав Лещинский). Август бежал из Варшавы. Карл без боя вошел в столицу. Август в Кракове торопливо собирал новое войско...

Началась редкостная охота — короля за королем. Снова при европейских дворах аплодировали юному герою, — его имя произносили рядом с именами принца Евгения и Мальборо. Говорили, что Карл не позволяет приблизиться к себе ни одной женщине, что он даже спит в своих ботфортах, что в начале сражения он появляется перед войском

верхом, без шляпы, в неизменном серо-зеленом кафтане, застегнутом до шеи, и с именем бога бросается первый на неприятеля, увлекая за собой войска... Расправляться на унылом востоке с царем Петром он предоставил заботам генерала Шлипенбаха.

Всю зиму Петр провел между Москвой, Новгородом и Воронежем (где шла напряженная стройка кораблей для черноморского флота). В Москву было свезено девятью тысячами пудов колокольной меди. Начальником работ по отливке новой артиллерии назначен знаток горного дела, старый думный дяк Виниус. При литейном заводе в Москве он учредил школу, где двести пятьдесят детей боярских, посадских и юношей подлого рода, но бойких, учились литью, математике, фортификации и гиштории. Нехватало красной меди для прибавки к колокольной, — Петр послал Виниуса в Сибирь — искать руду. В Льеже Андреем Артамоновичем Матвеевым (сыном убитого на красном крыльце боярина Матвеева) закуплено было пятнадцать тысяч новейших ружей, подзорные трубки, компасы, страсовые перья для офицерских шляп. В Москве работали пять суконных и полотняных мануфактур, — мастеров вербовали за добрые деньги по всей Европе. От зари до зари шли солдатские ученья. Труднее всего было с офицерством: им солдат учить и самим учиться, возведут человека в чин — он одурет от власти либо загуляет, пропадет...

Тогда, недели через две после нарвской неудачи, Петр написал Борису Петровичу Шереметьеву, собиравшему в Новгороде растрепанные остатки конных полков (кто без коня, кто без сабли, кто — гол начисто):

«... Не лепо при несчастьи всего лишиться... Того ради повелеваю, — тебе при взятом и начатом деле быть и впредь, то есть — над конницей, с которой ближние места беречь для последующего времени, и идтить вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем: понеже людей довольно, так же и реки и болота замерзли... Еще напоминаю: не чини

отговорки ни чем, ниже болезнью... Получили болезнь многие меж беглецов, которых товарищ, майор Лобанов, повешен за такую болезнь...»

Но дворянская иррегулярная конница не была надежна, — на место ее набирали людей всякого звания: и мужиков, и кабальных, — по вольной охоте за одиннадцать рублей в год с кормами, — в десять драгунских полков. От кабалы и мужицкой неволи столько людей просилось в верхоконную службу, — пришлось отбирать самых здоровых и видных. Обученные драгунские сотни уходили в Новгород, где генерал Аникита Репнин приводил в порядок и обучал бывшие при Нарве дивизии.

К новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск, — в пятнадцати верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Ново-Двинку. Летом в Архангельск на июньскую ярмарку приплыло много торговых кораблей из Англии и Голландии. В этот год в казну были взяты для торговли с иностранцами новые, против прежнего, товары — морской зверь и рыбий клей, и деготь, и поташ, и воск... Царские гости все брали в казну, частным купцам оставалось торговать разве кожаными изделиями да резной костью... Двадцатого июня в устье Северной Двины ворвался шведский военный флот. Увидя новостроенную крепость, не посмел пренебречь, пройти мимо к Архангельску, — открыл по фортам Ново-Двинки огонь со всех бортов. Во время диверсии из четырех шведских фрегатов один сел на мель перед самой крепостью, за ним села яхта. Русские бросились в челны и с бою захватили и фрегат, и яхту, — остальные суда без чести уплыли назад в Белое море.

Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлипенбаха. Шведы ходили под Печерский монастырь, но только сожгли кругом села, твердыни не взяли. Шлипенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще тысяч восемь войска, — русские-де с каждым месяцем становятся все более дерзки, видимо, от нарвского разгрома они,

против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении, нынче с двумя бригадами легко не разбить русского войска... Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию, — он был глух к голосу благоразумия.

Так шли дела до декабря тысяча семьсот первого года.

Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлипенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер, под Дерптом. Узнав, и сам испугался дерзостной мысли: неожиданно войти в глубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Случай редкий. В прежние времена конечно Борис Петрович счел бы за лучшее не пытаться неверного счастья, но за этот год стало очень жестко с Петром Алексеевичем, — не давал никому ни покоя, ни отдыха, ставил в вину не столько то, что ты сделал, а то, что мог бы сделать доброго, а не сделал...

Приходилось пытаться счастье. Борис Петрович одел в полушубки и валенки восемь тысяч новонабранного и новообученного войска и с пятнадцатью легкими пушками на саних, — быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, — в три дня подошел к Эрестферу. Шведы поздно заметили на высоком снежном берегу речонки Ая ушасть всадников с луками и конскими хвостами на копьях. Подполковник Ливен вышел к речке с двумя ротами и пушкой. На том берегу косоглазые варвары подняли изогнутые луки, пустили стаю стрел, раздался нарастающий, как бы волчий вой, — по крутым сугробам вниз через речку, поднимая снежную пыль, помчались справа и слева полосатые татары с кривыми саблями, синезупанные черкасы с пиками и арканами, в лоб налетели визжащие калмыки, — триста эстляндских стрелков Ливена и сам подполковник были порублены, поколоты, раздеты до исподнего.

Всполошился весь шведский лагерь. Новый отряд шестью пушками отеснил от реки конных разведчиков. Шлипен-

бах с горнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали — кто в чем был — из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Все войско выстроилось перед мызой, артиллерийским огнем встретило подступившую русскую армию. Борис Петрович в одном суконном кафтане, обшитом золотым галуном, с трехцветным шарфом через плечо, верхом ехал посреди центральной кареи. Правым флангом командовал Чемберс, левым — Михайла Шереметьев (сын Бориса Петровича).

Огонь шведов привел в конфузию передние сотни драгун, еще не видевших боя. Шведы устремились вперед. Но выскакавшие на саних пятнадцать легких пушек открыли такую скорострельную пальбу картечью, — шведы изумились, ряды их остановились в замешательстве. С флангов мчались на них оправившиеся драгунские полки Кропотова, Зыбина и Гулицы. «Братцы! — натужным голосом кричал Шереметьев посреди кареи. — Братцы! ударьте хорошенько на шведа!..» Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарявшиеся вспышками выстрелов. Шлипенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы. Но едва печальные горны запели отступление, драгуны, татары, калмыки, черкасы с новой яростью налетели со всех сторон на пятнадцать, ошетиненные четыреугольники шведов, прорвали их, смяли. Началась резня... В темноте генерал Шлипенбах с полковниками Штакельбергом, Де-ля-Гарди и старшим Ливеном едва ушли верхами с поля проигранной битвы.

В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом, на кострах жарились целиком бараны, раздавали народу калачи. На Спасской бышне с первого яруса свешивались шведские знамена. Меншиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну, или портрет, усыпанный алмазами, и еще небывалое звание генерала-фельдмаршала, — всем солдатам, участникам победы, выдать

по серебряному рублю (впервые отчеканенному на московском Монетном дворе вместо прежних денежек).

Борис Петрович со слезами благодарил и с Меншиковым послал Петру письмо, прося отпустить его в Москву по делам неотложным... «Жена моя по сей день живет на чужом подворьи, надобно ей хоть какой домишко сыскать, где бы голову преклонить...» Петр ответил: «В Москве быть вам, господин генерал-фельдмаршал, — без надобности... Но — полагаю то на ваше рассуждение... А хотя бы и быть — то так, чтобы на страстной седмице приехать, а на святой — паки назад...»

Через шесть месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа, — из семи тысяч шведы потеряли в этом кровавом бою

пять с половиной тысяч убитыми. (У русских убито и ранено четыреста человек.) Ливонию защищать было некому, — путь к приморским городам свободен. И Шереметьев пошел разорять страну, города и мызы, и древние замки рыцарей... К осени он отписал Петру:

«... Всесильный бог и пресвятая богомать желание твое исполнили: больше того неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили, осталось целого места — Мариенбург да Нарва, да Ревель, да Рига. С тем прибыло мне печали: куда деть взятый ясырь, чухонцами полны и лагеря, и тюрьмы, и по начальным людям — везде... Да и опасно оттого, что люди какие сердитые... Вели учинить указ: чухон, выбрав лучших, которые умеют топором, овые которые художники, отослать в Воронеж или в Азов для дела...»

(Окончание следует)

Недра

Роман

ПАВЕЛ ВИЗОВОЙ

(Продолжение ¹)

Часть вторая

НА ПУТЯХ ТАМЕРЛАНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Над Свердловском — ночь, сырая и ветреная. Электрические луны раздвинули ее вверх и вширь: к тяжелому грязному небу и далеко за мертвую черту города. Но улицы, хотя и замедленно, все-таки продолжают жить: громяхают грузовики, мелькают одинокие пешеходы, еще не спит громкоголосое, всезнающее радио.

Илья Федотыч Кузьминых, склонясь к столу, в одиночестве сонной квартиры перечитывает свою «Историю». В окно грузно плывут металлические звуки омоложенного старика — Верх-Исетского. Звонко перекликнулись, точно петухи о полночь, два паровозных гудка, брехнула на соседнем дворе собака. Илья Кузьминых сквозь большие очки все шарит старческими глазами по знаковым страницам:

«В то отдаленное время, когда в Среднеуральской лесной полосе мирно развивалась бронзовая культура и позже стало проникать железо, привозимое в обмен на пушнину, — в то время по прикаспийским степям передвигались кочующие народы. Тут лежала дорога из Азии в Европу.

Монгольский Восток по неведомым причинам волновался иногда, подобно взветренному морю, и время от времени выбрасывал из себя человеческие волны. Народности Китая, Персии и Средней Азии многотысячными армиями — с женами, с детьми, со стадами скота, со всем своим кочевым имуществом — неудержимо катились на запад, в Европу...»

Илья Федотыч пишет не при свете восковой, оплывающей свечи, не гусиным пером на пергаменте, как писали средневековые историки — монахи, — сбоку у него ярко светит электрическая полуваттная лампочка, перед ним раскрыты книги ученых в хороших переплетах, взятые из городской исторической библиотеки. На этажерке лежит комплект московской «Правды» и стоят желтые аккуратные томики сочинений Ленина. А за стеной, у соседа-техника, радио передает какое-то пение из-за границы. Двадцатый век...

Илья Федотыч продолжает вчитываться в созданные им строки:

«... Скифов сменили сарматы, нахлынувшие на Урал почти за три столетия до нашей эры. Продержавшись в Зауралье и на Поволжье около полутысячи лет, они вынуждены были отступить, — их смыла другая волна, выкатившаяся в конце второго века из глубин Азии. Это были гунны, обладавшие неведомым до того времени искусством

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

массового конского боя. Они сметали со своего пути все большие и малые народности, уничтожали их вековую культуру. Остатки племен увлекались водоворотом их стремительного движения.

После них остался пустой, мертвый коридор. Спустя некоторое время с востока и юга в него устремились другие племена. Среди них одними из первых были болгары, создавшие потом на Южном Урале Булгарское царство с рядом примечательных для того времени городов.

Притихший было поток кочующих народов с VI века снова вспыхивает с небывалой силой. Одна народность сменяется другою. Идут авары, хазары, печенег, тюрки, половцы и, в заключение, в XIII веке, татары.

Все эти народы, временно оседавшие на Урале, оставляли по себе воспоминания в виде могильников, с хранящимися в них предметами, или архитектурные сооружения, а также и словесные памятники — наименования озер, рек, гор: «Кама», «Тура», «Сылва», «Тагил», «Исеть», «Уфалей»... Имена эти будут жить еще многие столетия, несмотря на то, что настоящее содержание их потерялось в веках и никто теперь не знает его...»

Илья Федотыч Кузьминых, оторвавшись от тетради, долго смотрит в неопределенную точку, видя перед собой то отдаленное прошлое, которое им запечатлено. И нашествие гуннов, и персидские торговые караваны, нагруженные уральскими мехами, и полчища Тамерлана.

Взгляд его случайно падает на письмо, сегодня полученное от сына, — лежит оно рядом с картой Восточной Европы половины IX века. В полосу зрения на момент опять попадают пешие стрелы на карте знакомые наименования: Югра, Биармия, Булгария, половцы, Хвалынское море...

Сын Павел пишет оттуда, с тех южно-степных равнин, по которым в продолжение почти трех тысяч лет проходили кочующие орды азиатских племен, пишет он с гиганта металлургического, «имени Пятилетки», у горы Казачьей.

Илья Федотыч непроизвольно снова тянется к письму. «История края» забыта.

II

На крыже Ближнем, у горы Казачьей, развевалась горячка: шла вскрыша руды, закладывались исследовательские шахты, настилались временные узкоколейные пути. В шести местах день и ночь стучали американские буровые станки. Могучее рудное тело, возникшее в недрах земли в результате сложного процесса вулканических излияний, тщательно прощупывалось всеми способами. Нужно было узнать его рельеф, толщу, границы. Люди, приехавшие из-за сотен и тысяч километров для добычи металла, хотели предварительно вымерять его, взвесить, определить качество каждого кубометра.

Два человека средних лет — Голич и мистер Джон Чарли — ходили по вершине горы, внимательно следя за ходом работ. Заведующий участком, горняк Голич, большоголовый, с сеткой мелких морщин под глазами и крупными, рабочими кистями рук, неутомимо прыгал через канавы и ямы, делая это не для показа и не из удали, — просто шла из него легко и вольно избыточная сила.

— Вот сюда, прямо. Ну, раз!.. Ничего, хорошо. Видно, что вы равнинный житель и привыкли больше ездить, чем ходить. Я тоже вначале насчет горной ходьбы был слабоват. Сила у меня больше в руках. Вот одной этой тридцать кило выжимаю.

— Веря гут! Зам-мечательно! — точно обрадовался американец и порывисто протянул маленькую руку. — Сегодня пробовать! Ол райт?

— Ладно! Идет! — согласился Голич, серьезно улыбнувшись. — Попробуем.

Канатно-буровая машина методически и упорно долбила каменную толщу, как голодная исполинская птица подобранную кость. Стальной бур где-то глубоко в недрах глухо стучал и со скрежетом ворочался. Механик повернул рычаг. Железная труба потянулась кверху. Из скважины поползла тестообразная

масса размытого грунта. Голич захватил ее и растер между пальцев.

— Скоро конец: гранит начинается... Валите еще немного! — Он повернулся к своему спутнику. — Под ногами у нас целые сокровища. Хватит на сотню лет при самой интенсивной разработке. Руда обнаружена не только в самой горе, но и в этой долине, и под ложем реки. Вот, смотрите, в откосе — валунная. В такой руде содержится иногда до семидесяти пяти процентов. Там, на верхней площадке, есть глыбы по несколько сотен тонн каждая. Почти одно чистое железо, и лежат на поверхности. Как это вам нравится? А?

Он говорил это, самодовольно улыбаясь, точно качество руды зависело от него, и, не дожидаясь ответа, сейчас же продолжал:

— Железом и сталью доотказа насытим весь Союз. Это значит — тракторы, паровозы, машины, инструменты. Сталь великолепная, первокачественная, для чего угодно...

Мистер Джон Чарли бегло скользил «вечным пером» по великолепнейшему блокноту...

Внизу развевалась грандиозная панорама строительства. Всюду возвышались строительные леса, железные остовы будущих зданий, подъемные краны. Ложе земли было взрыто котлованами, траншеями и всевозможными ямами, в которые закладывались железобетонные основания цехов.

Сверху казалось, обезумевшие люди воевали с самой косной из стихий — землей, без всякой надежды покорить ее. Не было надежды потому, что за этим клочком земли, над которым они трудились, за сверкающей лентой реки, простиралась необозримая и страшная своей первобытной пустынностью степь. Загадочной ширью уходя в туманное, космическое марево, степь таила под своим мертвым покровом сокрушающие вечные силы.

Но люди не обращали на это внимания. Среди куч строительного материала и бесформенных, ежечасно растущих земляных холмов тянулись составы поездов. По дорогам, поднимая пыль, грохочуще пронеслись грузовые авто-

мобили. Там и тут вытягивали длинные шеи землечерпательные машины. Кверху плыл тяжелый победный шум.

Мистер Джон Чарли привычным движением, не глядя, сунул блокнот в грудной карман и поднял голову в широчайшем клетчатом кепи.

— Я читал — здесь в древний старина шел кочевый народы... — Он вытянул руку по направлению к реке.

— Что? Какие народы? — не дослушивая, перебил горняк.

— Монгольский, тюркский раса, — досказал мистер Чарли.

— Да, проходили, — подтвердил Голич безразлично. — Много тут всякой азиатчины ходило.

— Здесь гражданский война... — начал было опять американец, но инженер снова оборвал:

— Как же, как же! Знаю! Сам участвовал, отстаивал Златоуст! Но это было тысячу лет назад... А теперь у нас самое главное — в откаточных путях. Это чрезвычайно трудная и сложная штука... Вы курите? — Он протянул портсигар.

Они некоторое время молча курили. Шагах в тридцати от них рабочие складывали в штабеля валунную руду, бурую, иногда с темнокрасными пятнами гранатовых прослоек. Подходили и уходили вагонетки. Зафыркал неожиданно деррик, раскачивая толстую железную цепь, и раздался басовитый, с сердцем, окрик бригадира в ближней группе:

— Трафь за среднюю! Чего рот разинули? По башке заедет! Айда, пошел!..

— Так вот, говорю, с транспортом дело обстоит очень трудно. — Голич затушил окурок и, бросив на землю, придавил его носком сапога. — Через полтора года, когда первая очередь рудных разработок развернется полностью, откаточная магистраль должна будет пропускать около двух с половиной тысяч тонн руды в час. Электрические поезда из пяти самопрокидывающихся вагонов с шестидесятитонным грузом будут проходить через каждые девять минут. Блоки, сигнализация, перевод стрелок — все должно производиться

автоматически... Что вы на это скажете? Ведь не плохо?

Энергично высеченное лицо его с поднятым подбородком расплылось в довольной улыбке. Подбородок чуть-чуть подрагивал, точно смеялся отдельно, с некоторым сомнением.

— Необычно будет производиться и сама разработка руд, — опять задержал Голич крутым, самостоятельным подбородком. — У нас применяется глубокое канатно-ударное бурение с диаметром скважин в восемь дюймов и длиной одиннадцать метров. Взрывать будут по двадцать штук враз. Эффект от одновременного взрыва получается огромнейший. Мы недавно взорвали двадцать две скважины, заряженные тремя тоннами аммонала. Знаете, сколько отворотили? Больше сорока тысяч тонн руды. Ловко? — он с удовольствием прищелкнул языком.

Голич повернул голову вправо и внезапно замахал в сторону остановившейся внизу платформы с рабочими:

— Куда вы? Надо к пятой буровой! Этот Сидоров опять все перепутал! Я сейчас иду!

— Что случилось? — тревожно спросил американец.

— Ничего особенного. Идемте туда, всё выясним... Значит, руда эта, — возвратился он снова к прерванному разговору, — руда эта будет погружаться в вагоны электрическими экскаваторами с емкостью ковша в три с половиной кубических метра. Нагруженные поезда, ни минуты не задерживаясь, отправляются на дробильную фабрику... У нас все работы полностью механизуются. При обычных условиях разработок нам потребовалось бы около двадцати тысяч горняков, а теперь мы обойдемся двумя тысячами. В будущем году мы дадим миллион сто тысяч тонн, в следующем — четыре девятьсот пятьдесят, а еще через год — шесть с половиной миллионов тонн... Что вы на это скажете? Догоним мы Америку или не догоним?

— Да Америк еще далеко! — засмеялся мистер Чарли. — Надо много потеть.

— Ничего-о! Выдюжим!.. За нас машины будут потеть!.. — Голич неожиданно останавливается. — Забыл. Мне надо в комсомольскую шахту сходить. Счастливо!.. — Он круто поворачивает, оставляя американского корреспондента в одиночестве.

Тот некоторое время недоуменно смотрит через плечо вкось в удаляющуюся, слегка сутулую спину и, посплав ей короткую ухмылку, снова вынимает блокнот и «вечное перо».

III

Мистер Джон Чарли бегло набрасывает в своем великолепном блокноте отрывистые замечания и цифры. Это — сгустки мысли, уплотненные образы и картины, которые потом обрастут живой, теплой плотью, облекутся в соответствующие одежды. Прежде, чем поехать в СССР, два с половиной года назад он как умный и практичный американец поставил перед собой деловой вопрос:

«Каково хозяйственно-экономическое прошлое страны, в которую он собирается ехать?»

Как человеку образованному, с развитыми художественными эмоциями и вкусами, ему потребовалось выдвинуть еще ряд вопросов:

«Какова ее материальная и духовная культура?»

«В чем наиболее выявлялись эстетические потребности ее народов?»

«Какие творческие возможности она несет в мир?»

Десятки добросовестно прочитанных книг вопросы эти только углубили и вызвали еще больший интерес к изучаемому. Если раньше он знакомился со страной вообще, то теперь стал изучать ее частности. Донбасс, Поволжье, Кавказ в разное время в течение двух лет были предметами его пристального внимания и влюбленности. Влюбленности потому, что он очаровывался каждым необычным, с его точки зрения, явлением, подчас даже в обыденном находя необыкновенное, достойное восхищения.

И наряду с этим, как требовательный, пунктуальный человек, он чуть не по-

минутно возмущался отдельными деталями на грандиозной, поражающей его замыслами и размерами, картине. Прирыкший к учету каждой минуты, к методичности работы, к безукоризненности выполнения, к особой чистоплотности, он негодовал при виде преступно растрачиваемого времени, проявления анархизма, недобросовестности или небрежности со стороны отдельных исполнителей.

Теперь в центре его внимания встал Урал. Теперь он им жил, восхищался, часто негодовал. Мистер Джон Чарли сейчас набрасывает в своем блокноте «вечным пером»:

«Открытие месторождения относится к 1748 году. Исследовательские работы начались с 1928 года. Запасы руд, по последним данным, — 265 миллионов тонн. Чтобы вывезти готовые изделия с завода, потребуется около шести тысяч поездов в год... Суточный расход воды только для технологических целей — семьдесят миллионов ведер. В три с половиной раза больше суточного расхода Москвы...»

Он пишет сжато, отрывочно, не придерживаясь последовательности во времени, — он художнически кладет только мазки: цвет неба, характер пейзажа и вызванную из памяти, когда-то виденную деталь той или иной постройки, — потом оформится, развернется в художественное целое.

Блокнот и ручка привычным движением водворены на место. Американец направляется в дальнейшее путешествие. На вершине горы покоятся в хаотическом состоянии кучи огромнейших валунов чистой руды магнитного железняка. Из десятка таких глыб можно соорудить целый железнодорожный состав, сделать не одну сотню тракторов. Через некоторое время из них и будут это делать, а пока они, покрытые бурой чешуей и ржавью — следами тысячевековой борьбы с ветрами, непогодами, окружающей атмосферой, — лежат в своем извечном покое.

Мистер Джон Чарли на один из таких валунов поднимается, попирая его вечную неподвижность и несокрушимость толстокожими американскими ботинка-

ми. Стоит на нем, устремив взгляд вниз, в долину, где гудит и грохочет строящийся гигант. За полоской реки, обрезавшей площадь строительства, простерлась в бесконечную даль и ширь необъятная степь. Это — мертвая Азия, первобытность.

«Она будет оживлена, — думает мистер Чарли, чужой, далекий человек, приехавший сюда из-за океана только посмотреть. Сейчас он стал своим. Он думает, как о своем, которое надлежит сделать лично ему. — Скоро эта мертвая пустота заговорит тысячами машин, заводов, совхозов, зазеленеет и зазолотится огородами, хлебными полями...» — думает он, ощупывая взглядом молчаливые, бесцветные пространства в мареве накаленной песчаной пыли.

Взгляд его случайно задевает кучку столпившихся людей, работавших по отколу горы на земляной выемке. Тут же застыл в немой неподвижности экскаватор. Люди покричали, помахали руками и расселись на земляную насыпь.

Мистер Джон Чарли в волнении спускается со своего пьедестала. Он уже догадывается, в чем дело: машина остановилась из-за какой-нибудь незначительной поломки. Чтобы привести ее снова в действие, потребуется час, два, а может быть, и много больше, и в течение этого времени рабочие будут сидеть без дела, курить, плевать и ехидничать насчет порядков. Из-за отсутствия мелких частей, из-за невежества, головотяпства и недобросовестности отдельных людей механизмы делают огромнейшие простои.

Мистер Чарли вспоминает десятки таких случаев. Местная газета чуть не каждый день бьет по лицу: как технический персонал, так и рабочих, способствующих простоям, прорывам, всяким строительным неполадкам:

«Четверть рабочего времени — на ветер! На вышках 8.929 часов простоя!..»

«В поход за машину! На строительстве используется только шестнадцать процентов механизмов...»

«Бьем тревогу! По вине отдельных лиц строительство не обеспечено лесом!..»

«Штольня горы Казачьей за срыв плана награждается «орденом вороны»!.. Рабочие штольни! Еще не поздно! Сбросьте с себя позор, — переключитесь на ударные темпы!..»

«Треугольнику механического цеха подносим дерюжное знамя!..»

Эти газетные крики, брошенные с негодованием и болью, крепко внедрились в блокнот и в память Джона Чарли. Но это тeneвое. Эти порочные детали ничуть не изменяют взгляд умного и честного американца на грандиозное целое, которое разворачивается перед его глазами. Он знает: это издержки производства. Неизбежные издержки. При других условиях — более высокой технике, лучшей культуре масс — их было бы значительно меньше. Но что же с этим поделаешь? Люди приобретают знания из книг, но проверяют их на своих ошибках. Строительное искусство так же, как военное, познается не столько в классе, сколько на плацдарме. Первые объекты социалистическихстроек — это лишь маневры в боевой обстановке. Не у всех командиров есть надлежащий опыт в ориентировке положения. Не у всякого необстрелянного солдата найдется бесстрашие, выносливость и военная сметка... И тем почетнее для командиров, если при всех этих недостатках грандиозные социалистические маневры в целом проходят превосходно, замечательно. Они выдвигают героев, выковывают мощь армии...

Так рассуждал мистер Джон Чарли, ходя изо дня в день по строительству. Взгляд его был зорок, наблюдаемый материал достаточен, чтобы сделать для себя неопровержимые выводы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Их вначале было только двенадцать — бригада Колотухина. Одеты в домотканые зипуны необъяснимого покроя, в городские пиджаки из «чортовой кожи», в стеганные жилетки с рукавами. На ногах — липовые лапти, берестяные бродни, веревочные чуни и немислимые полупудовые сапоги с железными подков-

ками. Все они, как и тысячи других, с'ехались сюда из глубинных сел и деревень Союза ССР.

Никто из этих двенадцати человек, в том числе и сам Колотухин, скуластый веселый парень, ни разу не видал в своей жизни горных машин. Придя в котлован у вершины Безрудной горы и увидав неприступные гранитные массивы, они крайне удивились:

— Як же, хлопцы, эту махину мы будем робить?

— Камень-то крепче кремня, его никаким струментом не возьмешь.

— Да чорт его угрызет! Все зубы поломаешь...

— А мы не зубами... Видите, какой инструмент? Вон люди работают, — весело ухмылялся бригадир Колотухин, с любопытством рассматривая перфоратор.

— Ну и пускай их работают! Дураков везде много. А мы не хотим на Николу-угодника воду возить.

— Видно, ребятки, не голодна коровка, коли макухи не ест!.. Что мы, хуже других, что ли? Сообразим, и дело пойдет.

— Надейся, паря, надейся! Надеюсь, и кобыла в дровни лягает.

— Кто не хочет, тот может уходить! — рассердился бригадир. — А у кого голова на плечах — айда со мной! Ну?..

Из котлована никто не ушел. Половина стала к железным конусообразным тележкам и начала выкатывать на отвал раздробленный камень, другая половина взяла в руки пневматический бур.

Первоначально этот невиданный инструмент отказывался им подчиняться, деревянил руки и ноги и нестерпимо, до головокружения, до тошноты бил в грудь. Но шестеро молодых ребят крепко сжимали его в руках. Инструктор, опытный бурильщик, подробно объяснял и наглядно показывал, как нужно держать и как им управлять.

Первым усвоил это искусство сам бригадир Колотухин. Он понял, что все уменье заключается в правильной установке бура и в неуклонно точном его направлении. При этом условии перфо-

ратор бил в каменную массу с методической точностью, не бросал в стороны верхний конец, не отдавался глухой болью в груди.

Дня три-четыре были очень трудны. От напряжения ныли руки и ноги, ломило спину, точно на собственном горбу переносили непомерные тяжести. Но через неделю Колотухин, посоветовавшись с товарищами, вывесил на стене конторки объявление:

«Вызываем на соцсоревнование бригаду второго котлована:

1. Ни одного дня прогула и беспощадная борьба с пьянством.

2. Бережное отношение к механизмам.

3. Повышение «квалификации».

Спустила две недели на том же месте, на фанерном щите у входа, висело новое колотухинское объявление: бригада вызывала соседних рабочих той же специальности на увеличение темпов работы. План требовал ежедневно пять погонных метров выработки, — бригада перешагнула его, дав шесть. Теперь она ставила себе задание восемь метров и вызывала на это другие бригады.

На дне огромнейшей ямы правого котлована для рудообогатительной идет напряженная, ударная работа. Два десятка стальных перфораторов — неустояющих механических крыс — день и ночь грызут гранитный массив горы.

Колотухинская бригада соревнуется с двумя другими. Двадцать человек прилепились на уступах, на каменных ребрах, на отдельных кусках, — одинаково серые, запыленные, в защитных очках. В руках каждого пневматический бур-перфоратор с длиннейшей кишкой кверху, к компрессору. Частыми вращательными ударами долбит он гранитную массу, и налегающее на него напряженное тело бурильщика колотится в лихорадочной дрожи. Рана под буром дымится горячей каменной пылью.

Вдвое большее число людей, таких же серых от пыли, внешне обезличенных, грузят породу в вагонетки и блоком тянут кверху, на отвал. В котловане — каменный стон, скрежет, гуденье.

Инженер Кузьминых, помзавучастком Безрудной горы, еще недостаточно опы-

тен, но в нем много энергии и жажды все познать, всему научиться, все прощупать собственными руками. Часов по пятнадцати в сутки он неумоимо ходит вверх и вниз, вымеривает, высчитывает, пробует материал, указывает рабочим и сам поучается у них.

— Евтихий Кондратьич! — кричит он старшему технику всего горного участка, Черняку. — У нас перебой в доставке лесоматериала. Вы распорядитесь, чтобы на складе не было задержки...

— Да-да. Я уже говорил. Складчиком мне поставили такого олуха, что никак не слажу с ним. Горе, а не работник.

Они идут вместе, к правому котловану, осторожно перешагивают через тонкие резиновые рукава, по которым подается нагнетенный воздух в перфораторы, и, подойдя к деревянной изгороди, оба свешивают головы.

Снизу поднимаются тесно сплетенные, точно связанные в пестрый букет, оглушающие звуки: дробные удары пневматических буров, скрежет стали о камень и буханье бросаемых в тележки глыб.

Люди, искаженные перспективой, сверху кажутся черепахами. Они толкают такие же плоские, как и сами, вагонетки, а ближние — с длиннейшими хвостами пневматиков — комариными хоботами сосут земляную кровь.

Только безумствующие звуки неустойчиво кричат о человеческой мощи, о той исполинской работе, которая совершается в гранитном, сорокаметровой глубины, котловане.

«Между перфоратором и пулеметом есть много общего — почти одинаковые звуки и одна и та же напряженность, сокрушающая настойчивость», — неожиданно подумал Кузьминых, улавливая знакомую металлическую россыпь. — «Двенадцать лет назад здесь строчил пулемет, уничтожая человеческую жизнь. Теперь мы ее утверждаем». Последнее слово он повторил вслух: «Утверждаем...» — и тут же обернулся, смутившись: не услышал ли Черняк.

Но техник Черняк был уже на другой стороне, записывал что-то в свою

засаленную карманную книжку. Молодой инженер торопливо, размашистыми шагами пошел вниз.

Новая площадка. По деревянному настилу — две пары рельсов. Медленно катится конусообразная вагонетка, позади ее полусогнувшийся человек с усилием переступает по избитым доскам настила. Голые руки, толкающие вагонетку, кажутся серокаменными от пота и пыли. На загорелой шее вздулись жилы. За первой вагонеткой идет другая, дальше — третья, навстречу им громяхают две порожние.

— Ну, как, товарищ Силин, дело? — мимоходом спрашивает инженер первого вагонщика, когда тот, дойдя до конца пути, останавливается и, распрямив спину, смахивает со лба пот.

— Что ж, дело хорошо, товарищ Кузьминых. — Сегодня в смену вызываем абдулинцев на соревнование.

В конце дощатого настила — люк, возле него — двое с железными лопатами. Один из них добавляет:

— Эти покажут, как работать. Ребята — что надо... Ну, вали, братва черно-мазя!

Вагонетка опрокидывается. Камень с грохотом устремляется по железной трубе книзу, в камнедробилку. Внизу, на помосте, стоят двое. Хорошо виден только верх сгарой, выгоревшей шляпы и серый блин широкой кепки. Они отлично знакомы Кузьминых, и как-раз тот, в шляпе, именно и нужен ему сейчас.

Снова дробно стучат по деревянным, временным ступенькам молодые неутомимые ноги.

— Николай Петрович! Я вас разыскиваю! У меня к вам несколько вопросов, — обращается Кузьминых к человеку в шляпе — заведующему участком, инженеру Кутасову.

Рядом с ним — консультант, немец Оберман. Он первый протягивает руку молодому инженеру и хмуро, как это у него всегда, раздельно басит:

— Вы, молодой человек, бегаєте таким, как бы вам сказать... козлом, что я опасюсь за ваши ноги. — Под сидящими, старательно подстриженными усами немца скользит короткая усмеш-

ка. — Километров двадцать сегодня наверное уже отмахали?

— Ничего не поделаешь, Герман Васильевич. Везде надо побывать. А ноги у меня, как у хорошего мустанга. Подметки вот только здорово треплются, в пору железные подбивать.

Ответив помощнику на его вопросы, завучастком повертывает голову к подошедшему Черняку:

— Сколько патронов сегодня заложено?

— Семнадцать.

Кутасов и Оберман одновременно вынимают часы.

— Без четверти одиннадцать. Идемте, скоро начнут, — говорит завучастком и поворачивает под гору. — Что, в левом котловане ты был? Плотники приступили к опалубке? — задает он вопрос идущему позади технику.

— Метра три уже опалубили. Тебе следовало бы самому посмотреть: там есть какая-то неясность в чертеже.

Кутасов резко останавливается, повертываясь к Черняку, секунд пять-семь о чем-то раздумывает, захватив тремя пальцами подбородок, и вдруг взрывается:

— Какого же еще там рожна у них?.. Не могут разобраться? А ты чего?.. Обратился бы к Кузьминых... Павел Ильич!.. Где он?

— Хе! Хватились! Павел Ильич вероятно уже на верхней площадке. — Серьезно, одними концами щетинистых усов усмежается Оберман. — Вашему помощнику дан редкий талант — стальные ноги. Нужно ценить.

Завучастком привычным, порывистым движением поправляет пропыленную и засаленную шляпу. Взгляд взметывается к идущему сбоку немецкому консультанту, делает несколько глубоких, зондирующих уколов.

— Ноги у человека занимают очень почетное место, — отвечает он обидчиво, измененным голосом. А, кроме здоровых ног, у моего помощника и голова уж не такая плохая. Он человек способный. Я уверен — скоро выдвинется. Только побольше практики. Это — наживное.

Немец не отвечает. Идет редким размашистым шагом, опустив тяжелую го-

лову с длинным лошадиным лицом. Думает о своем.

Инженер Кутасов — бывший рабочий, с техником Черняком когда-то работал на одном из уральских заводов. Он горяч, криклив и в то же время по-женски мягок и застенчив. Когда он смущается, а это бывает нередко, то широкие плечи и большие руки его кажутся ему уродливыми, излишне громоздкими. Он сейчас же весь подбирается, понижает голос, старается казаться менее заметным, но внутренняя сила через минуту снова заявляет о себе: распрямляет грудь, напряжинивает мускулы, наливает полнозвучностью голос. Взгляд снова становится пронизательным и всеохватывающим.

— Герман Васильевич! В прошлом году мы только впервые поднялись на эту гору. Осенью с заброской лесоматериала запоздали. Это у нас бывает, — начинает Кутасов, постепенно повышая голос. — Бесхозяйственность, головотяпство, тупоумие. — все бывает. Этого мы не скрываем. С этим боремся. Бьем кому следует морды. Ну, вот — опоздали. Грянула зима. Механизмов для подема — никаких. А поднять нужно срочно, иначе — крах... Ну, и что же вы думаете? Мы в течение недели подняли на самый верх свыше десяти тысяч тонн всяких строительных материалов... Как это вам нравится? — он победоносно посмотрел на хмуро шагавшего немца. — И это все молодежь... Талантливая ногами, как вы говорите. Знаете, что они придумали? Устроить наледи по самой крутизне, а потом — лебедками. Здорово! Прямо молодцы!

— Остроумно. Я слышал, — оживился немецкий инженер. — Остроумно и дерзко. Я очень хорошего мнения о вашей молодежи. Смелая, настойчивая.

Когда оба инженера и техник поднимаются на крыльцо конторы, тревожно бьет колокол, оповещающий, что через три минуты начнутся взрывы. Десятки людей, работающих в разных местах по склону горы, устремляются вспугнутым стадом в одно русло, вниз, под защиту склада, конторы, машинного сарая.

Каждым взрывом выбрасывается к небу грандиозный фонтан камней, которые, спустя несколько секунд, каменным дождем молотят землю, все, что попадает им на пути. Неподалеку от сарая глухо падает огромнейшая серая глыба и тут же распадается на куски.

Взрывы идут один за другим. Камни канонируют небо. Дрожат постройки. В ясной лазури над горой висит облако пыли.

Снова звонит колокол, на этот раз неторопливо, успокаивающе: опасность миновала, можно приступать к работе. Люди выходят из-под прикрытий и растекаются по своим местам.

II

От конторки до верхней площадки больше километра крутого подема по выжженной траве, по пыли, а больше всего по камню, мелкому, острому, наметанному ежедневными взрывами. Но путь этот привычен инженеру Кутасову. Много пар подметок избил он за время своей работы на горе. Завучастком поднимается наверх. Как всегда, идет, опустив голову и задумчиво перебирая пальцами правой руки, — левая обычно в кармане брюк. Иногда бросит в ту или иную сторону ощупывающий хозяйский глаз, — нет ли где беспорядка, — и снова шагает настойчивым, крепким шагом, прочно ставя сразу всю подошву толстокожих рабочих ботинок.

«Стальные ноги... Гм! Разве это плохо? Гораздо лучше, чем железная голова... — неожиданно вспоминает он разговор с Оберманом. — Что это — грубая шутка или издевательство? Последнее время он что-то много рассыпает подобных острот. Станный... Более чем странный человек...»

Мысли туго свертываются и опять в момент распадаются, вихряются, одна с другой сплетаются, связанные с делом, с людьми, с каждым часом. И волнующие, и скучные, и приятные, нагнетают мозг до утомления. Хорошо, что главное ясно: страна не может жить без металла, новостроящийся металлургический не может обходить-

ся без рудодробильной и обогащительной. Нужно построить во что бы то ни стало и построить в срок. Он, инженер Кутасов, вместе с другими ведет борьбу за этот срок, борется за каждый день, за каждую строительную деталь. Это все ясно, не подлежит сомнению.

А дальше — целый ряд спорных, туманных, часто противоречащих вопросов, возникающих чуть ли не ежедневно. На участке у него работает свыше пяти тысяч человек. Больше пяти тысяч думающих и болеющих о строительстве, ненавидящих его, радующихся каждому провалу, и людей, относящихся просто безразлично, — лишь бы скорее прошел день, лишь бы легче была работа, больше заработок и сытнее пища. Эти люди принесли на гору пять тысяч человеческих миров с отдельными желаниями, волями, навыками, с отдельными представлениями о жизни. Тут есть рабочие — подлинный городской пролетариат. Есть в большом числе пестрые сезонники из крестьян, прельстившихся хорошими заработками, и наконец «спец-переселенцы» — тяжелый, мрачный слой черноземной силы. Всем им нужно не только дать соответствующую работу, но и создать наиболее благоприятные условия для этой работы. Правда, этот полк, как и всю стотысячную армию, занятую на строительстве, обслуживают специальные лица и организации: пробы, техники, культурники, стройкомы, комячейки и прочее. Но эти вожди и командиры не всегда могут направить энергию строительных масс в надлежащую сторону. Возникают конфликты, трения, ущемления интересов отдельных лиц и целых групп. И все это тотчас же отзывается на работе, а за работу отвечает он, завучастком, инженер Кутасов.

На стене конторы, возле входа висят фанерные щиты — термометр стройки. Стоит Кутасову взглянуть на короткие меловые строчки и цифровые колонки, как он сразу определяет по ним состояние того или иного строительного объекта: там — немного повышена температура, здесь — уже лихорадит, а тут — упадок сил и тенденция к дальнейшему

понижению. Творческий организм целого участка и не только одного участка, всего строительства, остро реагирует на все это. Нужно мобилизовать силы, уменьшить, такт, знание человеческой психологии.

Инженер Кутасов, отягощенный заботами, привычным неторопливым шагом идет по тропинке к верхней площадке. Возле дробилки на каменном отвале работает десятка два рабочих, с головы до ног запыленных, в разнородных одеждах, в лаптях и уродливых огромных ботинках на деревянных подошвах. Они поднимают головы, когда он проходит мимо них.

— Товарищ начальник! — Двое с бородами и пыльными лицами отходят от остальных, подходят к нему, не бросая лопат.

Завучастком останавливается.

— В чем дело?

— Товарищ начальник! Когда нам выдадут спецодежду? У нас вот все тут. Последнее доносили.

К этим двоим подходят еще несколько человек.

— Вот они, лапти, истрепались, а новых никак не могу добиться...

— ... Чего лапти! Нам сапоги! Мы работаем не хуже других.

— ... Мы требуем, чтобы к нам было такое же отношение, как и к остальным рабочим.

Кутасов внимательно выслушивает, всматриваясь в лицо каждого. Под маской суровости, перенесенных потрясений, обид и унижения проскальзывают те же знакомые мужичьи черты. Он отвечает спокойно, обстоятельно:

— Насчет спецодежды и обуви придется несколько дней подождать... может быть, с неделю, — плохо работает железная дорога. Большая партия курток и сапог находится в пути. Насчет отношения к вам — вы, товарищи, не правы: оно такое же, как и к остальным рабочим. Если со стороны отдельных лиц, то укажите, кто, — будет расследовано. Теперь относительно жилищ. Вам строятся бараки, обычного стандартного типа, вы об этом знаете. Скоро будут готовы...

Вслед инженеру раздается недовольное ворчание, выражающее обиду и недоверие...

В левом готовом котловане для бункера рудодробильной шла арматурная и плотничная работа. Вслед за этим в междустенье опалубки, на проволочное плетеное должен лечь цемент с песком и мелким камнем—вечный бетон,— и образовать монолитный, крепче гранита, железо-бетонный мешок с узким отверстием внизу. В этот бездонный мешок-бункер и потечет руда, направляясь к подземным дробильным машинам. Коренная, не требующая обогащения, пройдя несколько стадий дробления и очищения на сухих магнитных сепараторах, погрузится механически в вагоны и покатится в доменный цех на шахтные дворы.

Убогие же руды будут размалываться до размера зерна, а рассыпные — промываться, и все это потом также пройдет через магнитную сепарацию, но здесь уже не сухую, а мокрую.

Всеми подземными и бункерными сооружениями ведал инженер Шеин, недавно приехавший из Донбасса, еще молодой, но уже с порядочным стажем. Он сразу горячо принялся за дело. Работы в этой области полностью еще не развернулись: нехватало людей, был недостаток в материалах, не подготовлена огромная бетономешалка «кайзер».

Инженер Шеин ходил по дну котлована, вымеряя расстояние между стенок опалубки и пробуя прочность арматурных установок. Опускался в сырой и темный тоннель, ведущий в просторную залу подземной фабрики. Зала эта напоминала гигантский склеп: сыро, прохладно, жутко. Человеческий голос звучал придушенно.

Наверху Шеин тщательно осматривал бетономешалку. Он был в высоких сапогах, кожаной куртке и серой рубашке с широко раскрытым воротом. Прощупав глазами и руками механизм, он вытер комком пакли испачканные руки, поправил с'ехавшее кепи и повернулся к подошедшему Кутасову.

— Машину нам, Николай Петрович, подсунули сильно изношенную.

— Что вы сказали? — переспросил не расслышавший завучастком.

— «Кайзер», говорю, никуда не годен. — Он улыбнулся и сострил: — По-видимому, кайзер, как и все цари, отжил свой век. Нужно на свалку. — Прораб опять стал серьезен. — Я не понимаю: ответственнейший участок, работы должны вестись самым ускоренным темпом, а тут дают вместо трех бетономешалок — две и одну из них почти негодную. Кроме того, недостаток в людях, нехватает железа. Как тут работать? Если так будет дальше, я сниму с себя ответственность.

Кутасов посмотрел на него тяжелым, подавляющим взглядом.

— Ответственности вы снять с себя не можете, это не детская игра. А если к сроку не закончите, то нам с вами сделают нахлобучку. Вам, разумеется, больше.

— Но, товарищ Кутасов. Как же при таких условиях я могу ручаться за срочное выполнение? Я боюсь даже другого...

— А если другое, — перебил жестко завучастком, — то здесь есть для этой цели соответствующее учреждение. Результаты тогда будут иными.

Шеин вспылал.

— Николай Петрович! Я вас не понимаю! Что это, угроза?

Кутасов покачал головой.

— Нет. Это товарищеское разъяснение тех объективных условий, в которых мы с вами находимся, в которых находится наше строительство, вся страна.

Шеин молча покусал нижнюю губу, отшвырнул носком сапога подвернувшийся камень и заговорил, вдруг изменившимся, почти веселым голосом:

— Сейчас мимоходом заглянул в клуб. Горняки стенгазету вывесили, советую посмотреть — замечательный номер.

Заведующий участком поднял оживившееся лицо.

— Что, кроют кого?

— Зло и остроумно. Достается Голицу и еще кое-кому. Обязательно посмотрите. Любопытно.

Проговорив это, Шеин отвернулся, торопливо засучил рукава и снова при-

нялся прощупывать машину. Кутасов тем же неторопливым, деловым шагом направился дальше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Над степью, над стройкой, над барачным поселком спускается вечер, мглистый и душный, с ползущими, зыбучими тенями. Медленно загорается небо.

Над рекой, стрельнувшей по степи змеевидной полоской жести, стелется туман, на пыльную, пересохшую траву ложится роса. Дождя опять не будет, хотя по тусклому небу целый день ползали беременные тучи. Два месяца — с неба ни брызги. Все вокруг выжжено степным неумолимым солнцем.

Но бараки живут своей повседневной жизнью. С наступлением вечера она становится особенно полнокровной и бурлящей. В семь часов у длиннейших железных умывальников поднимается плеск, смех, переключ мужских и женских голосов. Гремят жестяные чайники; рабочие спецовки сменяются на чистые рубашки, на майки и светлые легкие кофточки. Суровые, сосредоточенные лица размягчаются.

Большая семейная комната. На окнах — горшки с геранью, столетником, с цветущей гортензией, — они совершили сотни километров, прежде, чем очутиться здесь. За маленьким столиком — муж, жена и девушка-школьница с красным галстучком. Двое старших только-что пришли с работы и благодушествуют за чаем, делясь впечатлениями дня. Девочка, отодвинув недопитую чашку, срывается с табуретки и бежит на улицу: на спортплощадке, позади бараков, уже собирается третье поколение. Призывно кричит труба горниста.

Хозяин комнаты, солидный годами и видом, солидно берет газету и ложится на кровать: хорошо после работы и подкрепления сил дать телу заслуженный покой, а мозг переключить на другие темы...

... В комнате рядом — мать и дочь, но будто две сестры-погодки.

— Мама! У горняков, на третьем, сегодня доклад, после доклада — концерт, выступают свои ребята. Я пойду... — сообщает дочь, доставая из комода аккуратно сложенные новые фильдековские чулки.

Мать повертывает от стола голову, — она занята починкой белья. Взгляд чуть-чуть обеспокоен.

— А оттуда с кем придешь? Наверно, поздно окончится.

— Да, поздно, но я буду не одна. Нас идет много: Манюшка Дроздова, Вера, Николай, Степа Сидоров... и еще кое-кто. Не страшно.

Мать знает, кто подразумевается под этим «кое-кто», но ей хочется не столько проверить себя, сколько увидеть смущение дочери, это материнская боль и жестокость...

— Константин... как его... Гусев, что ли, тоже будет? — Забывчивость: «Гусев, что ли?» — сознательное. Неприязнь.

— Да, Константин тоже идет с нами, — отвечает дочь с некоторым смущением и думает, уже который раз об этом думает: «Почему Костя не нравится матери? Он такой милый, симпатичный, умница. Конечно, он лучше многих других...»

Дочь надевает платье, несколько минут занимается прической, то и дело повертывает голову к часам и наконец, праздничная, возбужденная, обронив матери: «Я пошла», устремляется к двери.

Мать размышляет: «Долго ли проживет с нею Сонечка? Какова будет ее семейная жизнь? Кто будет «он»? Несомненно, этот Гусев». Чует материнское сердце — не следует за него. Почему не следует, неизвестно. Просто, предостерегает родная кровь... У самой у ней исковеркана еще не изжитая жизнь, а теперь на пороге стоит дочь... Много больших, тревожных мыслей бродит в материнской голове...

... В комнате по другую сторону — еще двое. На окне нет ни цветов, ни занавесок; по вечерам завешивается оно газетой, и на подоконнике всегда окурки и остатки еды. Эти двое каждый вечер после рабочего дня преодолевают

риффы и мели мудрых учебных книг. Каждый вечер на столе разложены линейки, транспортиры и тетради. Головы заняты не гулялкой, не ухажерством, а цифровыми выражениями еще недавно незнакомых им идей и мыслей. Сейчас эти двое — простые рабочие парни: один — бетонщик, другой — слесарь, но пройдет известный срок, и из этой же комнаты они выйдут техниками. Выйдут, чтобы преодолеть последнюю, высшую ступень строительной науки.

На столе еще не убран чайник, недопиты стаканы, недожеваны булки, но оба уже уткнулись в книги...

... Из больничного поселка, расположенного пониже, по берегу реки, идет, ссуторбившись, мужчина средних лет — доктор-акушер. Идет он к приятелю, инженеру-транспортнику, после трудового дня отдохнуть за чаем и дружеской беседой. День нынче у него выдался трудный: пять абортотв и три рождения. Эти первые пять неведомых, которым предстояло потом появиться на свет, исчезли на первых ступенях своего развития. А, может быть, одному из них надлежало стать гением, творцом величайших человеческих ценностей.

Убиты пять волев, умов, изумительнейших, неповторимых аппаратов, воспринимающих и отражающих мир, несших в себе дерзновение перестроить самую планету.

Доктор сейчас думал не об этом, — подобные мысли, когда-то вспыхивавшие в нем, давно угасли и вероятно не повторятся. Он думал о более близком для него: пациентов все прибавляется, так как армия строителей с каждым днем растет, а больничных помещений мало. Кроме того, чувствуется острый недостаток в медикаментах, нехватает медицинского персонала. При таких условиях крайне тяжело работать... «И вообще жизнь стала плохая...» — заключает он свою мысль, устало плетясь через улицу.

Навстречу — молодая, краснощекая нянька из родильного.

— Здравствуйте, Николай Личардович! — с радостной молодостью приветствует она хмурого доктора и мышью юркает в раскрытую дверь кооперати-

ва: надо купить к чаю леденцов. Она поглощена сейчас одним — успеть купить, не распродали бы, и вернуться до прихода заведующей. В палате на сегодня — сто тридцать пискунов, розовых, слюнявых сто тридцать комков vorочающегося мяса, а их, нянек, только три.

«Вот и попробуй справиться со всеми! И как не устанут рожать эти бабы?..» — с простодушным укором мысленно восклицает молодая, краснощекая девушка...

... На вытопанной полянке между бараков, в веселом плеске ярится гармонь-двухрядка. Гармонист — плотник-ударник, лихой владимирец, сидит на ящике в кругу двух десятков людей. Корявые пальцы его ловко бегают по белым пуговкам ладов. Мехи, кокетливо извиваясь, переливаются золото-красным узором. Лица девчат и парней расцвечены задором юности, дерзостным вызовом к жизни: «Выходи — померяемся силами!..» У пожилых, потрепанных невзгодами — мягкие улыбки, благодать покоя и тишины.

Я рубашку надел —
С незабудками,
Разрешите вас потешить
Прибаутками...

У Яшки Волкова, низкорослого здоровяка-землекопа, в широких лапах неожиданно оказались две деревянных ложки. Он засунул их между сучкообразных пальцев правой руки, взмахнул ей с вывертом, и пустил сухую кленовую дробь, рассыпая под нее звонким речитативом земляные тамбовские чапушки:

Моя милка маленька,
Чуть повыше валенка,
В лапки обуется,
Как пузырь надуется.

Гармонь захлебывается в хмельном плясовом ритме, пальцы игрока безумствуют. У него даже губы в ходу, помогая музыке, беззвучно выбивают такт.

— Ну, девчата! Давай, выходи, кто горазд!.. Ну, что ж вы? У кого ноги чешутся?..

Сквозь гущу тел торопливо проти-скиваются две девушки. Одна в голубой майке и белых спортивных туфельках— Маня Дроздова.

— Вот я... Кто со мной?

Она грациозно прошла по кругу, выделявая маленькими туфельками пока еще несложные и спокойные движения. Яшка Волков ретивее затрещал кленовыми ложками, привезенными из самого Тамбова, и звончее пустил свой металлический тенор:

Две старухи без зубов
Тоakovали про любовь:
Мы с тобою влюблены —
Ты — в кисель, а я — в блины...

Подходит мистер Джон Чарли, как всегда, торопливый, энергичный и вездущий. Окидывает взглядом собравшихся, молодых и старых, крепко запечатлевая в цепкой памяти особо выдающиеся лица и останавливается на плещущей в голубой майке девушке. Смотрит на нее долго, изумленно. Поражает его не красота лица и безукоризненность форм, скульптурно выделяющихся сквозь плотно облегающую одежду, не горячность и нега молодого тела, предельно выражающих себя в музыкальном ритме движений, но что-то другое. В первый момент он даже и сам не знает, что. Просто смотрит изумленно, с восторгом и незнакомой сладкой болью. Его тихонько трогает за рукав старый замызганный человек.

— Товарищ американец! А ведь наши девки пляшут того... не плохо. А? Верно я говорю?

— Кто этот девушка? — спрашивает вместо ответа мистер Чарли.

— Ага! Заело! — щерит тот в кривой улыбке волосатый рот. — Наши девчата, — что петь, что плясать, — кому хошь, десять очков вперед дадут. Это вам не Америка!

— Как зовйт этот девушка? — бесцеремонно продолжает допрос мистер Джон Чарли.

— Ну, Манька Дроздова! Чего еще вам? — неожиданно меняет тон замызганный человек, делая лицо свирепым.

Американец поворачивает к нему голову и видит перед собой свалывшуюся

черную бороду, похожую на кусок войлока, такие же брови и насмешливо-злые глаза, а под глазами, взамен носа, — красная нашлапка.

— А вас как зовйт? — тем же тоном спрашивает Чарли, не опуская взгляда.

Кусок черного войлока приходит в сотрясение, глаза сделались пустыми.

— Кха! Кха!.. Вы, товарищ американец, лучше послушайте нашу гармошку да вон этого стервеца Яшку. Ишь, ложки у него как стрекочут! Верно я говорю? А я, что... Кха! Кха!.. Меня Сидором зовут, а фамиль — Кузякин...

Гармонь делает паузу. Круг размыкается. Мистер Джон Чарли восторженно трясет руку плясавшей девушки:

— Вери гут! Очень карошо, товарищ Манья Дроздова. Зам-мечательно.

Гармонист поднимается. Молодежь начинает расходиться: одни — на лужайку к реке, другие — на футбольную площадку, где юноши с голыми мускулистыми ногами в упоении носятся за прыгающим мячом.

II

Маня Дроздова сегодня неожиданно-негаданно получила письмо. Открыла дверь комнаты, взглянула на стол, — словно чуяло сердце, — и увидала: лежало оно сиреневым веселым квадратом и неудержимо притягивало к себе, такое простое и таинственное. Что в нем: радость, печаль или легкомысленный щебет какой-нибудь подруги? Порывисто протянула к нему руку — и краска залила лицо, птичьими крыльями восхищенно взметнулись брови.

«Дорогая Марьюшка, не видал я тебя целую вечность. Может быть, ты мною недовольна? На что-нибудь рассердилась? Каждый вечер я все жду, жду, а тебя все нет и нет...»

Взволнованная девушка прерывает чтение: вспыхивает желание прикоснуться губами к продолговатому исписанному листику, — милые строчки, — но она только подносит к лицу, пробует ощутить запах.

Вспоминается вечер, неделю тому назад, — теплый, душный вечер. Они шли

компанией в кино. Нагнувшись к ней, он тихо сказал: «Домой еще рано, погода чудесная — идемте погуляемте... только вдвоем...»

Она до этого не один раз гуляла с инженером Шеинным. Всегда он был остроумен, деликатен, держал себя безупречно. На этот раз он взял ее под руку как-то особенно, необычно, и у ней мелькнуло где-то в глубине, не то с опаской, не то радостно: «Сегодня будет не как всегда... Может быть, лучше пойти домой?.. Нет...»

Они ходили у подножья горы в стороне от заводской площадки. Строительные звуки долетали сюда приглушенно, над всем господствовали подавляющие, безграничные степь и небо. Со степи плыли запахи незнакомых трав, томящие тревогой и неясными мечтами. Инженер Шеин рассказывал об историческом прошлом лежащей перед ними равнины. Древняя степь, недра горы, великая стройка с машинами, с людьми, с нечеловеческим дерзанием — все вызывало в нем восхищение.

Маня изредка взглядывала на его красивый профиль с тонким породистым носом и энергичным подбородком, вслушивалась в тон самого голоса, звучащего с восторженной убедительностью, и думала: «Какой же интересный и умный он человек, цельная, возвышенная натура!..»

Потом они зашли к нему на квартиру выпить по чашке кофе, потом... а потом незаметно, до необычайного просто, естественно и произошло то, что дало ему возможность говорить ей «ты» и посылать вот такое письмо. Раскаивается ли она в этом? Сожалеет ли? Нет! Она ушла тогда от него переполненная дотопе ей незнакомой, обновляющей радостью. Отзвуки этой радости не исчезли еще и сейчас.

Комната в бараке с тонкими тесовыми перегородками, не доходящими до потолка на целых пол-аршина, и чужая жизнь атакует с трех сторон говором, запахами, атмосферой людей и вещей.

Девушка хочет сесть за книжку, — сегодня еще не занималась, — а сердце стучит, точно дробный удар маятника: «Завтра! Завтра! Завтра!..»

За перегородкой справа — трое ведут беседу о деревне. Один из этих троих приехал с бесхлебных тверских полей. Маня видела его: с желтым худым лицом, обросшим чуть не до глаз черным волосом. Он сейчас устало на что-то жалуется. На что? В мозгу девушки горячий маятник загулывает, чеканя:

«Завтра!.. Завтра!..»

За стеной слева — мать укачивает ребенка. Громко скрипит пружина люльки; мысленно видится поникшая голова соседки Евфросиньи, жены плотника Астапова. Евфросинье только тридцать два года, но она почти старуха. Жизненные соки вытянули из нее дети: двенадцать лет замужем — одиннадцать детей, и семь из них живы. Год назад она приехала сюда с мужем налегке, семерых оставив на родине у стариков. Думала зарабатывать деньги, а теперь в самодельной люльке — трехмесячная Аксютка.

Маня вспоминает жалобы Евфросиньи: «Устала я, милая девонька, от ребят. Роздыху нет, каждый год с пузом... Вот так жизнь моя и прошла без молодости, в недостатках и обидах. Уж такая доля наша бабья, горькая!..»

Ржавая пружина люльки мечтательно скрипит:

«Завтра!.. Завтра!..»

Девушка, найдя нужную страницу, опускает голову на ладони, прикрывая пальцами ушные раковины, чтобы не слышать окружающего. «Теперь лучше будет. Теперь скоро изменится» — думает она и не знает, о ком — о жалобе ли Евфросиньи, или о самой себе.

Некоторое время кажется, что жизнь вокруг замерла, только будто шипит свесившаяся над столом электрическая лампочка. Рядом с дверью широко раскинулся желтый с красными разводами ситцевый полог, закрывающий кровать сожителей. У другой стены — постель ее, Мани, накрытая голубым тканевым одеялом с двумя пышно взбитыми подушками. Над изголовьем — полотенце с вышитыми концами и полочка книг.

Маня Дроздова пытается вчитаться в простые и знакомые слова книги, но это удается не сразу. Логически ясные, неопровержимые положения и выводы

железной науки о человеческом хозяйстве и законах, им управляющих, кажутся необычайно трудными. Она перебегает от одного абзаца к другому, снова возвращается к началу главы, — мысль не хочет подчиниться...

«Бедная Евфросинья!..»

В окно раздается резкий, продолжительный стук. Со смехом распахивается рама. На мутном ночном фоне появляются три веселых молодых физиономии.

— Маруська! Ты чего рано забралась? Выходи, у нас там хорошая компания составила!

Девушке хочется пойти к ним: погода такая великолепная, на улице весело. Заниматься можно потом, позже. Она с полминуты борется с этим желанием и заявляет:

— Нет, не пойду. Мне некогда.

— Маруся, ну на полчаса. Времени еще немного, — спрашивает Ваня Чурылин. Лицо его в игре светотени кажется трагически-смешливым, таит лукавство. Им задумана какая-либо каверза.

— Маня, всем ведь нам завтра вставать в одно время. Мы тоже не безработные, знаем свой час, — убеждает подруга Катя.

Но Маня Дроздова еще раз, уже более решительно говорит:

— Некогда. Не пойду.

И это произнесенное «некогда» сразу вводит ее в горячку ученья, в мир забот и рабочих будней.

Рама уныло захлопнулась. Голова девушки снова склонилась на ладони рук...

Из-за полога вылезают голые женские ноги, потом появляется заспанное лицо с космами сидящих волос.

Маня, не оборачиваясь, говорит:

— А я думала, тебя нет.

Женщина, приведя в порядок юбку, выходит на середину комнаты.

— Какой час-то? Утро или вечер? Никак не разберу, заспалась. — Шлепая босыми ногами, она подходит к противоположной стене и поднимает голову к часам. — Ой! Батюшки-светы! Полчаса десятого. Прилегла отдохнуть, да целый вечер и проспала. Вот те ра-аз!.. Где мужик-то мой шатается? Ты не видала его?

— Как это у тебя, Марфуша, вышло? Ведь так можешь свое царство небесное проспаться.

— Уж и не говори, матушка! — нараспев, жалобно, с преувеличенной серьезностью отвечает женщина. — Проспали мы его, окаянные, царство-то небесное! Из-за мирских своих дел прозевали, зенками прохлопали. Уж нечего о нем думать. Хоть бы в аду-то какое местечко поудобнее дали, чтобы не в самое пекло.

Марфа подходит к осколку зеркала, прислоненного на комод к стенке, закручивает на затылке тощую сивую косицу. Девушка опять углубляется в книгу. За дверью слышатся сдвоенные шаги и знакомый хриповатый голос:

— Вот, смотрите, так мы и живем! Тут у меня девица одна и моя законная половина, прозывается Марфа-Посадница... Эй! Хозяйка! Встречай! Гостя американского веду!

Мистер Чарли одним взглядом окидывает комнату, сразу привычно воспринимая все характерное, нужное для него, и останавливается на удивленном лице девушки.

— Еще раз здравствуй, Манья Дроздова!

Кузякин, опершись вывернутыми руками в бока, щурится на жену.

— А ну-ка нам сваргань что ни то такое!.. Чай, что ли!

Мистер Чарли быстро оборачивается и точно в испуге отмахивается:

— Нич-чего! Нич-чего! Никакой чай! Я только на одной минут!

— Она у меня на кирпичном, — показывает Кузякин на жену. — В ударницах состоит. Что, верно я говорю? А?

— Будет тебе цыганить-то! Не на базар вывел! — обрывает его Марфуша сконфуженно и торопится достать из комода скатерть — накрыть стол.

Мистер Чарли садится рядом с девушкой, заглядывает в книгу.

— Ого! Экономик!.. Я вид'ел многа русских девушек техник и инженер, который раньше простым был работница. Зам-мечательно! — Американец достает папиросу и затягивается, уставив взгляд на ситцевой занавеске с красными разводами. На лице на некоторое время

застывает мечтательная улыбка. Потом он медленно повертывает его снова к столу и шутливо говорит: — Знаете, Манья Дроздова, я вид'ел ваша сестра...

Девушка испуганно откидывает голову. Прекрасные синие глаза ее на момент предельно расширяются, на щеках появляются красные пятна, и минуту назад красивое лицо становится почти безобразным.

Но это продолжается всего несколько секунд. После чего оно снова приятно и влекуще. На губах чуть-чуть кривится усмешка.

— Видели мою сестру? Где же вы ее видели? Мне тоже хотелось бы на нее посмотреть или хотя узнать, что есть такая на свете.

— Да-да, очень похож на вас. Уд'ивительно похож. Она работает на изумрудный рудник.

Маня снова меняется в лице: теперь оно бледно и враждебно.

— ... Конечно, это только сходства. Только такой, как вы, — добавляет мистер Чарли и оборачивается к остальным двум хозяевам.

Он некоторое время разговаривает с Марфушей и с Кузякиным, человеком сумбурным и глуповатым. Женщина то и дело ухмыляется на веселые остроты американца, а Кузякин поминутно кудахчет, в старческом смехе трясая черным войлоком на губе.

— Кха! Кха! Умора! Верно я говорю? А?..

Девушка машинально перелистывает страницы книги, думая о другом. На лице ее — ни улыбки: напрасно старается мистер Чарли.

Американец уже понял всё, что следовало понять. Снова наклоняется к ней и тихо над ухом:

— Зовайт ее Ксен'я. Это ваш сестра...

Девушка не поднимает головы... Маленький городок. Опрокинутое революцией родное гнездо. Чтобы не быть смятой, ей нужно было куда-то бежать, бросив родительский кров. Старое и кровное постепенно выливалось из сознания, из чувств, уносилось, как прах, степным бураном, вихри зажигали новое, — может быть, для этого была бла-

годарная почва. В новую жизнь она хотела войти непременно новой, расставшись с прежним навсегда. А сестра...

Мистер Джон Чарли взволнованно и уже громко заявляет:

— Я ничего не сказал вам об этом. Я никогда никого не вид'ел, товарищ Манья Дроздова. Вы вид'ял меня? — Он протягивает ей руку. — Досвиданий! Хорошо вам спать! Гут найт!

Американский корреспондент, забыв проститься с остальными, торопливо и виновато пошел из комнаты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

В большом кабинете за большим письменным столом начальник строительства, он же и директор будущего комбината, бега пишет деловое письмо:

«... Дорогой Семен, шлю тебе такой привет, какого письменно нельзя выразить. Какого же вы чорта медлите с выполнением заказа? Строительство ждет его целых три месяца. Твой завод срывает нам работы. Ты знаешь, как это называется?.. Нам поставлены твердые сроки. Партия требует их выполнения. Страна ждет. Мы, строители, мечемся в горячке, а вы...»

Телефонный звонок.

— Слушаю!.. Да-да!.. Сколько сегодня поступило шмота?.. Так... Я сегодня вызову начальника узла, потребую прекратить это безобразие!

Трубка вешается.

«... Мы, строители, мечемся в горячке, а вы, прости меня, вредительствуете. Об'ективно — это так...»

Снова звонок.

— Алло!.. Я!... Так... Так... Отлично! Сколько прошли шахты?.. Ага!.. Когда придет инженер Васильев, пускской позвонит — он мне нужен.

В дверях — пожилой человек в шляпе.

— Я к вам, Андрей Федорович, на две минуты.

На столе у начальника лежат часы, он мимоходом скользит взглядом по циферблату.

— Я к вашим услугам, Павел Петрович! Здравствуйте! — протягивает руку.

После ухода пожилого человека в шляпе сейчас же появляется молодой человек в кепке.

— Андрей Федорович, я к вам!.. Всего несколько слов...

— В чем дело, товарищ Воронов?

За первым молодым человеком входит второй молодой человек, а в смежной канцелярии целый «хвост» посетителей расположился на строгих дубовых стульях вдоль стен. Темы двух-трех минутных бесед самые разнообразные: о земляных работах на плотине, о первой батарее коксо-химкомбината, о ширпотребе, о стандартном жилстрое, о финансах.

Начальник поднимается из-за стола. Он среднего роста, плотен, с большой, крепко посаженной головой и серыми внимательными глазами. Когда говорит и не сердится, губы то и дело складываются в едва заметную доверчивую, мягкую улыбку.

Он подходит к одному из графиков, — стены огромного кабинета почти все увешены картами, диаграммами и графиками, показывающими движение работ на том или ином объекте, освоение капиталов, текучесть рабсилы и прочее. Потом протягивает руку к телефонной трубке:

— Москва! ВСНХ. Пожалуйста, кабинет Орджоникидзе...

Он говорит тем же спокойным, уверенным голосом, мимолетно играя мягкой и доверчивой, иногда чуть хитровой улыбкой. Немного прищуривается, будто всматривается в то, о чем говорит. Все, что касается его строительства, он знает в совершенстве. Нет такой области, в которую бы не проникал его ум, которую бы он не видел перед собой, главное, не видел перед собой в любой момент. Память его положительно всеобъемлюща. В ней свободно укладываются тысячи разнороднейших вопросов, больших и малых дел, касающихся непосредственно строительных объектов, касающихся лиц, занятых строительством. Кубы, тонны, погонометры, многозначные цифры денежных сумм легко уживаются между собой, не заслоняют друг друга. И в любой момент, без натуги, небольшим усилием во-

ли они извлекаются из неведомых глубин на поверхность сознания. Мозг работает, подобно совершенному механизму.

Андрей Федорович Лундин как будто никогда не устает. Как будто его голова чужда каких бы то ни было сомнений. Он всегда бодр и уверен, дает исчерпывающие ответы, ставит глубоко продуманные вопросы. И никто из многочисленных сотрудников не знает, есть ли у него другая, интимная, не связанная со строительством, жизнь, думает ли он когда-либо о чем другом, не касающемся завода?

«Нет, не думает...» — так всем мыслится.

У Лундина есть жена и ребенок, — живут километрах в семи от центральной площадки, в инженерском поселке. У него почти никто не бывает, и сам он редко к кому-либо заходит. И где бы, с кем бы ни встречался, тема для разговора одна — строительство. В недавнем прошлом — это директор металлургического завода на Юге. Еще раньше — мастер прокатного цеха.

На южном заводе еще можно было думать о семье, о самом себе и о том, что не входило в круг служебных вопросов. Когда работал в цехе, то позволял себе еще больше. Но стройка гиганта забрала всего; как взяла с первого дня, так и не отпускает до сих пор, пробудила небывалое увлечение, захватила размахом, привязала мелочами. Каждый день, каждый час происходит горение. Иногда все кажется необыкновенной игрой, требующей изворотливости ума, волевого напора, выдержки характера и величайшей тактики в маневрировании среди человеческих воль и самолюбий. Не то, чтобы некогда было думать о семье или лично о самом себе, но просто об этом не думается. Все личное растворилось в огромном деловом, заполнило всего подавляющим интересом и необычайным содержанием.

Утро начинается так. В семь часов он выпивает два стакана кофе или чаю и с'едает яйцо с куском хлеба. Разговор с женой за столом примерно такой.

Жена:

— Вчера я тебе не успела сказать: я от Сони письмо получила. Верочка замуж выходит.

— Верочка замуж? — по пухлым губам скользит хитроватая улыбка, забываясь на гладко выбритые щеки. — Любопытно!..

Жена:

— Он — инженер, работает в Харькове на заводе...

Лундин, перебивая:

— Чорт возьми этот Харьковский завод! Три месяца я не могу получить от них заказ. Сегодня послал ругательное письмо...

Андрей Федорович несколько минут распространяется о заказе и возмутительном отношении заводов к своим обязательствам вообще.

Немного спустя жена снова сообщает:

— Марья Петровна завтра едет в Москву, — отец сильно заболел. Осложнение после гриппа. Бойтся, выживет ли. Страшно расстроена...

Лундин старается припомнить, кто такая Марья Петровна. Память подает справку: «Жена инспектора по охране безопасности Сенявина...»

— Вообще, им что-то не везет в жизни, — продолжает жена. — У него недавно умер брат, совсем еще молодой человек, потом их обокрали...

«Это верно, ему не везет: за неделю на одном и том же участке два несчастных случая с человеческими жертвами, — думает Лундин, допивая второй стакан. — Инспектор по охране безопасности. Хороша безопасность!..»

— Андрюша, я хочу попросить Марью Петровну...

— Что ж, можно, проси, — соглашается муж и, не дослушав, в чем дело, поднимается. Завтрак и семейный разговор окончены.

Андрей Федорович идет в кабинет: надо просмотреть несколько проектов общественных сооружений в будущем социалистическом городе. Сын, пятилетний Иван, еще спит. В восемь с половиной, когда от крыльца раздается призывающий автомобильный гудок, пятилетний Иван солидно входит в кабинет.

— С добрым утром, папа! — мальчик протягивает руку и одновременно гуды. — За тобой уже приехала машина.

— Слышу, сынок! Слышу! Ну, как ты спал? Хорошо?

— Хорошо! — Сын стоит между отцовских колен, детски-серьезно глядит в ласково смеющиеся глаза.

За окном — вторичный, более продолжительный гудок.

— Слышишь, папа! Опять!.. Когда ты меня на машине покатаешь? Когда мы поедem с тобой на гору?

— Скорее поедem. На гору и в степь. — От звская рука гладит мальчика по головке. — Ну, до свиданья! Мне надо ехать!

Андрей Федорович выходит к под'езду, приветливо здоровается с шофером и сразу забывает о сыне, о доме, о всем личном: этот человек в кожаном пальто и знакомая, до безразличия знакомая машина привезли ему и вклинили в мозг сотни различных вопросов, неотложных дел, связанных со стройкой и с ним, Лундиным.

Вечером, когда Андрей Федорович приезжает домой, сын уже спит, жена и домашняя работница подают ужин. Лундин сегодня задержался на заседании комфракции, а вчера затянулось собрание технического бюро, на котором был его доклад, а два, три... пять дней назад — были собрания постройкома, рудкома, горкомитета и так дальше...

Но иногда, правда, очень редко и всегда как-то нелепо, врываются к нему голоса иной жизни. Впервые это произошло около года назад, в стенах управления, когда голова его была загружена неприятными, тяжелыми вопросами, — строительство переживало полосу аварий. В кабинете у него происходило какое-то большое собрание, за маленьким столиком сидела стенографистка, незадолго перед тем появившаяся на строительстве. Он до этого дня ее почти не замечал, хотя она находилась рядом с его кабинетом. Во время перерыва собрания один из приезжих журналистов кому-то по ее адресу шутливо сказал: «Эротическая женщина». Услыхавший эту фразу Лундин крайне возму-

тился и хотел сейчас же выразить журналисту порицание, но когда взглянул на нее, то, к удивлению своему, согласился с этим определением. Стоявшая у окна с молодым инженером стенографистка кокетливо щурила глаза, выставив напоказ свой красивый бюст, скульптурно и вызывающе выделявшийся под шелковым джемпером.

Андрей Федорович как-то странно вздрогнул и почувствовал давно забытую волну, неожиданно прокатившуюся по всему его телу. Он сейчас же осадил себя: «Глупо! Не время и не место заниматься этим!..» — и взялся за звонок.

— Товарищи! Давайте продолжать собрание!..

С этого дня Лундин, помимо своей воли, часто обращал на нее внимание. А вскоре случилось так, что она стала вторым его секретарем. Однажды, диктуя ей деловое письмо, он наклонился сзади над ее головой, заглядывая в пишущую машинку, и непроизвольно или почти непроизвольно — потому что одно чувство нестерпимо тянуло, другое крепко удерживало — прикоснулся ладонью к ее налитым, великолепным плечам. Сначала это прикосновение было робко и почти вскользь. Потом, спустя две-три минуты, оно повторилось уже сознательно. При этом в теле своем он чувствовал ту же давнюю юношескую, приятную дрожь.

Машинистка подняла к нему лицо, — показала, — многозначительно улыбнулась и спросила:

— Точку здесь? Начнем с красной строки?

Лундин подумал, недовольно нахмутив лоб.

— Да, поставим точку. Вообще точку! Больше не будет! — Он резко повернулся и пошел из кабинета. Был очень недоволен собой.

Эти плечи, этот бюст и кошачья, гибкая и горячая — казалась горячей — фигура молодой машинистки в иные минуты неудержимо тянули к себе, на момент туманили мозг. Но в следующую минуту пьянящее чувство как-то само собой растворялось и гасло в смерче разнообразнейших повседневных

дел. Думать о нем, усиливать его было некогда.

... Зеленый автомобиль начстрой опять катит на Безрудную. Ветер, жесточайший степной ветер, со свистом бьет в стенки машины и протискивается в щель зеркального стекла. С фонарной мачты радиорупор вдогонку кричит: «Большевистским усилием выведем строительство на дорогу побед!..» С боков, навстречу штурмуют смерчи горячей пыли.

«На дорогу побед... Большевикским усилием... — мысленно повторяет начальник строительства, загораживаясь ладонью от проникающего ветра. — Без этого нельзя. Усилим, нечеловеческим усилием. Только так... Только так...» — думает Лундин и вспоминает недавние, такие же штурмовые дни и ночи. На коксо-химкомбинате и временной электростанции был отчаянный прорыв. Все, что можно, бросили туда, стянули с других участков механизмы, людей, строительные материалы. Технический персонал работал по двадцать часов без сна. Он, начальник строительства, чуть ли не целые сутки проводил на месте работ. А тут еще на электростанции по невежеству нескольких рабочих произошла авария, грозившая приостановить работу многих объектов. У него сколько раз возникали сомнения: «Может быть, он неспособен руководить? Бездарный организатор. А может быть, это сверх человеческих сил? Ни Лундин, ни кто другой не в состоянии преодолеть непреодолимое?..» Андрей Федорович горел, метался от сомнения к уверенности, от веры к безверию в себя, в своих помощников, в самое дело. В нем крутился такой же смерч, какой сейчас вот крутится над площадкой. Но это было все внутри, тщательно покрытое маской кажущегося спокойствия и уверенности. «Сколько сил это стоило!.. Все-таки преодолели. И теперь одолеем. Ничего, одолеем!..» По лицу начальника расплывается хитровая усмешка.

II

С крыльца конторки сходят начальник участка Кутасов и немецкий кон-

сультант инженер Оберман. Рядом, в дощатом сарайчике, стучат в обгонку две желтых машины — компрессоры, подающие воздух в правый котлован пневматикам.

Кутасов, пронизывая охрипшим баритоном дробный машинный стук, кричит на дорогу, грузовику с мелким камнем:

— Я вам говорил брать с правой стороны, нужно освободить место! Почему вы не слушаетесь?

Шофер машет рукой: «Понимаю, мол» — и громыхает дальше. Завучастком посылает ему вслед ворчливую реплику и поворачивается к немцу:

— Вот, подите, разговаривайте с ним. И так на каждом шагу.

Немец, не отвечая, смотрит вниз.

— Кажется, едет Лундин. Как-раз он мне нужен. — Консультант говорит неспеша, отчетливо выговаривая слова, как бы гордясь правильным выговором чуждого языка. Длинное, тяжелое лицо его безразлично, рабочий пиджак на сухой фигуре висит странным, фасонно-клетчатым мешком. — Он что-то часто стал к нам ездить. — Консультант вынимает из кармана брюк великолепный носовой платок с серыми полосками и сморкается в него так, как чихают лошади.

Кутасов ждет на нижней ступеньке, не сгоняя с лица все еще недовольное выражение.

— Вчера получили ударно-буровой станок; механики с утра бьются над ним; изношен вконец, — высказывает он начальнику строительства свое недовольство.

— Какой, типа «кейстон?»

— Да... Со сверлами та же история: не поспеваем заправлять...

— Как бункер? — спрашивает начстрой.

— Вчера со второй смены начали укладку бетона...

Все трое идут по склону горы между отвалов и подсобных построек. Ветер сюда достигает только изредка, гуденье и пыль носятся выше и по другую сторону горы. Внешне все трое резко различны. Кутасов почти юношески строен и легок, движения порыви-

сты. Сам начальник несколько ниже ростом и плотнее. В походке у него спокойствие и уверенность, в жестах — волевая энергия. И совсем карикатурным кажется среди них долговязый, с лошадиного типа лицом и вялыми движениями немец Оберман.

На первой площадке южного склона Кутасов быстро поворачивает голову вправо, тревожно прислушиваясь.

— Вы что? — спрашивает начстрой.

Завучастком, не отвечая, решительно поворачивает к белеющему новым тесом маленькому сарайчику, прижавшемуся к ржавому срезу горы.

— С водокачкой что-то случилось, — догадывается немец. — Слышите, перебой.

Торопливый, с интервалами, точно дыхание тяжело больного, стук машины неожиданно затихает, через минуту взрывается лихорадочным клекотом и вдруг совсем замирает.

— Идиоты! Опять что-нибудь наделали! — возмущается Кутасов, не замечая, что консультант с начальником отстали и не слышат его. — Вчера поставили женскую бригаду. Сладу нет с этими алкоголиками! Где они только достают.

В сарайчике беззвучно. Машина, подающая воду наверх, в котлованы и шахту, стоит в мертвом спокойствии. Маслянистые бока ее потны, как у много бежавшей лошади. Сбоку, из тонкой трубки, с шипеньем струится парок. Две женщины в мужских синих комбине заняты приведением в чувство загнанного металлического животного. Работают они молча, суетливо и неуверенно. В стороне стоит пожилой человек в замасленной блузе и нетрезвым голосом, иронически высказывает свое сомнение:

— Все равно, ни черта у вас же получится. Тут тебе не горшки, не припус... Машинист — это большая штука. Надо понимать и ценить. Машиниста сразу не сделаешь...

— Петров! Ты опять в стельку пьян!.. Ты зачем здесь?.. Вон отсюда! Я арестую тебя! Расстреляю, как последнего мерзавца! Как вредителя! — бурей набрасывается на него Кутасов.

Пьяный машинист актерски становится в позу невинно оскорбленного. Он отлично знает отходчивый характер завучастком, кроме того, учитывает и острый недостаток технической силы на строительстве.

— Товарищ Кутасов, вы это напрасно насчет расстрела и прочее. Конечно, вы можете: вам дана сила. За Можай можете загнать, но ведь работать-то надо кому-нибудь. На них, на бабах, много не выедешь. Их еще учить надо да учить.

В дверях появляются начальник строительства и консультант. Машинист сразу спадает с тона и обращается уже к вошедшим:

— Товарищ начальник! Я вот пришел им указать — машина их не слушается. Известно, девчаты, бабье, неопытные...

— А почему ты пьян? Ты знаешь, пить на строительстве строго запрещается.

— Я, товарищ начальник, ничуть. Так, голова... Жарко здесь. Вот им указать, как опытный... Это не моя смена. Только указать...

— Ладно. После поговорим. Уходи отсюда... В чем тут у вас дело? — Лундин подходит к женщине-машинисту.

Машина, вздрогнув, набрала силы, стальные мускулы ее пришли в движение, забило сердце, сначала медленно, робко, потом все увереннее, полнокровнее. Почувствовалось, как по серой металлической артерии, протянувшейся до самой вершины горы, потекла нагнетаемая вода. Где-то, далеко у подножья, тяжело вздыхало и глухо чавкало.

— Самое страшное — это недостаток культуры. Отсюда — пьянство, хамство, головопаяство. Это может переломить хребет всей революции. — Оберман говорит с вдумчивой расстановкой, внедряя каждое слово в слушателей. — На десять энтузиастов приходится семь лентяев и шкурников. Из пятка талантливых ребят двое обязательно хамят, и вы им, товарищи начальники, потворствуете. Надо воспитывать уважение к личности, любовь к делу, к творчеству, — у вашей молодежи она имеется. Но у нее нет или почти нет другого,

что более необходимо, — нет любви к тому, что создано вашими же руками и создано в невероятнейше трудных условиях, — любви и внимания к машинам, к инструментам, к новым великолепнейшим зданиям. Три года назад я был в Донбассе, там я видел около десятка изумительнейших рабочих дворцов, в каждом чуть не по полсотне зал и всевозможных кабинетов для различных самодеятельных кружков по всем видам искусства, для научных работ, для игр, для спорта и прочее. Превосходная отделка, отличная мебель. Все готово, все блестит, только недоделана одна мелочь — не готовы уборные. И люди в течение целой зимы отправляли свои естественные надобности у наружных стен зданий. Это было в трех дворцах. В других тоже не лучше. Уборные были, но позабыли о раздевалках. Посетители входили в калошах и верхней одежде, разносили угольную грязь по паркетным полам и по мягким диванам. И еще одна характерная мелочь: местные работники показывали мне с гордостью театральные сцены этих дворцов. Действительно, было чем гордиться: такое оборудование не часто встретишь в столичных городах. И тут же эти работники, даже культурники, курили и бросали окурки на пол, под декорации. На мое замечание — смущенная улыбка и пожимание плечами: «Знаете, привычка. Наследство старого, никак не можем приучить себя...»

— Герман Васильевич, — перебивает его начальник строительства. — Я понимаю ваше возмущение — это возмущение европейца. Защищать наше некультурье я не собираюсь, у нас с ним идет самая беспощадная война. Я хочу только указать на другое. В семнадцатом году мы разносили дворянские гнезда, били зеркала, мрамор, уничтожали библиотеки, не желая ими пользоваться, не думая о том, что это может нам пригодиться. В двадцатом году на остатках дворянской мебели мы уже сидели, правда, о дорогой плюш тушили окурки, а тем, что менее ценно, отапливали квартиры. Но здесь был уже шаг вперед. А еще год-два спустя в этих особ-

нях мы развернули музеи и галереи и культурные ценности извлекали отовсюду, где их только находили. Это показывает наше дальнейшее продвижение. Теперь мы строим гиганты-заводы, вооружаем новейшей техникой нашу промышленность, организуем вузы, втузы, академии, создаем армию ученых, воспитателей и учителей... Я хочу этим сказать, что борьба за культуру более длительна и напряженна, чем борьба за технику, и на этом фронте мы, хотя медленно, но все-таки подвигаемся вперед... В тех донбасских рабочих дворцах, — улыбнулся Лундин, заканчивая, — полагаю, что уборные уже поставили.

Оберман передернул сухие губы большого рта в иронической гримасе и вытащил из кармана вздутых галифе кожаный портсигар. Возражать начальнику ему уже не хотелось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Герман Васильевич Оберман...

Имя это не так уж крепко связано с человеком, имеющим длинное, тяжелое, разграненное вертикальными складками лицо. Этого человека когда-то называли иначе. То, другое, прочно вошло в сознание нескольких тысяч людей, живущих на территории Союза.

В восемнадцатом году принадлежавший ему завод сожгли. Потом растащили по кирпичику и самые стены, оставив на этом месте унылый, хаотический пустырь — гнездилище летучих мышей и жаб.

Герман Васильевич, или тот, кто называется Германом Васильевичем, мало был знаком со страной и с людьми, дававшими ему возможность жить широкой жизнью избалованного культурой европейца, — жить за границей, где он родился и вырос.

В этой мало знакомой ему стране произошла революция, то-есть, организованный бунт масс, — как он тогда думал, — разрушение культурных ценностей, экспроприация того, что ими не создано. Сначала взбунтовавшиеся толь-

ко разрушали или способствовали разрушению. Потом они стали чинить и обновлять старье, восстанавливать разрушенное, а еще немного спустя принялись за постройку нового и принялись сразу необычно.

Тогда у него и возникла мысль взглянуть, что это за люди и чего они хотят. Он решил посмотреть вблизи на невежественных, малограмотных, полуанатов, дерзающих перестроить мир. Поехал на несколько месяцев, но обстоятельствам угодно было сложиться так, что он живет в этой стране уже четвертый год.

Инженер Оберман не только высокий специалист и передовой либеральный человек, но, кроме того, он и художник в своей области. Лист бумаги с начерченными на нем линиями параллелей и окружностей, со всевозможными пересечениями для него не простое руководство на предмет постройки того или иного механизма, — это предпосылка для истинного творчества. Это — тема, которой надлежит превратиться в высокохудожественное произведение технического искусства. И чем сложнее объект, тем большее напряжение творческих сил он в нем вызывает, одновременно рождая предвкушение радости завершения. Тончайшие отметки рейсфедера и циркуля — их воздушный геометрический узор — перед его умственным взором претворяются в стальной массу точной формы и веса, живут, двигаются, наполняются своей кровью. Куски мертвого металла представляются ему в форме нерожденных частей механизма. Он, инженер Оберман, может вызвать их из хаоса, дать им жизнь. И в этом сознании своего могущества была великая радость.

Но инженер Оберман работал в стране рождающегося социализма, сам являясь представителем иного класса, — от этого часто возникали в нем конфликты...

В поселке для иностранных специалистов есть свой клуб, кооператив, столовая. Хотя здесь живет также несколько семей русских инженеров, но тон дают все-таки иностранцы, преобладает немецкая и английская речь. По вечерам до-

рожные патефоны играют фокстроты, поют арии и романсы европейских певцов, выкрикивают речи прославленных мировых ораторов. По пыльным тропинкам в подавляющую небом и ширью степь выходят в одиночку редкие и недолгие здесь гости — американские сухопарые леди и меланхоличные, мечтательные немецкие фрау.

Степь для всех одинакова — пустыня, уныла, в вечной вражде с человеком. Вокруг и куда глаз хватит — ни деревца, ни кустика. В знойном небе пластаются степные крылатые хищники, из мреющего далека временами налетают горячие, пыльные вихри. С площадки, как голоса иного, неожиданного здесь мира, приглушенно доносятся паровозные гудки, грохот мощных строительных механизмов.

По вечерам и в длительные ночные часы, когда над степью царствует мрак, а у подножья горы сверкают зажженные рукой человека электрические созвездия, — на европейских и заморских обитателей этого поселка иногда надвигается уныние, затопляет их тоска по городскому шуму, по иной жизни...

У Германа Васильевича Обермана две комнаты — маленькая спальня и отличный кабинет, он же является гостиной, залом и столовой... Изредка заходят коллеги. Хозяин играет с ними в шахматы и пьет пиво, закусывая кислой и сухой брынзой. Игра тянется часами. За это время иногда слов произносится не больше, чем выкуривается папирос. Хозяин, как и его обычные гости, привык больше думать, чем говорить...

За окном сегодня гудит ветер, и порывами, точно пучком сухих прутьев по стеклу, дробно стучит дождь. На черной стеклянной стене ночи возникают россыпью сверкающие слезы и медленно ползут и срываются новым порывом. Зеленый свет лампы мягко стелется по письменному столу, по узкому коврику от стола к двери.

Инженер Оберман задумчиво шагает туда и обратно, заложив руки за спину, — шаг грузен, нетороплив, уныло одинок. Мысли непоследовательны и хаотичны, как и всегда после напряженной умственной работы или физической

усталости... В маленьком городке Германии, на фабрике, работает его сын, — это все, что осталось от семьи. Желену и малолетнюю дочь отняла революция, та, которой он теперь служит. Правда, зарубежная, но по существу это все одно и то же. Та же кровь, жестокость, разрушение...

А созидание?..

«Удивительный размах у большевиков! Удивительные они люди!.. Нач-строительства — талантливейший организатор и приятный, тактичный человек. Это он развернул такие темпы при неблагоприятнейших условиях. Собрал, объединил, вдохновил лучшие технические и хозяйственные силы. А секретарь парткома Зуев? А руководители комсомола и ядро актива газеты? Каждый день они находят новые слова для сплочения и под'ема творческого порыва масс. Сколько нужно изобретательности, знания психологии и могучей веры в то дело, которому они служат, в те идеи, которые так настойчиво проводят в жизнь!

Откуда эти люди? Почему у них столько силы и уверенности? А целый ряд молодых инженеров! Талантище из каждого так и прет... И на ряду с этим — обилье невежества, технической безграмотности...»

Дождь за окном усиливается. Гудят провода. В комнату одинокого инженера Обермана неслабышо вползает грусть и сладко, усыпляющим дурманом воспоминаний наполняет тревожную тишину...

II

Инженер Оберман, широко расставляя длинные ноги и задержав хмурью лицо, неспеша поднимается по каменной ступе тропке на гору. Меланхолично стучат каблуки громоздких ботинок, в ленивом раздумьи поматываются полы расстегнутого рыжего пиджака. Воздух недвижим. Жарко. Консультант останавливается у дробилки, вытирает платком вспотевшую шею и привычно вслушивается в хрустящий говор камней под стальными бегунами. От пыли громко чихнув, как чихают лошади, он отправляется даль-

ше. Минут через десять останавливается у среза горы, над которым трудятся полсотни людей и несколько механизмов. Он бездумно, — нет, не бездумно, а думая о другом, о далеком, — смотрит на работу экскаватора, черпающего с железным скрежетом и лязгом своим огромным ковшом отвороченные от откоса гранитные глыбы. И опять продолжает путь по извивающейся тропинке кверху.

Грохочет бетономешалка «кайзер», из черной дыры тоннеля напряженно выползают конусообразные железные тележки. Одолев под'ем, по прямой они бегут уже проворно и весело, легонько погромыхивая. Инженер Оберман, вытирая отличным платком с каемочками сочащиеся шею и лоб, стоит некоторое время перед «кайзером». Знакомый звук чавканья и пережевыванья бетонной массы не вызывает в нем привычных ассоциаций. Не возникают знакомые образы проволочных плетений, опалубки и возникающего серого вечного массива. Он смотрит и не видит этого, — взгляд его сейчас в далеком. Все утро сегодня угнетенное настроение: ни делать, ни думать не хочется, — лечь бы где-нибудь в ложине и отдаться покою одиночества, смотреть бездумно в небо и прислушиваться, угадывать движение крови в своем размякшем теле. Но долг, обязанность заставляют предаваться другому.

Почти всю сегодняшнюю ночь инженер Оберман провел без сна. — захватил и понес его безбрежный поток прошлого. Позади много было хорошего: и семья, и обеспеченность, и молодость, и будущее. Теперь ничего этого нет. Даже будущего. Некоторое удовлетворение получает только от работы, иногда захватывающей, вливающей новое содержание в жизнь. Но — сегодня работа, завтра работа, а где же личное? Где тот интимный уголок, куда человеческое «я» приходит отдохнуть, собрать себя и, может быть, обрести новую силу?

Этот уголок разрушен...

Инженер Оберман ходит по строительству, переживая отголоски минувшей отравной ночи.

— Здравствуйте, Герман Васильевич! — выводит его из состояния внутренней сосредоточенности знакомый голос.

Оберман повертывает голову и видит техника Черняка. Загорелое до синевы лицо старшего техника светится довольством, в голосе — необычно радостные нотки.

— Вы что сегодня — именинник или по займу выиграли? — сухо спрашивает немец.

— А почему?.. Разве у меня такой вид? — не замечая неприязненного тона, улыбается техник.

— Лицо у вас такое... — Оберман хотел сказать «глупое», но сдержался. — Такое легкомысленное... радостное.

— Сегодня получил телеграмму: наднях приедет жена, погостить. Почти год не видалась, — простодушно сообщает техник.

— Жена приедет? Это хорошо, — хмуро соглашается Оберман и думает: «А у меня жена и дочь...» — Слушайте, товарищ Черняк! Я предлагал запроектированную толщину стенок основания бункера увеличить на два сантиметра, а у нас получилось наоборот — на восемь миллиметров тоньше. Как это произошло?

Старший техник, смущенный, пытается объяснить, говорит о завучастке, о прорабе, но консультант, перебивая его, неожиданно заявляет:

— Ну, конечно... Я понимаю. Это не так важно. Два-три сантиметра не имеют большого значения. Можно так продолжать... Кстати, прораба, инженера Шеина вы давно не видали?

— Товарищ Шеин, кажется, внизу, в подземке. Крикнуть его?

— Нет-нет! Не надо! Я сейчас сам туда пойду, — останавливает консультант и мысленно гозорит себе: «Три сантиметра—это уже преступление. Это почти вредительство... Что ж, консультант Оберман здесь не при чем. Не может же он отвечать за всякого невежду или за очередную небрежность ответственного работника. Пускай отвечает каждый сам за себя!» В глубине сознания беспокойно, настойчиво сверлит: «Необходимо излечить, пока не поздно.

Обязательно исправить!» И другое мелькает там же, в тайниках мозговых извилин: неведомая женщина, приезжающая на-днях к мужу, и личная незадачливая жизнь; счастливый выскочка, всеми замечаемый инженер Шейн и неуклюжий, стареющий Оберман.

Немецкий консультант еще раз повторяет старшему технику, что два-три сантиметра совершенно не имеют значения, и поворачивает направо, в проход между штабелей опалубки и куч арматурного железа.

В устье штольни, ведущей в подземную залу будущей дробильной фабрики, Оберман на минуту задерживается, его вялое лицо, разграненное большими продольными складками, изменяется в саркастической гримасе. Здесь тоже невежество и тупоумие. Но при чем же он, консультант? В его обязанности не входит делать каждого технически грамотным и по-настоящему культурным. На инженерах и техниках лежит высочайшая ответственность: быть идеально честным перед своими научными познаниями, перед самим собой, перед тем делом, которое им поручено. Если тот или иной специалист этой творческой потребности не ощущает, то он, Оберман, в этом не виноват. Не будет же он инженеру Шейну читать лекцию об инженерской честности. Выход из штольни следовало сделать на метр правее, это укоротило бы путь, не пришлось бы проходить твердыми породами, и по некоторым другим соображениям было бы целесообразнее. Самый коридор тоже должен быть на четверть метра шире. Так и проектировалось, но что-то произошло, кто-то изменил. Конечно, инженер-консультант Оберман мог доказать невыгоды и даже вред такого положения, он и хотел это сказать, но не сказал. Объективно это...

Немецкий инженер стискивает зубы, лицо становится мрачным, сжимаются длинные, костлявые пальцы.

— Я здесь не при чем! — почти вслух отвечает он. — Я только консультант. Это даже не моя страна. Не я буду жить в их социалистическом раю!..

Инженер Оберман взволнованно закуривает, делаят две глубоких затяжки,

дым выпуская медленно, закинув голову кверху, и, когда после этого наступает некоторое внутреннее равновесие, направляет свои шаги к другим объектам.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

На «Пятилетке» сегодня особенное настроение. Центральную площадь строительства будто сузили, на ней стало гуще и оживленнее. Кто-то неведомый за кулисами быстрее завертел ручку киноаппарата, и все живое на грандиозном фильме задвигалось быстрее.

Этот «неведомый» был почти реален: кричал из всех углов строительства сотнями голосов. Кричал со стен зданий, с телефонных и осветительных столбов, с бесчисленных плакатов и щитов, со страниц газет. Кричал только одно слово, и это одно ускорило общий темп работ, уличной жизни придало лихорадочность и нервозность.

Слово это было:

— Тревога!

С особенной серьезностью пронеслись бронированные аристократы «думп-кары» и деловитые, обычные громоздкие грузовики, поднимая за собой бегущие стены черной, горячей степной пыли. Сновали в разных направлениях извозчики в тарантасах, пролетках и простых крестьянских телегах, развозя на дальние участки прорабов, техников и хозяйственников. Управлявшие низкорослыми казачьими лошаденками женщины, подростки и старики — молодые мужики все работали на строительстве — неистово взмахивали кнутами: магическое слово им также передалось.

Обильнее сделались ручки пешеходов, ветвящиеся от центральной площади в десятках направлений. И лица идущих и едущих сегодня казались особенно озабоченными, у некоторых — тревожными, будто там, куда они стремились, дело, великое жизненное дело, без них рушилось, гibly, помощь их была необходима, как помощь врача смертельно больному.

Темнозеленый автомобиль начальника строительства отошел сегодня от упра-

вления на целых два часа раньше обычного. К девяти утра он успел побывать на всех трех объектах, где объявлена тревога — на горе, домне и центральной электростанции. Вернулся к управленческому под'езду густо запыленным, потерявшим свой обычный цвет. Начальник вышел из него тоже серый, точно полинявший, хотя на нем был кожаный яркожелтый пиджак и такого же цвета краги, торчавшие дудками. Бритое лицо глядело устало и озабоченно. Он торопливо, энергичным шагом направился к парадной и резко распахнул дверь, не ответив на поклон встретившегося какого-то техника.

За начальником шел немного развинченной походкой главный инженер, высокий, всегда подтянутый, опрятный старик с белым аккуратным угольничком бороды. Сейчас он не похож был на себя от пыли, растерянности и утомления: пришлось подниматься на леса у строящейся домны, ходить по буграм и канавам вокруг гигантских корпусов ЦЭС и взбираться на крутизну Казачьей горы, где шли рудничные разработки.

У входа главинженер остановился. Сидевший рядом чистильщик сапог, проворный мальчуган, услужливо подставил маленькую скамеечку.

— Пожалуйте, товарищ Зулима! — В ожидании он дважды ловко шаркнул щеткой о щетку.

Но старый инженер на этот раз не поставил ноги на скамеечку. Даже не взглянул на чистильщика, а, обернувшись, кивнул головой шоферу:

— Подожди! Через десять минут я опять поеду!

Начстроительства и главинженер прошли в свои кабинеты.

В управлении тоже прокатилась волна общего под'ема. Точнее, зародилась она в комсомольской организации, приютившейся в малосветном барачном здании, и оттуда вчера перенесена была сюда, в кабинет начальника. В течение нескольких минут она здесь все взвихрила, не оставив в покое ни одной из трех десятков комнат, и вылилась, шумя и пенясь, на улицу, на многочисленные строительные участки, во все обслужи-

вающие учреждения, всюду будя, крича, призывая.

Большие и малые плакаты и наклейки во весь голос трубили со стен зданий, с папиросных коробок, с махорочной упаковки, с конвертов писем, с каждого бумажного оберточного лоскутка, выходящего из кооперативных магазинов и ларьков, трубили громоподобно, устыжающе и зовуще:

Комсомольская тревога.

Производственная программа на домне, горе и центральной электростанции за три пятидневки сорвана. Темп работ на важнейших участках отстает от планов на несколько месяцев. У нас создается реальная угроза своевременному пуску гиганта. Причиной этого — бесплановость и неразбериха.

Комсомольский райком объявил тревогу на стройке новой электрической станции, домне и горе.

В дни тревоги комсомол строящегося завода должен вести за собой всех рабочих строительства, показывая им образцы ударных темпов, примеры социалистической стройки...

Строительство с момента начала работ в течение нескольких месяцев переживало черную полосу неурядиц. Значительная доля причин находилась вне самой постройки: таилась на транспорте, на десятках заводов-поставщиков, во всевозможных проектировочных бюро.

Некоторая часть недочетов вытекала из специфических особенностей самого строительства, по крайней мере в первое время. Прежде всего — трижды передельвавшийся генеральный план завода, запроектировавший будущую его производительность вместо первоначальных шестисот пятидесяти тысяч в четыре миллиона тонн чугуна в год.

Это в корне изменило технико-экономическую физиономию завода.

Дальше — небывалые, неслыханные масштабы. Иностранцы специалисты-консультанты подчас разводят руками: размеры и темпы строительства выходят из сферы их практического кругозора и понимания. Американские и немецкие

металлургические колоссы строились десятилетиями, постепенно наращивая цех за цехом, расширяя и усовершенствуя механизацию.

Завод «имени Пятилетки» должен быть построен полностью всего в три года, на совершенно пустынном месте, где отсутствовала не только железная дорога, но и шоссейные пути, куда каждая доска должна быть привезена за сотни километров, где не было основного, что требуется металлургическому заводу, — воды...

II

На горе Казачьей работало сегодня людей вдвое больше обычного. Часть из них плотным полукольцом протянулась у ее вершины, на первой террасе, откуда начинались откатные пути. Железнодорожная колея делалась пока временной. Сотни людей с ломami, кирками, лопатами освобождали место, другие сотни равняли площадь, насыпая на нее битый камень. За ними по пятам шли новые группы: клали шпалы, устанавливали рельсы, выравнивали рельеф. А дальше, в двухстах-трехстах метрах, уже двигались вагонетки.

Несколько ниже, на следующей террасе, люди обнажали от земляных покровов богатство горы — железную руду. Работали покамест вручную. В разных местах взводы и батальоны рабочих лежащую на поверхности или в обнаженных откосах валунную руду грузили в вагонетки и просто в штабеля. Эти штабеля располагались по узкой и длинной площадке огромными квадратами. Валуны магнитного железняка переливались на солнце игрой цветов: шоколадного, золотистой ржавины и темнокрасного, похожего на загустевшую кровь. На каждом из них — следы космического пламени, не стерты миллионами лет, земных бурь и потрясений.

И попрежнему в различных пунктах стучали буровые станки, запуская свои стальные и алмазные зонды в земную толщу. И попрежнему из колодцев shaft выползала в емких бадьях каменная порода.

На деревянных скреповых стойках, на земляных срезax, на стенах и дверях инструментального склада, — всюду, где можно приклеить, где можно написать, — вопило, подгоняло бьющее слово: «тревога». Оно было высечено почти на каждом лице рабочего: большого и малого начальника:

«Тревога! Тревога! Тревога!»

Завучастком, инженер Голич, стоял на уступе рыжей железной скалы, которую под его ногами старательно долбили рабочие, и, нагнув тяжелую голову, сердито басил, растягивая слова:

— Я хотел бы знать, чем ваш бригадир думает: головой или другой какой частью?.. Сказано ясно — начинать от того уступа и подвигаться налево! Как будем теперь подавать сюда вагонетки?

— Товарищ начальник! Мы так и хотели начинать, но техник приказал отсюда. Сейчас бригадир придет, все объяснит... — оправдывался ближе всех стоящий рабочий с кайлом.

— Вы напутали: техник так не мог приказать!..

Завучастком повертывает от скалы и направляется кверху. На уступе у нового среза столпилось десятка три людей. Стоят, галдят, работы — никакой. Справа торопится мистер Джон Чарли. Сейчас он был в управлении и в плетеной казачьей бричке примчался сюда, — всюду надо поспеть во-время. Издали приветствует Голича поднятием руки и возбужденным восклицанием:

— Гут мониторин, товарищ инженер! Работа сегодня — пять с плюсом! Отлично!..

Заведующий участком занят другим, — взгляд его шарит по столпившимся людям:

— Что за митинг? В чем дело?

— Да вот ждем десятника для распоряжения...

— Струмент неподходящий. Надо другой...

— Как инструмент? Почему?

— А так вот. Перегнали нас сюда, а тут лом и кайло ни к чему, требуется сначала лопата.

— Где сейчас работали?

— Там, направо, на выемке. Туда новую партию пригнали, а нас вот сюда.

— Идиоти-изм!.. Начинайте вон там, где вскрыто! Ну-у! Живее! Не рассусоливать! Здесь не деревня — поясницы себе чесать. Становитесь!.. — Голиц вспоминает об американце и повертывает к нему еще не остывшее от гнева лицо.

— Здравствуйте, мистер Чарли!.. Вот все воюю: есть тут у нас остолопы, никакими словами их не проймешь... Дубьем надо... Ну, мне некогда! Извините!.. — Инженер направляет свою беспоконную фигуру к железнодорожной насыпи.

Мистер Джон Чарли начинает обходить звенья участков работ. Везде надо заглянуть, послушать, вынести впечатление. Сейчас самые горячие, самые интересные часы и дни... Что сегодня есть, того завтра не будет.

Он с неутолимой жадностью пытается захватить и втиснуть в свою необъятную память как большие факты, так и мельчайшие детали повседневности. Все вокруг происходящее — ново и необыкновенно.

Строится социализм. Перестраивается для него и сам человек. Нельзя пропустить одного часа.

Внизу, у конторки, стоит плетеная бричка с подростком-казачком. Мистер Чарли юношески вскакивает в нее.

— На ЦЭС!..

... Центральная электростанция тонет в хаосе строительного леса. Самих сооружений не видно — кверху вздымаются на много десятков метров и понизу стелется на сотни метров одно лишь плетение: стойки, перекладины, обшивка, сходни и опять стойки, перекладины... Строятся три корпуса одновременно. Железо-бетонное сооружение подается деревом.

Хрустят и чавкают в разных местах бетономешалки, ненасытно пережевывая каменную жратву. С бетонолитных мачт по рукавам с грохотом устремляется вниз тестообразная масса, направляемая опытной рукой в ячейки стен. Трещат лебедки, подтягивая кверху доски и брусья. Звонит железо, слышатся отдельные выкрики людей.

Но когда на стройку входит новый человек, рабочий или инженер, свой или посторонний, юноша или старик, — этот гудящий строительный шум заглушается для него одним, отовсюду кричащим: «Тревога! Тревога! Тревога!»

И у этого входящего, и у привратника, строго охраняющего вход на стройку, и у человека в медной каске, пожарника, зорко, каждоминутно осматривающего все углы, — на лице та же, все охватившая, все себе подчинившая тревога.

Начальник участка, пожилой инженер, страдающий одышкой после недавно перенесенной болезни, не жалея себя и забывая об этом, мальчишески бегаёт по деревянным сходам. Только когда сердце начинает колотиться уже чрезмерно и к горлу подступает клубок удушья, он тогда останавливается и на некоторое время замирает, крепко вцепившись в первый попавшийся под руку устойчивый предмет. В голове мутно, подкашиваются ноги, но инженер думает об одном: «Надо нажать. Надо вытянуть... Позорно отстаем. Так нельзя, нельзя...»

Он опять устремляется вперед, старается заглянуть всюду, прощупать взглядом всякую мелочь. Все продумать, проанализировать. Обращается то к одной группе рабочих, то к другой:

— Товарищи! Давайте! Давайте! Работаем мы неплохо, но надо еще усилить. Я уверен, что мы теперь покажем себя...

Рабочие почти не отвечают. Слова сейчас излишни.

Начальник участка поднимается на самую вершину лесов, где теперь производится заливка бетона. Сердце — вот-вот пробьет грудную клетку. Под коленками дрожь, и стягивает мускулы, в голове — туман. «Проклятая болезнь! Не во-время!..» — Инженер утомленно опускается на ящик, вынимает записную книжку: пускай думают, что он занят делом, неудобно показывать рабочим свою слабость, — в такую горячку она совсем некстати.

Внизу кипит людской муравейник. Из тысяч пор сочатся люди-строители. Невидимо сочатся, сливаются в одно

необ'ятное озеро звуки машин, инструментов, мертвого материала, пробуждаемого к жизни в новых, не присущих ему формах.

Сердце все еще усиленно колотится. Какая-то пустяшная болезнь, и вдруг такой результат. Доктор говорит — осложнение после гриппа на почве переутомления, недосыпания и все такое... Пожилой инженер, вертя в руках огрызок карандаша, на минуту задумывается: «Вот ходишь-ходишь так, и вдруг — трах, сердце остановилось, или вроде там излияния в мозг. Вот тебе и жизнь твоя! Строишь социализм и не узнаешь даже, что такое это за штука. Хотя издали бы посмотреть на него!.. Неужели сердце так-таки и не поправится?»

Начальник участка прячет записную книжку в карман и поднимается с ящика, идет по шатким, скрипучим доскам настила. Сколько раз он поднимался сюда с начала постройки корпусов. Сколько тысяч раз оглядывал с высоты площадку строительства. Еще сравнительно недавно внизу темнели только котлованы, траншеи, горы земли и горы строительного материала. Теперь затейливыми, игрушечными, — сверху кажется, игрушечными, — сооружениями заполнена широчайшая площадь перед электростанцией. Лезут из земли железной шетиной фермы механического цеха. Деревянным, точно из спичек, ажурным плетением распласталось сооружение будущего прокатного, где встанут исполинские прокатные станы — блюминги, весом почти по две тысячи тонн. Каждый из них по выпускаемой продукции, по затрачиваемой энергии будет равен большому заводу. Леса будущего здания протянулись больше чем на километр, но высота их отсюда кажется ничтожной.

В эмбриональном состоянии и модельный цех, и мартеновский, и воздуходувка. И только две домы высятся исполинами. Они не пластаются, не расплазуются вширь, но неудержимо тянут свои зевы к небу, хотят все себе подчинить, над всем господствовать.

А дальше — два могучих горных кряжа, спокойно осевших на извилистом

холме. Это — Казачий и Безрудный. Взгляд инженера привычно упирается в них. Так — всякий день, в продолжение нескольких месяцев. А сейчас, пока сердце еще не успокоилось, он думает о грядущем социализме:

«Придет ли он, и скоро ли? Несомненно, придет. Не скоро, но придет... А может быть?..»

Пожилой инженер, начальник постройки гигантской электростанции, которая будет давать жизненную силу всему мировому колоссу, задает себе вопрос:

«А может быть, и... совсем никогда он не придет? Но как же мы... я... строим его, сдаем ему соки своего сердца, свою кровь?..»

На леса торопливо поднимается мистер Джон Чарли, еще издали приветственно кивая.

— Вери гут! — Он вытягивает по направлению к Казачьей горе маленькую руку. — С гора скоро потечет руда на дробильный фабрику, а с фабрику — на шихтный двора. Закипит металл в домна, мартена, бесемера, захрустит в прокатный валы... Замм'ечательно! — Голос его торжественен, лицо освещено мечтательной улыбкой.

Инженер смотрит в ту сторону, куда показывает американец, и мысленно спрашивает себя:

«Разве это не основа социализма? Гиганты-заводы, новые города, новый быт — это уверенная, неотразимая его поступь... А он, инженер Шляпников, принес сюда, вероятно, последний запас своей энергии, последнюю вспышку ума. Принес, чтобы... Да, едва ли кто потом ему, им пошлет в пространство за их труд и жертвы простое спасибо...»

Пожилой, утомленный бессонными ночами последних месяцев, перегруженный работой и заботами инженер внутренне отмахивается от преступной мысли, мелькнувшей случайно, и направляется к бригаде бетонщиков. Сердце работает уже нормально, походка окрепла.

— Товарищи! На щите у нас там черепаха рысью уже пошла. Может быть, и до галопа дойдет. Как вы думаете? А?

— В коня, товарищ Шляпников, переделаем! Заскачет, как чумовая!..

— Это вот дело! Ну, давайте-давайте! Покажем, как нужно работать! Пускай знают наших!..

Мистер Джон Чарли улыбается.

— Русиш большевик все может. И черепаха будет конем скакать. — Он задумывается. — Обязательно будет!

В мозгу американца на минуту вспыхивает чувство зависти. Национальная гордость ущемлена.

«Почему не через Америку, страну с высочайшей техникой и развитым капитализмом, придет в мир долгожданный социализм? Почему суждено родиться ему и укрепиться в нищете, малокультурной, полудикарской России?»

Но это вспыхнувшее чувство национальной обиды сейчас же и гаснет:

«Все-таки он придет!..»

III

На границе сонной, дряхлой степи и шумного юного мира — мира железа и техники, человеческой воли — высились две гигантских первых домны. Сурово-спокойно и надежно упрочилось в степном грунте их бетонное, вечное основание, еще в грязных тесинах опалубки, в строительных лесах. На нем мощно круглились железные башни — кожуха. Над первой домной вытянул стальную плетеную шею гигантский электрокран, точно журавль, засматривающий в чужое гнездо. Гремели железными листами такелажники.

Не в пример ЦЭС, люди тут были все на виду, и работало их значительно меньше. Главным образом бетонщики, плотники и арматурщики. Огромнейшие массивы для самих доменных печей, для кауперов и литейных дворов требовали колоссальнейшего количества железо-бетона. И серая бетонная масса многими потоками устремлялась из многочисленных бетоноделательных машин. Молчаливые, сосредоточенные люди беглым, напряженным шагом проходили с железными тележками-стерлингами, опустив голову книзу. Другие раскидывали

массу, разравнивали ее железными граблями, утрамбовывали. А впереди них плелись проволочные сети, сооружались тонкие стены опалубки.

У материальных складов, у строительной конторки не замечается прежней толчеи, нет еще недавних митингов, споров, — люди деловиты, серьезные, малоречивы. Придут, скажут, что нужно, возьмут, что им требуется, и торопливо уходят. Магическое слово, безгласно отовсюду кричащее и жалящее, подгоняет..

Двигается поток смены. У входа на несколько минут задерживается. Взгляды беспокойно поднимаются на большие деревянные щиты, висящие по правую и левую стороны. Бегло читаются меловые строчки, показывающие результаты работ утренней смены, новые производственные рекорды и вызовы бригад на соревнование.

Несколько коротких слов по поводу прочитанного, несколько реплик, злобных или довольных замечаний, и рабочие проходят один за другим на стройку.

Ходит с прорабами по краю котлована главинженер Зулима. Зеленая машина его стоит возле дороги на полянке. Шофер, ткнувшись в угол кабинки, дремлет.

— Вчера арматурного отгрузили только тридцать две тонны, а по наряду следует сорок восемь; плохо обстоит и с цементом. У нас острый недостаток в этих материалах. Если так будет дальше, то мы работу совсем заморозим, — докладывает один из прорабов, сухой, давно небритый человек в рыжей кожаной куртке.

— А у вас? — коротко бросает главинженер другому прорабу, почти юноше, в коричневой кепке с пуговкой.

Это — инженер Кузьминюх. Его, неделю назад, по предложению Кутасова, перебросили сюда с горы Безрудной. Завучастком крепко запомнились тогда насмешливые слова немецкого консультанта Обермана о таланте ног молодого специалиста. После этого вскоре и ему самому стало казаться, что помощник его не такой уже способный, каким представлялся раньше.

Прораб Кузьминых на вопрос главного инженера отвечает уверенным и деланно солидным голосом:

— На первой идем шестой ряд, товарищ Зулима. Со второй смены начнется клепка, а «Комсомолка», — он разводит руками, надергивая на розовое, безудное лицо трагическую гримасу, — никак не можем получить крана. Делаем приспособление для подъема лебедкой, но, сами знаете, какая это работа...

Главинженер задумчиво тмыкает, смотря на носки своих ботинок.

— Гм! Острый недостаток... Ну, а лебедкой — это не дело! Надо во что бы то ни стало поставить кран. Можно из механического... Здесь нужнее... Это, кажется, к вам, — кивает он в сторону подходящего рабочего.

— Ты, Хохлов, зачем? — обращается прораб к остановившемуся у края траншеи рабочему с бойким взглядом.

— Посмотрите, товарищ Кузьминых, лебедки налаживаем!

— Сейчас иду! Приготавливайте!

Прораб медлит уходить: ему хочется еще что-нибудь сказать главному инженеру, безразлично что, лишь бы сказать. С утра сегодня переполняет его восторженное чувство, окрашивая все окружающее, всех людей в радостные тона. Причиной этому — лоскуток исписанной бумаги, в котором жена сообщает: «А Коленька стал уже смеяться и становиться на ножки. Он такой крепкий, розовый, и все находят, что очень похож на тебя...»

Эти строки сильно взволновали двадцатичетырехлетнего инженера. В особенности последнее: «...все находят, что очень похож на тебя». «Надо обязательно съездить, хоть на несколько дней, только взглянуть на сына, на Коленьку» — всплыло у него тогда, и эта мысль владеет им до сего времени. «Может быть, сказать ему что-нибудь о Коленьке?..»

С первой домны волной выплеснулся дробный пулеметный рассев. Певуче загудело железо. Молодой прораб машинально вскинул левую руку с часами.

— Началась клепка, — проговорил он. — Ну, я побежал! Всего лучшего,

Сергей Антонович! — Он по-военному козырнул начальнику и легким, юношеским шагом направился ко второй домне, носящей название «Комсомолка», потому что работала на ней исключительно молодежь.

Главинженер почему-то до самой стройки проводил взглядом худощавую, стройную фигуру юноши-прораба. Но думал он в этот момент о другом. Вчера на производственном совещании произошло у него небольшое столкновение с консультантом, немецким инженером Оберманом. В сущности, не столкновение, а разногласие по поводу одного технического вопроса. Оберман тонко намекнул, что главный инженер в этом недостаточно компетентен; он, Зулима, оскорбился, счел это за принижение своего авторитета и ответил бестактностью. Разошлись они холодно, не попрощавшись.

«Я прав. Он не должен был так говорить. Это — грубость зазнавшегося немца. Таких людей осадить во-время очень полезно: будут знать свое место» — оправдывал себя главный инженер. И тут же вспомнил и другое: в последнее свое пребывание в Москве он услышал от приятеля инженера, будто один из больших сановников Госплана отозвался о нем, Зулиме, неодобрительно, назвав его сварливым и неуживчивым. Все это вдруг, без всякой видимой для окружающих причины, расстроило его. Увидав остановившийся в котловане экскаватор, он раздраженно закричал копавшемуся машинисту:

— Что за безобразие? У вас машина больше стоит, чем работает! Как ваша фамилия?

Из-за гусеницы показалась черная, лоснящаяся физиономия.

— Что я могу с ней сделать? Не машина, а рухлядь! Нужно капитальный ремонт... А моя фамилия — Иванов... Что ж, записывайте! Вы — начальство! — Физиономия снова скрылась под основание землечерпалки.

— Где ваш прораб? Найдите мне инженера Семенова! — приказывает Зулима рабочим котлована.

У него уже кипит внутри, вот-вот выплеснется наружу. Больше всего не-

порядков и нераспорядительности он замечает на земляных работах. Земле-черпалки делают простои, не используются полностью грузовики, рабочий состав напоминает каких-то оборванцев. «Это чорт знает что! Разве можно так вести работы? — негодует про себя главинженер. — Это все от прораба зависит. А если рабочие к нему относятся хорошо, то он демагогией берет. И начальник строительства не прав, считая его талантливым и дельным инженером. Он бездарен и неуч! Его участок самый отсталый!..» — Мысленно выложив перед собой все отрицательные черты прораба и не дождавшись его, главинженер идет к первой домне.

Пулметная россыпь эвоном заливает окрестность. Работает, повидимому, около десятка пневматиков. Время от времени в этот веселый, резвящийся звон вползает на секунды густое громохание огромных железных листов, подхватываемых цепкой лапой гиганта-крапа. Справа слышен лязг цепи деррика.

И вдруг от комсомольской домны доносится какой-то странный, небывалый звук. Главинженер быстро оборачивается и видит: у верхушки мачты, на канате, висит человек, а внизу несколько десятков людей, закинув головы, оцепенели; еще звучит угасающий взрыв голосов, передываясь от одного к другому. Отдельные крики, жутко-тревожные, торопливые и ненужные, несутся кверху:

— Держитесь крепче! Мы сейчас! Сейчас!..

— Спускайся потихоньку, только руки!..

— Осторожней! Руки, руки обожжешь!

Человек наверху пытается крепче зажать ногами канат, но тот ускользает, и вытянувшееся на одних руках тело, похожее на длинный мешок, раскачивается вместе с канатом.

Замерли звуки пневматических молотков и лязганье цепей, слышится лишь глухой каменный хруст бетономешалок. Сотни рук опустили в бездеятельности, глаза устремились в одну точку, а в этой точке, темнеющей над домной,

человек без лица, похожий на длинный узкий мешок, продолжал крутиться и раскачиваться. От него что-то отделилось. Толпа вздрогнула. Но это была кепка. Летела она, перевертываясь, привлекая к себе всеобщее внимание.

— Кузьмины-ых!.. — начал было чей-то голос и осекся.

Инженер Зулима на этот крик повернул голову, цепляясь взглядом за мачту с качающимся человеком.

«Почему он полез сам? Что за нелепость? Сумасбродство!» — поморщился Зулима, отвертываясь. Главинженер не мог знать, как это произошло.

В последнюю минуту, когда рабочий, приготовившийся подняться на мачту для закрепления каната, заколебался, юноша-прораб решительно отстранил его:

— Пусти! Я сам поднимусь! Ничего страшного нет!

В этот момент он ощущал в себе необыкновенный прилив энергии и бесстрашия. В сознании мелькнуло: «Будут говорить, удивляться неустрашимости. Это хорошо! Отлично!..»

Он добрался уже до верхушки и стал накидывать петлю каната. Еще несколько движений, и все будет готово. Опять вспомнилось письмо жены: «Крепыш, розовый... с голубыми глазенками... Взглянуть бы!..»

Внизу снова раздался странный, необычный звук, безумно сорвавшийся с сотен уст. Узкий мешок с вершины мачты ринулся вниз, так же, как и кепка, дважды перевернулся в воздухе и тяжело, мягко шлепнулся на щебень. Люди со всех сторон брызнули к этому месту.

Когда главинженер протискался в круг, то первое, что ему бросилось в глаза, это хорошо знакомая коричневая кепка с пуговкой, валявшаяся в белой известковой пыли, и страшные гримасы человеческих лиц.

Мелькнула и скрылась взволнованная физиономия мистера Чарли.

Зулима круто повернул назад, не взглянул на того, который лежал среди человеческого круга бесформенной кровавой кучкой мяса и платья. Он быстро пошел к своей машине и ярко, до осяза-

ния, увидел перед собой приятное лицо молодого прораба, полчаса назад с ним разговаривавшего. Реально звучал уверенный голос: «На первой идем шестой ряд, товарищ Зулима! Со второй смены начнется клепка...»

Неподалеку от машины рассуждала группа рабочих. Один из них, старый, говорил:

— Домна обязательно должна быть на крови, уж такое поверье. Если крови нет, то будут всякие неудачи, может и «козел» застыть... На домне почти всегда кто-нибудь убивается...

Снова полились разнообразные, хаотические строительные звуки, заливая, смывая неожиданный трагический случай.

(Окончание следует)

—

1. Волга

Записки уполномоченного

Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК

(Окончание¹)

Письмо первое

Дорогая моя! Милый друг!

Волга, тут под окнами моего номера, вся пылает от яркого света уходящего на покой солнца. Гудит теплоход. Белый, стройный, быстрый, направляется он вверх к Горькому. Желто-золотистая песочная кайма тонкой лентой заканчивает реку. Густолиственные леса от пятен брошенных облаками, кажутся разноцветными, вдали темными и гладкими, как море перед бурей, ближе — яркозелеными и кудрявыми. Вдруг приоткрылось ватное окно; сноп лучей раздвинул облака, брызнул в темноту горизонта и вырвал из него кусок зеленого леса, большое поле со зреющими колхозными массивами посевов, мелкую мошкарю строений заволжской деревни.

Снова облака одолели солнце, и Волга, минуту назад голубая и ясная, сейчас посерела и напоминает только-что отлитую, еще не отшлифованную сталь.

В порту гудят пароходы, авто, шумят трамваи, свежий и влажный речной ветер ласкает рубаху.

Приятно, очень приятно, друг!

Волга — замершая было, разоренная годами войны, пустынная и грязная, сейчас работает с полной нагрузкой, стонет от тяжести грузов, от тысячей пассажиров. Волга живет беспокойной,

энергичной, полнокровной жизнью, крепко спаянной с берегами, со всей нашей великой Советской страной. Недаром про нее, про Волгу, так много пели и поют, так много писали и пишут.

Прошел час, как я начал это письмо. Все, что было перед глазами из моего окна, я описал тебе.

Все, что у меня на сердце, ты также прочтешь в начале письма этого...

Завтра на машине по степным совхозам, отбирать и отгружать чортову уйму искалеченных, разбитых и здесь непригодных, а потому сброшенных со счетов «джон-диров», «оливеров», «интеров» и «фордзонов». Мы в массовом масштабе призваны омолодить этих калек. И омолодим, — факт.

Я полон бодрости, надежд и любви к нашей партии и стране, к нашей замечательной стране, к тебе, чудесной, простой, любимой и поэтому самой лучшей на свете.

Со мной ездит друг Николай.

Задание ответственное. Надо вывезти отсюда восемьсот штук старых, непригодных тракторов с тем, чтобы мы их там, у себя, в промышленном крае, отремонтировали и пустили в дело. Это нелегко. Я взял с собой его потому, что он живой парень и по-боевому подходит к выполнению партийного поручения. Познакомились мы с Николаем в звенигородском доме партийного просвещения.

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2 с. г.

После длительной трехчасовой лекции моей он подошел и сказал:

— Ну, поговорил, хватит! Идем купаться в Москва-реку.

И мы весело побежали вниз к реке. Где-то вдали гудел знаменитый колокол Звенигородского монастыря.

— В долгие отдыха на обед звонят,— сказал Николай и начал философствовать. Вот Энгельс пишет, что человек от обезьяны произошел. А на самом деле, почему человек белый такой? Если он от обезьяны, он не должен быть таким белым, а он белый. Как же от обезьяны?

Снизу открывался замечательный вид на величественный княжеский дом. Белые колоннады, гигантские корпуса.

— Смотри, — говорит мне Котов, — ведь один жил, сукин сын, а теперь на всех хватает.

Котов имел огромный опыт борьбы с кулаком, долго работал пастухом, батрачил, скитался по фронту и заводам. С ним мы и отправились вместе за тракторами.

Ехали чудесно. В соседнем купе встретился товарищ В., бывший когда-то на Памире, с которым мы имели давнее письменное знакомство и через Хорог, и через Кабул.

Вспоминали с ним до полуночи Памир и Среднюю Азию и пробовали пластинки на его новом замечательном немецком патефоне.

Стучат колеса. Мелькают столбы. В патефоне орет Шалапин. Я пробую сочинять стихотворение:

Уплывают столбы телеграфные,
А мечты вперед летят ..

Но ничего не выходит, очень трясет, и пасмурно. В патефоне грустно выдрывает жалкий Вертинский. Разбираю слова:

А жить осталось так немного

Он врет, этот сукин сын и белый хандрила.

Поля тучные, набухающие богатым урожаем, проплывают за окнами.

Поезд несется, летит вперед,
Мечты его опережают...

Я хожу по Самаре. Уезжаю за город, где живут друзья, организую отбор и отгрузку тракторов.

Край замечательный. Смотришь на широкую, бескрайнюю степь, — трактора мощные, новая техника, и мужики-колхозники не нарадуются на них. А рядом... на коровах пашут. Новой техники еще нехватает, и думаешь: какой анахронизм, какие чудовищные противоречия у нас еще есть почти на каждом шагу.

Сейчас выезжаю по колхозам. В отprawке тракторов происходит задержка. Руку!

Письмо второе

Дорогой друг!

Достал походную чернильницу, ручку и пишу в машине на портфеле. Рассвело. Восходящее солнце окрасило небо в красные тона. Пять часов утра. Спал в машине, так как в помещениях очень жарко и душно.

Совхозы гигантские, этот растянут на 50 километров, имеет огромную посевную площадь и укосные луга, — едешь по замечательным, гредером выравненным дорогам, ветер бьет в лицо и волнует целые океаны пшеницы. Пшеницы здешней, средневожской, особенной... Кое-где она подсыхает, кое-где пышно наливают колосья зерном. Но в общем урожай неплохой.

Мало дождей. Дожди здесь сгибают не по-обычному, как мы с тобой (сильный, слабый, ливень), а на центнеры:

— Этот дождь пустой.

Дождь «на центнер», «на два центнера», то-есть сколько прибавки к урожаю принес он.

Директор совхоза, Рыжий Кор, симпатичнейший парень; у него небритый подбородок зарастает рыжей бородкой с белыми пучками седых волос среди них.

— Мы живем теперь в век точности, — сказал он мне, тщательно просматривая очередную сводку, принесенную ему на подпись.

В тресте он скромничает, здесь, в совхозе, настоящий командир и хозяин.

Он чистит совхоз от завали, и людской, и железного лома, и ружьяди.

— Люди на ремонте ходят, точно вареные, не терплю я таких до смерти, — жаловался он мне, когда мы шли по машинному двору.

Машинный двор совхоза — это большая мастерская, своя вагранка и уйма всяких машин.

Комбайны загромождали весь двор; они похожи на огромных журавлей с подвешенными на длинные шеи жор-мушками. Сильный ветер пылит по двору и крутит свежевыкрашенные белые лопасти жатвенных аппаратов. На комбайнах надпись: «Макъ Кормикъ Дирингъ».

Все надписи составлены по старой орфографии. Надо потребовать от фирмы правил нашей орфографии...

Впрочем, зачем? Ведь теперь нам не нужны, не нужны их комбайны, так же, как не нужны их тракторы марки «интернационал» и многие другие машины. Нам нет необходимости требовать от них соблюдения правил нашей орфографии, так как Мак Кормику больше совсем не приходится ставить свою марку на русском языке, на нашем большевистском языке это обозначает, что мы их уже догнали. У совхоза свой большой кирпичный и деревянный поселок, квартиры чистые и уютные, столовая. Действует радио. Живут хорошо и дельно...

Солнце вступает в свои права. Стучит мотор водопомпы... На радиатор мотора сел воробей, смешной и милый, — «чирик-чирик», — находчивый, драчливый, распутивший перья, озорной и при всем том, видимо, необычайно веселый...

Но рабочие ходят грязно и работают вяло, некультурно и тоже грязно...

Вот например: жара, пить хочется до смерти; воду черпают из ведра, общей кружкой, а то и прямо из бака цедят в его огромную крышку и оттуда лакают.

— У нас по-рабочему, — сказал мне шофер гаража, когда я тщетно пытался налить из бака кружку воды через кран, — кран не действовал.

«По-рабочему»... Ах, сукин сын! Он наверно никогда в жизни настоящих-то рабочих и не нюхал...

«По-рабочему!»

Шофер мой — Семен Степанович — старик, ему уже 59, то-есть он старше

меня на 29 лет. Всю дорогу рассказывал мне про свою прошлую жизнь.

Вот его рассказ:

— Я раньше, Сергей Алексеевич, жил-то неплохо... почитай, еще годик или два, и сам бы машинку купил. У нас, в Самаре, всего только 17 такс было, а привозили мы за день рублей по 250. Кого возил? Известно кого, — купцов, кутил разных катал. Было у нас в Самаре таких три человека, по тысяче рублей в вечер в ресторане оставляли. Хозяин нам, бывало, говорил: «Пущу троих, и могу закрыть ресторан, больше мне гостей не надо». Но только я рад, что не сделался хозяином. Вот, говорят, как хорошо жили раньше, — я в таких случаях говорю: «Ты за себя, может, и можешь так сказать, а сколько таких-то было, на всю Самару 17 человек. Мясо по 5 копеек фунт было. А мужик его раз в год на пасху ел. И то отбросы по копейке за фунт брал. Бывало, приеду в деревню, сварят курицу. А котел на два ведра и всех соседей накормят. Как поднялись чехи, я, значит, в военно-революционном комитете стал работать. С Валерианом Владимировичем Куйбышевым ездил; помню, отступить пришлось, осадили нас в клубе коммунистов, уходить надо, у чехов орудия, а у нас два пулемета. А Валериан Владимирович говорит: «Лучше умереть, чем отступить». И не хотел уходить-то. Мы тогда его насильно из клуба на пароход вытолкали. А товарищ Масленников не пошел, и растерзали его, теперь завод называется его именем. С ним я и свою семью на пароходе-то отправил. Через 15 лет послали в Эссентуки меня. Заехал я к Валериану Владимировичу. Как дошел до него, говорю: «Вот ведь, если бы мы вас тогда не вытолкали, и пропали бы, а что толку было бы, а теперь какую работу ведете». А он: спасибо, говорит, Семен Степанович. Поговорили, вспомнили. Позвал он секретаря, распорядился, и меня на машине в 3-й Дом советов отвезли. Первый раз в жизни «за барина» ехал. Ну, кормежку там всякую дают, а комендант, значит: «Чуть-что, — говорит, — так мне звони». Какой там! Я так никогда еще и не жил. От-

правили меня в международном вагоне на курорт. «Поезжай,—говорят,—старик, потрудился, повоевал, заслужил отдых».

Семен Степанович кончил.

Мы неслись по гладко оструганной гредером дороге, вдали стояли приволжские леса. Пшеничные массивы золотились вокруг, ветер жег и не охлаждал. «Пш-ш» — лопнула камера. Опять меняем камеру. Прокол. Камеры старые и то и дело спускают. А езда у нас большая, и это сильно задерживает.

Заместитель главного инженера совхоза Р. — парень медлительный, хотя сравнительно и молодой.

Я ему говорю:

— Ты подойди по-партийному к этому делу.

А он мне:

— Я беспартийный, но работаю по-партийному.

Однако всячески пытался всучить мне всякую дрянь с совхозного «кладбища» — «интеров» и «оливеров».

В совхозе из 65 комбайнов отремонтировано только пять. Это безусловно мало для того, чтобы 14-го начать уборку и в 12 дней ее кончить.

Рабочих нехватает; вчера при мне занимались трое... щупали условия. Долго и детально.

— Как заработок? Как приработок?

— Молота у вас нет, кабы еще дутье?

— Дутье у нас ничего.

— Дутье у вас неважноецкое.

— Да ты-то себя обрабатываешь.

Инженер вспылал:

— Приходят мастера, требуют чего-то, а как же мы до сих пор-то без этого работаем?!

— Ну, нам завтра выходить?

— Выходите!

К Р. приходят за деталями, он упирается, ругается и затем все-таки выдает требуемое, каждый раз разводя руками и приговаривая: «Текет центральная кладовая, текет...»

Начальник политотдела совхоза товарищ Бакунин, старый знакомый, — когда-то на далекой окраине вместе работали в организации, — мне помог... Дома у

него в радиорупоре распевали узбекско-татарскую музыку. Хайтарма!

Пока!

Сергей!

Письмо третье

Любимая!..

В первый вечер, как я приехал, товарищи прислали замечательный восьмицилиндровый «бьюик». Машина прекрасная, но голова моя тоже не казенная, а я себе такой синяк посадил на темя, когда ехал на дачу и упругие пружины подбросили меня к потолку. После этого я лег, уперся ногами в переднюю стенку и на каждом ухабе ужасной самарской пригородной дороги ударялся о потолок изящного лимузина своим многострадальным животом. Обратно ехал в этой же машине с председателем одного треста, который жаловался мне всю дорогу на тяжелую судьбу хозяйственника.

— Вот, посудите сами... не имею чести знать, откуда вы?

— Из Москвы...

— Вот, посудите сами, — продолжал он, — в тресте, подсчитал я, за год всего две недели был, — то в Самаре, то в Москве. А ведь я человек больной, у меня то понос, то грипп. А приедешь на заседание больной, отчитываешься, бьют, и только кряхтишь, частенько голодный бываешь. Выедешь срочно, не припасешь, вот и просишь у кондукторов или проводников кусок хлеба. Приедешь в Москву, смету утвердят в 6 миллионов. Только определил лимиты, заложил фундаменты, — телеграмма: срежьте 3 миллиона. Опять поехал скитаться по канцеляриям и кабинетам. Выпросил 1.200 тысяч; пока доехал, телеграмма: двести снимите. Три года не был в отпуску, дали путевку в Кисловодск. Приехал в Москву, взял билет, — на вокзале прочел в газете: в моем районе россыпи открыли. Нашли меня, сняли с поезда и — к Пятакову.

Он тяжело вздохнул, вытащил портсигар и протянул мне.

— Курите?

— Нет.

Закурил от автомобильной зажигалки и продолжал:

— Ну, конечно Кисловодск к чорту. Получил резолюцию: давать денег сколько нужно. В гостинице 20 номеров нанял. Начал штат тут же набирать, сказать по секрету между нами, и переманивал, и перетаскивал — одним словом, работу организовал, инженеров привез.

Еду с работ в Самару. На заседание крайкома. У самой станции крушение, еле спасся, а через полчаса мой вопрос, и я докладываю, и меня бьют. Не выдержало мое сердце, выхожу я и говорю: «Что ж это вы, ребята, я сейчас чуть жизни не решился, в крушение попал, а вы бьете!» — «Так, ты, — говорят, — в этом самом поезде ехал!» — «Да, в этом» — а сам волнуясь...

— Но работа у вас ведь интересная, дело большое? — спросил я.

Куда там! Он весь расцвел, быстро задымил папиросой и, вытащив из портфеля карту и таблицы, радостно и возбужденно начал рассказывать мне, какой богатый этот район. Сколько там меди, золота, и чего там только нет, — уголь, коксующийся, богатый. И растаяли жалобы. Добрый, сыроватый ветерок потянул с соседней Волги. Машина быстро неслась мимо веселых пригородных садов и густых массивов пшеницы.

Мы распрощались с председателем треста у моей гостиницы, он поехал на вокзал к оренбургскому поезду, опять забыв взять с собой какого-нибудь удовольствия на дорогу.

Сегодня почему-то меня особенно проработала здешняя жара, и решено было пойти выкупаться. Дела идут медленно. Из 800 тракторов приступили к отгрузке и отправке половины. Приходится возить на станцию и из участков на центральную усадьбу за 40 — 50 километров. Совхозов огромное количество. Хлебов — еще больше. Надо успеть все убрать. Ни одного свободного трактора. Машин нет. Поэтому вывозить очень трудно.

Я раз'езжаю по совхозам, нанимаю на сверхурочные работы трактористов, которые должны собирать тракторы из

моих калек. Комплектую механиков, чернорабочих, грузчиков, экспедиторов. Прошу начальников станций, грожу им, если они не соглашаются, достаю вагоны, грузу двухтонные и трехтонные машины — «оливеров», «интеров», «ойльпулей» — и старых, искалеченных «ктерпиллеров» на дефицитные платформы. Надо спешить с отправкой, потому что дело идет к полному развороту уборочной кампании, когда я уже ни одного трактора для отправки не получу. А край мой требует ускорения отгрузки и шлет телеграмму за телеграммой: «Молнируйте, сколько уже отгружено».

Мой Семен Степанович оказался пидфистом.

— А вот, — сказал он мне, когда мы неслись по гладкому, кофейного цвета гредеру, — а вот скажите, кто изобрел всякие машины, полезные. Да я так считаю, этих людей вознести по-всякому надо, а кто изобрел пушку, того бы, суккина сына, зарядить в нее и выстрелить для пробы. Ну чего ему не сиделось? — добавил он через минуту, дал газу, и показатель скорости поднялся к 80 километрам.

— Пушка — это неизбежный этап, наступал капитализм, войны, конкуренция...

— А где конкуренция, там драка, — вставил он.

— Вот именно! — поэтому-то появилась и пушка.

— А когда мировая революция будет?

— Это от нас зависит, дорогой товарищ.

— Скорей бы, надоело уже: тянут-тянут, — сказал Семен Степанович.

Пыль крутила вихрем, ветер закручивал нас смерчами, целые столбы пыли обрушивая на наш фордик «14-02».

Ночь в совхозе. Машина остывала, и нагретый кузов ее шелкал, отдавая тепло ночной прохладе. Яркие звезды, стук электрической станции. Поселок, залитый огнями... Гремели кузнечики, заливались сверчки...

На крыльце Маня или Дуня, домработница начполитотдела. Спросил ее:

— А хорошо тут?

— Кому как, а мне очень нравится.

— А вы сами откуда?

— Из деревни, 4 версты отсюда. Старо-Семейкино называется.

— Небось, здесь лучше жить, чем в деревне, а?

Она встрепенулась и живо ответила:

— Конечно, как я вернусь в деревню, в гости, родные у меня там, не нравится мне там...

Семен Степанович мне сегодня сказал:

— А что, Алексеич, если бы вот среди капиталистов нашелся человек, который бы сказал им: «Вот идиоты вы, ведь гибель будет все равно, сдайтесь сами!» — Он помолчал и вздохнул. — А ведь до чего свои труды довели: только ложку в рот сами таскали. Хорошо бы поговорить с кем-нибудь из них, — добавил он.

Я посоветовал прочесть «Допрос Моргана» или еще лучше барона Унгера.

В каждом совхозе встречаю кого-либо из друзей, — либо по Свердловке, либо по ИКП, либо по Средней Азии или другим краям. Партия лучших людей своих отправила в политотделы. По этому случаю сочинил стихотворение:

Какая тесная стала земля, —
Куда ни приедешь, везде друзья.
И на земле стало жить веселей,
Нет для тоски теперь места на ней.

Письмо четвертое

Дорогой друг!

Уборка хлебов уже началась. Горячка в разгаре, по Волге уже тянутся широкие и тяжелые баржи с хлебом. Сумятица и беспорядок. Нету цепей Галля для комбайнов, нехватка нужных сортов горючего.

Пишу на берегу Волги.

Круглый темнокрасный, с медным отблеском, огромный солнечный шар уже наполовину ушел за горизонт. Ветер рябит поверхность воды и приятно бодрит, лаская кожу сквозь тонкий ситец рубажи. Маленький буксир с густым и громким гудком тянет баржу с дровами. Ветер треплет вымпела на лодках и мачтах динамовской пристани...

Июль 1933 года. Через долгие и тяжелые странствования, скитания, через

четырнадцать лет я опять на твоих берегах, любимая, широкая, могучая Волга! Ты свидетельница столько радостей, побед и поражений. Столько горя и крови приняла ты в свои воды, столько кровавых следов убийств замыла ты полою водой и унесла вниз, к далеким туркестанским и персидским берегам.

И в этой огромной волжской истории 14 лет — чистый пустяк, мгновение, момент...

Однако для нашего поколения, мальчишками пришедшего в революцию, — помнишь, любимая? —

Я, друзья мои, из той породы,
У которой в грозные часы —
В Октябре семнадцатого года —
Не росли еще усы. —

эти уже далекие (14 лет!) годы борьбы, проведенные на волжских берегах, кажутся страшно важными, большими, интересными, и хочется ничего не упустить, записать каждую мелочь, положить на бумагу даже запах, свежий, влажный запах реки, смолистый запах пеньковых канатов, стук разболтанных и скрипящих машин, шлепки паровозных колес и веселый дух того тяжелого и трудного времени...

Но... сейчас — страшно нездоровится — через час-два на машине снова еду в один из совхозов, за 120 километров отсюда...

Письмо пятое

В номере у меня на столе шумит и поет самовар.

«А все-таки хорошо у нас в Самаре...» —

слышал я вчера на берегу Волги отрывок разговора. Пожалуй, неплохо, это верно. Особенно вечером, когда прохлада гонит дневной зной и есть возможность отдышаться от жары. Тут, на Волге, в 1918 и 19 годах я воевал. Сперва в Астрахани, потом в Области немцев Поволжья, Бузулуке, Самаре, здесь болел холерой, здесь испытал уйму интересных впечатлений и имел большое количество встреч с замечательными людьми.

Вкладываю в конверт описание завязки одного героического эпизода, мало известного, но бросающего яркий свет на участие московских комсомольцев, молодых рабочих парней и девушек, в борьбе. Весь этот эпизод я назвал бы двумя цифрами: «2.000 и 1.800».

«Товарищи, мы в огненном кольце» — так начиналось стихотворение Демьяна Бедного, характеризовавшее особенно сти переживаемого тогда периода.

«Товарищи, мы в огненном кольце...»

Враг пытался нас взять извне и изнутри. Чуть ли не каждую неделю ВЧК открывала новые заговоры, новые террористические группировки, новые попытки совершить взрывы мостов, пожары заводов, нанести тот или другой ущерб нашей стране изнутри.

Меня вызвали в партийный комитет.

Секретарь ласков и суров: «У нас есть сведения, что готовится покушение на представителей большевистского актива. Надо пойти на риск и вскрыть эту группировку. На тебя и еще двух товарищей возлагает партия это ответственное поручение».

—

Собралась на Никитской улице, против консерватории, в подвальном этаже бывшей гостиницы «Северный полюс» подпольная нелегальная конференция террористических групп анархистов.

Наши комсомольцы, Александра, Витька и я, сидели рядом.

Выступали ораторы. Говорили вполголоса. Демонстрировались различные образцы бомб, динамита, назывались фамилии людей, в первую очередь подлежащих «ликвидации».

Все дрожало внутри от гнева, но надо было выдержать роль до конца, нужно было молчать.

Обедали в клубе анархистов на Тверской улице, причем в распоряжение «делегатов» были предоставлены всевозможные яства, какие только можно было себе представить, — пирожное, икра, и это в голодный 1919 год.

«Откуда они берут, откуда у них деньги и эти продукты?» Однако задумываться над этим вопросом было некогда.

На другой день собрание продолжалось. Был установлен порядок, согласно которому до окончания заседания ни один человек из зала не выпускается.

У трибуны развешены карты. На картах обозначены красным взрывы железнодорожных мостов, черным крестиком — террористические акты, зеленым — пожары на заводах, вывод из строя электрических агрегатов, синим — крушение поездов.

— Эти действия должны быть произведены, — говорит докладчик, — в срок, который укажет боевой центр анархистов. Без этого никаких действий не предпринимать. Это будет боевой удар, который, если он действительно раздастся сразу в 400 точках нашей страны, свалит советскую власть. Большевистская диктатура будет раздавлена, повторяю, если будет выдержана дисциплина и последовательность действий.

Он детально указывал, что должно произойти в Туле, в Петрограде, в Москве.

Жалкие выродки, буржуазные и кулацкие последыши, жоршуны и ястребы старого мира собрались на совет о том, как лучше заклевать нашу молодую советскую страну.

От ненависти все клокотало внутри, кулаки сжимались, но надо было проявить выдержку и терпение.

Заседание должно было кончиться в 11 часов.

Уже девять, никого не выпускают.

Как быть? Надо же дать знать, иначе съезд разойдется, надо позвонить. Но никого не выпускают.

Тогда, перекинувшись парой слов, мы принимаем решение, и Александра вдруг резко вскрикивает и падает в истерику: «Ай, пустите, зачем, бейте их...»

Она так натурально играет, что пена бешенства выступает на губах и я понастоящему начинаю верить в ее истерику.

— Дайте какого-нибудь лекарства! — кричу я.

— Ничего нет.

— Тогда я сбегаю в аптеку, — говорю я председателю.

Александра продолжает кричать.

— Заткните ей рот! — кричит председатель. — Бегите в аптеку, только сейчас же возвращайтесь.

Я бегу. Заподозревший что-то президиум посылает вслед за мной еще одного из присутствующих.

Я вбегаю в аптеку, второй спутник остается у двери.

— Дайте какое-нибудь лекарство! — кричу провизору.

— Какое?

— Все равно, дайте что-нибудь, какой-нибудь пузырек.

— Но что вам надо?

— Ну, что-нибудь!

Я так натираю на аптекаря, что тот сует мне в руку первый попавшийся пузырек со скипидаром.

— Где телефон у вас? — шепчу я.

— Здесь, за конторкой.

— Пустите скорее меня туда.

— Я не могу, там только служебные разговоры.

— Пустите или вы будете отвечать.

— Звоните.

Провизор ничего не понимает.

— Алло, немедленно гостиница «Северный полюс», подвал!

Я выбегаю из аптеки и несусь с пузырьком в подвал.

Александра продолжает кричать и стонать. Я сую ей в рот пузырек. Она набирает в рот жидкость и потом плюет, сразу успокаиваясь. Я жму ей руку, сердце бьется тревожно, его стук отдается в ушах.

Заседание продолжается, хотя тень беспокойства легла на президиум. Саша шопотом ругает меня за скипидар.

Десять. Никого нет. Неужели не поняли? Уже распределены роли, кто, где и что будет делать.

Половина одиннадцатого. Никого нет.

Без четверти одиннадцать. Сейчас будет закрываться заседание.

Председатель поднимается для заключительного слова.

— Руки вверх! — раздается окрик сзади него, и у трибуны появляется

огромный человек с двумя наганями в обеих руках, весь в коже.

— Руки вверх! — повторяет сурово и требовательно он.

— Руки вверх! — раздается еще десяток голосов.

Сразу изо всех дверей, со всех сторон в зал влетает полсотни чекистов.

Через десять минут несколько пузиков, окруженных со всех сторон кавалерией, увозят на Лубянку арестованную подпольную конференцию террористических анархистских групп, готовивших предательский удар в спину революции сразу в нескольких городах, решивших разорвать связь по всем основным линиям, взорвать мосты по всем основным железнодорожным магистралям, снести с лица земли водоканки, силовые установки военных заводов, нанести смертельную рану с тыла.

Вместе с арестованными и я.

Проходит день, два, три. Обо мне забыли. И только в последний момент, когда главных руководителей этой грязной компании повели на суд, пришел приказ меня освободить.

— Ты выполнил боевое поручение партии, ты предотвратил огромный удар в спину революции; партия этого никогда не забудет.

— Эх, Сережка! — говорит секретарь. — Мы тебе верим, ты — настоящий большевик и настоящий пролетарий и революционер. Ты должен сейчас показать себя еще на одном большом деле. Мы не знаем, как обернется война к осени. Сейчас наступает Деникин, жмет нас к Орлу. Мы можем полатиться очень сильно, если не сумеем мобилизовать наши внутренние хлебные ресурсы в областях, пока находящихся в наших руках. На Волге большой урожай хлеба, но там нехватает рабочих рук. Мы решили послать туда отряд комсомольцев в две тысячи человек, чтобы они помогли убрать хлеб и дать этот хлеб стране, армии, голодающим рабочим. Тебя мы назначаем одним из руководителей этого отряда. Согласен?

— Справлюсь ли? — спрашиваю я.

— Справишься! Значит, так?

— Слушаюсь!

И пошла подготовка к отправлению отряда. Каждый район Москвы выделил по 200 — 300 человек. Несколько эшелонов потянулось от Москвы к Нижнему. В каждом эшелоне были вагоны Замоскворецкого, Сокольнического, Краснопресненского, Хамовнического и других районов.

Сотни молодых комсомольцев-активистов послала московская организация комсомола на выполнение этой боевой задачи.

Июль 1919 года. По Тверской улице широкой лавиной, организованно, по 8 человек в ряд, с песнями, с сундучками, свертками, чемоданчиками, баульчиками, двигается огромный отряд уезжающих.

На товарной Нижегородской подают необорудованный еще досками состав товарных вагонов. Ребята на циркулярной пиле режут доски для нар, и через пару часов в каждом вагоне уже есть места для лежания.

К вечеру поезд отходит на Нижний. Он тянется медленно, с большими остановками и через два дня привозит нас на ярмарочную территорию Нижнего-Новгорода.

В Нижнем нам подают пароход «Память товарища Маркина».

Ночь. На дебаркадере суматоха. Происходит погрузка военного снаряжения, лошадей, взрывчатых веществ.

«В трюме несколько тонн пироксилина» — пустил кто-то слух.

Я лежу на пристани посреди прохода, у большой груды буханок хлеба, наваленных на брезент. Мне хочется спать, я устал.

Вдруг резкий звонок колокола «дон, дон, дон, дон» врывается в сознание.

Крики: «Пожар!» С парохода несутся люди, выкатывают обратно двуколки только-что погруженной артиллерийской части. Кто-то кричит: «Пожар, пожар, пироксилин, пожар!» У борта плескается вода, кое-кто прыгает сверху прямо в реку, боясь взрыва. Слухи о пожаре оказались враньем. В панике кто-то был заинтересован.

Мы отплываем вниз к Самаре. Пароход нигде не останавливается. Только

набирает мазут и тянет дальше и дальше вниз.

1919 год.

Бурлит вода под кормой. Три винта теплохода толкают вперед «Память товарища Маркина», несущего на себе двухтысячный отряд московских комсомольцев. С носу бьет крупный, холодными каплями пробираясь за шиворот, дождь. Сквозь туман еле видны очертания волжских берегов.

Пытаюсь пролезть в каюты. Куда там! На дровах, на полу, в машинном, в каютах, в салонах первого и второго классов, — везде тела. Пробился на корму, завернулся в одеяло и — к стенке.

Гудит сирена протажным тройным басом. Чувствую холод. Проснулся. Ветер переменял направление, и прямо в лицо, как из ведра, холодный, холодный ливень. Иду на нос. Какой-то парень дрожит от холода. Отдал ему одеяло и полез в разбитое зеркальное окно салона первого класса. Жарко, хорошо. На мягких диванах, на ковре, на пианино, — везде спят ребята. По их телам еле добрался до каюты «командиров». Трое есть, я — четвертый. Шамаем.



Бурлит вода под кормой теплохода. Винты толкают его вперед. А впереди красные огоньки на воде мелькают, словно кричат: здесь не сядьте на мель!

Грязная и переполненная людьми голая Самара.

Пристани завалены мешками, много войск. Нас перегружают снова в теплушки.

Мы едем на Бузулук и к Уфе.

Отряды рассыпаются по округе. Хлеб колосится и ждет уборки.

Бешеными темпами мы жнем версту за верстой, тут же обмолачивая и грузя этот хлеб в Москву.

Но враг не дремлет, враг близко, и часть ребят приходится вооружить винтовками и двинуть на фронт.

Первые жертвы. Мы хороним их торжественно и проникновенно. Это погибли молодые, юные, полные сил представители нашего замечательного московского пролетариата.

Мы стреляем в воздух последним салютом и идем дальше вперед, вперед, всегда готовые к бою.

Нас, группу активистов, отбирают и посылают продовольственными комиссарами в Область немцев Поволжья.

Мы едем на том же пароходе «Память товарища Маркина» вниз к Саратову, в покровский продовольственный комитет.



Судьба забросила меня в далекий какой-то, около Баскунчака, украинский поселок. Нас было четверо. На каждого приходилось по одной деревне. Мы были вооружены на четырех одним наганом с двумя патронами.

Кулак еще не чувствовал особых потрясений и опасения, хотя уже и был настороже. Наша задача была в том, что мы должны были выкачать из этих мест как можно больше хлеба. Покровский (ныне — Энгельс) губпродкомиссар, отправляя эту группу московских комсомольцев, сказал:

— Мы надеемся, ребята, что вы не подкачаете, и мы сможем до остановки реки две баржи хлеба отправить на Нижний.

В тот же день я опечтал все ветряные мельницы, оставив только одну, в которой разрешили молоть по запискам сельсовета. Ночью выхожу за околицу, — что за чорт? Ветер и скрип мельниц. В ярких лучах света ясно видно, что все гигантские лопасти ветряных мельниц работают. Подхожу к мельницам, — одной, другой, третьей, — печати целы. Оказывается, у хозяев мельниц внутри лежало зерно. Они подставляли лесенку через верх и, забравшись туда, запускали мельницу и мололи.

Перед тем, как попасть сюда, в это селение, пришлось проехать через всю Область немцев Поволжья. Аккуратная планировка селений, высокая кирка посредине, просторные школьные постройки, сытые лошади, соленые арбузы производили впечатление большой хозяйственности, зажиточности и отчужденности.

Революция слабо тронула тогда еще эту область. Классового расслоения не чувствовалось, и это затрудняло работу.

В Покровске, в течение двух недель, мы питались одними помидорами. Это отразилось на ребятах. Многие переболели. По Волге катилась знаменитая эпидемия холеры, уносившая людей не меньше, чем голод 1921 года. Около всех крупных пристаней стояли баржи-изоляторы для холерных больных. Каждого мало-мальски подозрительного забирали туда.

Шел грозный 1919 год. Каждый день из моей деревни тянулись огромные хвосты хлебных обозов. План разверстки почти был выполнен.

Я заболел. Дошел до фельдшера. Фельдшер посмотрел и сказал:

— Холера. Однако она не разобрала вас как следует, надо немедленно ехать на станцию. Здесь вы умрете, потому что, как лечить ее, я не знаю.

Сельсовет мобилизовал кулака Силантьева отвезти меня на станцию. Легкие рессоры брички подпрыгивали на высохших комьях грязи. Я при каждом толчке стонал от боли, иногда теряя сознание. До станции было километров тридцать.

«Силантьев, — думал я, — это тот самый, у которого мы вывезли чуть ли не несколько вагонов зерна». Широкая спина хозяина брички мерно покачивалась. Крепкая и красная шея отливала медным загаром. Едкий дым махорки обвевал меня. Вдруг он остановил лошадей и, обернувшись, сказал:

— Ну, слезай!

— Почему слезать? Я не могу, у меня нет сил.

— Слезай, «барин»!

— Зачем слезать?

— Слезай, теперь я тебе отомщу. Произдевались, хватит. Хлебushка забирать приехали. Думаешь, так тебе и удалось! У меня этого хлеба вагон забрали, у меня еще два вагона есть. Вы с нами ни черта не сделаете. Мы крестьяне, трудовые, хлебные, и без нас вам ни черта не сделать. Герой! Вылазь, говорят тебе! Брошу тебя здесь вот в кустах и подыхай, собака! Собаке — собачья смерть!

Он подошел ко мне, явно собираясь вывалить меня из телеги. Мысль отчаянно работала. Что делать? Я собрался с силами и сел на солому.

— Отойди, гадюка!

Силантьев удивленно открыл глаза.

— Отойди, сволочь, у меня холера. Если ты подойдешь ко мне и попытаешься меня тронуть, я начну плевать, и тогда ты заболеешь холерой и тоже помрешь.

Силантьев озадаченно остановился. Такого отпора он не ожидал. Не ожидал отпора со своей стороны и я. Это вышло само собой.

Силантьев решительно двинулся ко мне. Лицо его налилось кровью. Жилитые кулаки протянулись вперед.

— Отойди, гадюка! Плевать буду!

Он подошел, и я плюнул. Плевков попал ему на рукав. Он быстро стер его о штаны и двинулся опять. Я опять плюнул. Он отскочил. Так продолжалось несколько минут.

Через несколько часов мы приехали на станцию. Я всю дорогу был настроже. Месяц в бараке; жуткий, тяжелый месяц! Потом домой.

Пароход шел вверх. Это был пароход «Инженер Корейво». Мы собирали по отдельным пристаням остатки нашего двухтысячного коллектива. С парохода, у каждой крупной пристани, снимали по несколько холерных больных. У меня снова оказалась дизентерия. Боясь, что буду снят, я в Казани обменял пуд пшеницы на большое количество пакетов у одного торговца и пользовался ими, чтобы не попасть на баржу, где бы окончательно погиб.

Мы в Нижнем. Недалеко от парохода, на ярмарочную территорию подан состав теплушек. Отряд московских комсомольцев возвращался назад. Я ослабел совершенно и не мог дойти до вагона. Ребята думали, у меня холера.

— Братишка, — кричу я проходящему мимо матросу. — Братишка! донеси меня до вагона. У меня есть два пуда пшеницы. Возьми для себя. Только донеси до вагона.

Для меня цель жизни — попасть в вагон, добраться до Москвы.

Парень берет пшеницу и несет меня на руках в теплушку. Надписи: «Замоскворечье, Сокольническая». Да, это наш вагон. Знакомые ребята из Сокольнического района.

Кириллов:

— Куда вы его тащите к нам?! Он же холерный! Ребята! Не пускать холерных в вагон!

— Ребята, у меня не холера, — шепчу я, — у меня дизентерия, что вы, ребята, своих бросаете!

— Не пускать в вагон!

И они захлопывают двери. Уже подается паровоз. Матрос стучит в дверь. Ему не открывают. Тогда он бежит на пароход и притаскивает с собой пять или шесть других матросов.

— А, гадюки! Товарищей бросать! Крой их, ребята!

Силой открыли дверь в вагон, влезли в теплушку, освободили в углу место для меня. Поезд пошел. Они находились на пароходе и притаскивают с собой пять или шесть других матросов.

Народ наперебой ухаживал за мной, давали кружку, сахар, кусок хлеба.

Мои два пуда пшеницы остались на пароходе.

Москва. Нижегородская товарная. Целый день полз я оттуда на Ярославский вокзал, чтобы попасть к себе на завод.

В Москву вернулось только около 200 человек — тысяча восемьсот боевых ребят и девочек, комсомольцев и комсомолок, погибли от мамонтовских пуль, от бандитского палаша, от холеры, от тифа, от вшей. Тысяча восемьсот погибли в бою, на посту, достойно и самоотверженно, как и подобало бойцам железной, московской, комсомольской хлебной дивизии.

Однако Москва получила хлеб, получила пищу для рабочих оборонных заводов.

Тысяча восемьсот!

Их дело дало бурные ростки, и сейчас московская комсомолка, как и тогда, в первых рядах на всех самых трудных и сложных участках, под руководством нашей замечательной большевистской

партии, достигает одну за другой новые блестящие победы.

Не застали мы в живых и тов. Загорского, отправлявшего отряд. С грустью и болью смотрели на развалины дома МК в Леонтьевском, взорванного гадами из эсеровского отродья, гнусного и презренного пролетариатом.

— Вам завтра ехать в Сибирь с агитпоездом имени тов. Ленина, — сказал секретарь комитета.

— Есть, — ответил я и пошел устраивать свои дела.

Было уже 1921 год.

В агитпоезде имени тов. Ленина моя задача была инструктировать и снабжать материалами местные комсомольские организации. Наш поезд прибыл в Кузбасс. Уже несколько лет там велись работы по постройке железной дороги, новостройка, которая давала возможность приобщить к жизни страны новую область и дать кузнецкий уголь на всю Сибирь.

Потерпев несколько раз крушение, все-таки благополучно добрались до места назначения, связались с местными работниками.

Секретарь райкома РКСМ — парень среднего роста, белокурый и на вид «тертый». Разговорились о работе, о Москве. Вечером перед нашим вагоном кино. Собралось несколько тысяч рабочих и крестьян. Около самого состава установлен громадный экран. Кончился митинг. Загрещал аппарат. Начались картины. Добрая половина зрителей впервые видела кино. Восторженный гул стоял в толпе. Шла картина «Наши вожди»: Ленин, Сталин, Калинин. Выкрикивал с крыши вагона чтец, так как большинство зрителей было неграмотно. Поздно вечером дождь разогнал толпу, стоящую и шумевшую у поезда, несмотря на то, что картина давно уже кончилась.

Утром мы с Васькой — так назывался секретарь — вооружились лампочками Дэвиса и двинулись в шахту. Угольный пласт лежит очень высоко. Местные крестьяне зимой спускаются в погреб,

ковыряют и таким образом добывают топливо. Около подножья черное квадратное отверстие с узкоколейкой — вход в шахту.

Черные глыбы угля повисли над нами — сквозь скрепы и подпоры поблескивают кристаллами. Капает вода. Сыростью охватывает все больше и больше. С боков главной шахты бегут ручьи. Поезда вагонеток, которые уверенно тянет слепая лошадь. Васька свернул вбок, я — за ним. Поползли на брюхе. Работ никаких нет. Ушли обедать.

Вверх и вниз по бесконечным лестницам и галлерейам. Поговорили с ребягами, поспорили о нэпе, о котором только-только начали доходить слухи. Наконец, мокрые, измазанные, как черти, в угольной пыли, вылезли наверх.

Теплый осенний день. Мягкий, чистый воздух наполняет легкие. Красивейшая картина открывается с горы. Куда ни кинь взором, везде горы, горы, горы... Совсем вдалеке на фоне голубого, без пятнышка, неба, как говорят, в двухстах верстах отсюда, видны очертания Алтайского хребта. Васька толкнул ногой камень, и он сперва тихо, затем быстрее и быстрее, захватывая за собой рой мелких камней, понесся вниз. Вот внизу сразмаху он перепрыгнул молодую березку и загрохотал, загремел в овраг. Жужжала лесопилка, пыхтела паровая машина на ней. Узенькой ленточкой уходила в пространство железнодорожная линия и терялась в поворотах.

Стучат колеса телеги, пофыркивает рудничный мерин, встряхивая свою откормленную тушу. По бокам дороги густая, непроходимая тайга, — осина, кедр, сосна, ель, мох, гигантские стволы и мелколесье. Заросло все это, перепуталось, перемешалось.

Мы сидим на квартире у начальника политотдела совхоза. Старый друг сейчас буквально перестраивает совхоз, вытаскивает его из желтого прорыва. Поля очищаются от металлического лома. Ремонтируется инвентарь. Везде построены пожарные вышки по охране урожая. Соцсоревнова-

ние и ударничество поднимаются на огромную высоту. Комбайны сегодня, в третий мой приезд в совхоз, уже отремонтированы. Совхоз уверенно идет к победе. Наша задача — сдать хлеба больше, чем запроектировано по плану.

— Нам кажется, что мы сможем это сделать, — говорит начполитотдела.

Вечером я опять в Самаре. Большой город. Новые дома. Все население вышло на улицу подышать вечерней прохладой. Слышны отзвуки оркестра: «Лишь о тебе мои мечты».

Отрывки разговоров.

Он:

— Изредка и хорошо поешь!

Она:

— Ну, уж изредка.

Две девицы.

Первая:

— Какое же это у нас собрание было?

Вторая:

— Производственно-техническое совещание.

Первая:

— Значит, они потеряли основную мысль.

Вторые две девицы.

Первая:

— Нехорошо.

Вторая:

— А мне наплевать, раз у них мода такая.

Двое мужчин.

Первый:

— Слушай, мне неудобно с гобой видаться.

Второй:

— Подумаешь, шел с работы, случайно встретился. Было по дороге, вот и все.

Двое.

Она:

— Я не таковская.

Он (смеется):

— Я знаю.

Я иду мимо швейной фабрики. Некоторые работницы сидят на крыльце, весело о чем-то гуторя. Окна распахнуты, шум машин. Яркие цвета красных платочков, точно передо мною огромный, шумный, многообразный цветник.

В наборном отделении городской типографии между кассами стоят деревья,

свет горит, и внутренность помещения с пальмами представляется особенно привлекательной.

На крыльчке мать — голова сына у нее на коленях.

Сын:

— Мама, а если бы солнце кусочек на землю уронило, что бы было?

Я сижу в кино. Идет картина: «Последний бек». Снова Узбекистан, кишлаки, дувалы, пыль, деревянные седла коней, накрытых длинными попонами.

Мы у товарища. Отец говорит дочке:

— Иди спать.

— Я не хочу.

— Почему?

— Не люблю спать.

— Как же это так?

— Спать — это очень скучно.

— Ну, да, когда спишь, ничего не делаешь, — поставила она втупик всех.

— Спать — это дадено, и все люди всегда спят, — сказала домработница.

— Все спят, а мне скучно.

Секретарь райкома, к которому я случайно заходил во время странствований по краю, спросил меня:

— А скажи, товарищ, как быть с теми хозяйствами, у которых недород получился? Ведь план твердый. И встречный допускать нельзя. Значит, если хоть один фунт кто не выполнил, план будет не выполнен. Как быть?

— Чудак, — сказал я. — А ты не упирайся в эти хозяйства сейчас. Что тебе, нечего выполнять, или у тебя только такие хозяйства остались?

А сейчас прошла пара месяцев, и наш мудрый ЦД дал ответ и на этот вопрос.

Сегодня в столовой встретил тут товарища М., старого свердловца, с которым когда-то вместе учились и сражались с троцкизмом. Он — председатель межрайонной комиссии по урожайности. Работать интересно. Мотается по деревням, ездит в колхозы, проводит пробные обмолоты, контролирует, чтобы не обворовали пролетарское государство, борется со всеми проявлениями мелкобуржуазной стихии, центрального на сегодня врага нашего.

Сегодня весь день дует суховей. Местные люди называют его самарским дождем.

В Самаре очень интересный музей, где много замечательной документации, например письма с фронта. Окно в прошлое. В 1919 году город поражал своей грязью. Сейчас главные улицы Самары залиты асфальтом. Грязь повыветена. Милиционеры в белых перчатках. Я слышу в кино, как какая-то работница говорит, глядя на заграничного полицмена.

— А знаешь, милая, я сегодня загордилась нашим милиционером. Так это он марширует!..

И это очень приятно, что работница загордилась нашим милиционером. Я не могу успокоиться. Волны теплых воспоминаний о Волге переполняют меня.

Сегодня мы встретились с другом Леонидом. Когда-то вместе работали в Ижевске, в цехах большого завода, плавали по Каме и Волге, летали на самолете, учились в Свердловии. Проговорили весь вечер. И сейчас мы сидим с ним, и я рассказываю ему про Волгу, и про нас можно написать: «воспоминанием старины перетревожены они».

Из совхозов идут телеграммы, одна за другой: «Отгрузили тридцать, отгрузили сорок, отгрузили восемьдесят, отгрузили пятьдесят».

Товарищи говорят, что по всей Самаро-Златоустовской железной дороге тянутся платформы с моими калекками. Уже отгружено 750 тракторов. Последнюю партию должен сдать на дорогу Николай. Я зову его. Он где-то далеко. Далеко в телефонной трубке слышен его голос.

— Коля, как у тебя?

— Готово.

— Что готово?

— Отгрузил.

— Последние?

— Последние.

— Значит, кончили?

— Кончили.

Выезжаем вместе на пароход, отправляемся через Горький в Москву.

Пишу тебе это письмо. Оставил его на столе. Одна знакомая девица, с которой познакомился здесь на пароходе, прочла и написала мне записку: «Дорогой товарищ! пишется «прекрасно», а не «прекратно», пишется «о счастье», а не «о счастье», пишется «Гнездииковский», а не «Гнездяковский».

Я смеюсь про себя, читая эту записку.

Ах, какое это «новое поколение», образовавшееся (в смысле образования) в 1921 — 25 годах. Оно полно энтузиазма в борьбе, очень знающее и опытное, в общем готовое к руководящей работе, к писательскому ремеслу вообще, к полноценной и полнокровной деятельности, но оно пишет с орфографическими ошибками.

Мои мысли все время, каждую минуту возвращаются, дорогая, любимая, к тебе.

Резко и отчетливо, резче, чем когда бы то ни было, я ощущаю сладость любви, привязанность нежной дружбы, теплоту и тяготу к тебе.

Я засыпаю. Глухо дрожит корпус теплохода. Это тот теплоход «Память товарища Маркина», на котором когда-то с 2-тысячным отрядом комсомольцев мы плыли вниз по Волге, сейчас я поднимаюсь вверх, я поднимаюсь над Волгой. Я лечу во сне над всей нашей Советской страной, я пою песню:

Какая тесная стала земля,
Куда ни приедешь, везде друзья,

2. Мугань цветет

Письмо первое

Весна 1931 года

Дорогой и любимый друг!

— Возьми мой автомобиль, — сказал Буниат, — ты на нем долетишь до Сальян, как на аэроплане.

Я в Сальянах. Сальянский район — бывший центр Муганского округа, дающего 33 — 35 проц. всей продукции хлопка Азербайджана.

В районе 32 тысячи жителей, из них 12 тысяч в городе. Мужчин — 16 тысяч, женщин — 15 тысяч.

На 10 января 31-го года, то-есть 3 месяца тому назад, по району числилось всего 8 кулаков. Стало быть, подходя к работе, приходится очень настороженно и остро смотреть, чтобы не проглядеть классового врага, чтобы не прозевать его агентуры. Ряд серьезнейших искажений линии партии в районе, в сельсоветах, в ячейках партии и комсомола, в колхозах проистекает из этой оппортунистической установки об отсутствии кулака.

Вся хлопковая площадь района орошается машинным способом 37 водокачками. Такая система полива существует еще с довоенного времени, когда водокачки строились частными предпринимателями и являлись средством эксплуатации крестьянства, пользующегося водой. Хозяин водокачки получал треть всего урожая. Хозяин водокачки был самым крупным «хлопкоробом» и ненавистным ростовщиком. Национализировать землю здесь, провести революцию здесь — это означало национализовать водокачки. Так и сделала советская власть.

Недостаточно хорошее качество полива из-за неровности почвы и неучет этих неровностей туземной системой орошения — стремление полить высокие места данного поля — заставляют напускать лишнюю воду в низменные части посевов, что вызывает их засоление. Это засоление, когда на поверхности земли выступают крупные кристаллы соли, приняло угрожающие размеры. Усилилось заболачивание, а последнее в свою очередь чрезвычайно усилило эпидемии малярии и вырывает наибольшее количество рабочих рук как-раз в самые горячие моменты обработки и уборки хлопка.

По мнению многих местных ирригационных работников, переустройство, хотя бы частичное, отводов второго порядка, устройство сбросов воды инженерного типа, приведет к устранению растраты воды и к значительному уменьшению малярийной эпидемии.

В районе коллективизировано 52 проц. всех хозяйств.

Председатель колхоза Ашага-Сура им. Ленина признался мне, что одной

из причин 100-процентной коллективизации крестьян этого селения — оно коллективизировано на 100 проц. — является то, что в прошлом году индивидуальщикам не дали воды.

— Я нажал водой на индивидуальщика, и он пошел в колхоз, я был миром, — сказал мне председатель колхоза Ашага-Сура.

В другом колхозе индивидуальщики уже в апреле 31-го года упрашивали колхозников дать воду на их поля, а последние, несмотря на утверждение агронома и сельсовета, что колхозные засеваы от этого не пострадают, ни в коем случае не соглашались.

Индивидуальщики просили, мотивируя свою просьбу:

— Дайте нам воду, ведь мы мусульмане и мы мусульмане.

Наше вмешательство прекратило эту распрю. Колхозники дали воду единоличникам, заявив нам, членам бригады, что «сделали это только для вас».

Нет нужды говорить о значении воды в Муганской степи. Нет нужды доказывать абсолютную недопустимость таких «методов» вовлечения в колхоз середняка и бедняка-индивидуальщика.

Однако утверждать, что основные массы крестьян пришли в колхоз под этим водным нажимом, значит оклеветать тот подъем симпатии к колхозам и приток в них, которые имеются сейчас, но оппортунистического сопротивления нашей политике, попыток дискредитировать ее тут хоть отбавляй.

Сегодня один из коммунистов ячейки Ашага-Сура заявил мне, что заниматься хлопком — дело крестьянское, а не коммунистов (?!), что он — коммунист — на полку и уборку хлопка свою семью не пошет. Мы настояли перед ячейкой на немедленном исключении его из партии. Но расскажу по порядку.

Приехали в Ашага-Сура. Большой поселок, двухэтажный дом с террасами — дом председателя сельсовета Додашева. Пьем чай, спим наверху, удивляемся богатству убранства верхней части дома, случайно натываемся на груду бумажек в железной коробке, оказавшихся расписками от 5—10—14 гг.: «Я... именем бога единого и единствен-

ного Магомета обязуюсь уплатить за взятые мною у Додашева 100 руб. два раза по 100 руб., 10 баранов, 10 пудов хлопка и одного верблюда». Таких расписок целая гора.

Бывший ростовщик, он не теряет, должно быть, надежды еще вернуть себе утраченные привилегии. Мы смотрим в оба.

Но ведь «в районе нет кулаков», или они есть, но их только восемь. В списке восьми Додашев не значится. Зато он значится в списке кандидатов в члены райкома партии. Зато он значится в списке членов райисполкома. Зато он значится председателем сельсовета!

Кто такой Додашев, какова его история? Он тихий, скромный, покорный и ни одного лишнего слова не говорящий человек. Он был председателем колхоза. Но за свою работу в качестве председателя колхоза, когда он срывал мероприятия районных организаций по заготовке хлопка, был отдан под суд показательным процессом и снят с работы в колхозе. По каким-то причинам суд не состоялся. Ячейка выдвинула его в председатели сельсовета, несмотря на то, что существует специальное постановление РК партии, запрещающее его выдвигать на выборные должности ввиду его оппортунистической кулацкой политики.

Секретарь ячейки Ашага-Сура завещал нас, что в Ашага-Сура кулаков нет. Сам Додашев всячески подкреплял эту истину, предлагая дать расписку за своей подписью председателя сельсовета в том, что в Ашага-Сура кулаки не существуют.

Районные работники верили этой версии.

Тогда мы собрали партийный актив.

— Кто у вас кулаки? — спросил собравшихся секретарь райкома. — Кто срывает посевную, кто срывает борьбу за хлопок, кто срывает работу колхоза?

Все присутствовавшие ответили ему:

— Кулаков у нас нет, а если есть, то один или два.

— Ты кто? — обратился я к первому из сидевших в большом классе ашага-суринской школы.

— Батрак.

— А ты кто?

— Батрак.

— А ты кто?

— Бедняк.

— А ты кто?

— Батрак.

Из присутствовавших оказалось три бедняка и человек пятнадцать батраков.

— Так кто же ваши кулаки были, если вы все батраки?

— Ты батрак?

— Батрак.

— Где работал?

— Здесь.

— Сколько лет?

— Десять.

— А у кого?

Спрашиваемый замаялся и замолчал и только под большим моим напором вынужден был назвать своего кулака.

Таким методом в течение часа мы явили мы девять кулаков, состоящих в колхозе.

Все это привело в деревне Ашага-Сура к изоляции партийной ячейки от бедняцких и середняцких масс, к отрыву от масс, к тому, что эти массы со скрытым недоверием относились к своим сельским коммунистам, видя, что они фактически сомкнулись с кулаками, что некоторые кулаки являются членами партиячейки и комсомола.

На собрании ячейки мне потребовалось проверить сведения о том, что будто бы у одного бывшего кулака, ныне члена колхоза, есть бараны, скрытые в другом селении. Когда я предложил выделить для этого специального человека из состава ячейки, то все оказались родственниками.

Пролезшие в партию кулаки выкидывали из партии бедняков и батраков, желающих вступить не принимали, всячески маринуя их заявления. Именно в этом причина того, что целые полгода организация не вскрыла так называемых «кулацких островов» на Куре, на которых паслись байские лошади, угнанные туда из-за опасения, что их отберут. Недавно такой остров с «дикими» лошадьми был обнаружен, и несколько сот коней были переданы колхозам. Хозяева конечно не объявились.

Девять бывших крупных кулаков, находящихся в колхозе, — это большей частью дети кулаков, причем, куда они дели своих отцов и свое имущество, никто не знает. Остались одни дома. По некоторым сведениям ясно, что скот, орудия производства и прочее превращено в валюту или распределено между родственниками. Все кулаки, вступавшие в колхоз, предварительно «самораскулачивались», распродавая скот и инвентарь, попрятав в горах огромные стада баранов. Они пришли в колхоз, принося скотом и инвентарем часто меньше, чем многие бедняки. Они убежали от перспективы ликвидации их как класса при проведении сплошной коллективизации. Они шли в колхоз не с мирными, а с военными, подрывными намерениями.

Сальяны. Пристань.

— Когда будет пароход?

— Знаете, невозможно сказать, — как придет, сейчас уйдет, расписания нет.

Кура — мутная речка. Парус, баржа, боцман, водолив, приказчик.

В колхозе Ашага-Сура ввели трудодни.

— Теперь никто не отказался от работы, — удивленно говорит председатель, — никто не хромает, ни у кого голова не болит. — Он помолчал. — Нет равенства! — сказал он, вздохнув. — Дело о деньгах идет, и работа идет.

Пульс водокачек бьется нервно. Вода нагнетается в арыки и несется по склонам на поля. Кровь полей, кровь белого золота оплодотворяет хлопчатник.

Теплый ветер. Поле. Орат (время полива). Течет мутная, илистая, плодоносная вода. Поют жаворонки. Табун колхозных лошадей. Стадо коров. Пастух несет на себе только-что рожденного, еще дымящегося, теплого теленка. Его мать, мыча, ковыляет в самом конце стада.

Я хочу напиться из арыка.

— Эй, уртак, эту воду нельзя пить, будет малярия!

Колхозу нужен походный чайник.

— Давайте нам чай, без хлеба, можем

обойтись! — кричит декхан. — Без чаю и сахару не можем!

В комнате, сырой и просторной, висит поднос с портретом шаха из династии Каджаров (на нара-фоминской фабрике я видел однажды в комнате «рабочего» портрет царской семьи!).

— Этому подносу, — говорит хозяин, — 30 — 40 лет.

Резные полочки и банки, и стаканы, и тарелки, и пиалы, и чайники вокруг всех стен, с трех сторон, на продольных полочках. На подносе Мурза-Фаритдиншах. Ватное одеяло, люлька.

Мы напились чаю и выходим из дома.

— У меня грязные сапоги, — говорит мой друг и спутник Гекам, — и поэтому меня не любят.

— Расскажите это моей бабушке! — смеюсь я над ним.

Мы идем по полю, между сапог Иргашева быстро проползает длинная змея. Он хватает ее у самой головы, крепко сжимает в огромном кулаке и так стоит. Закат. На фоне красного заката крестьянин со змеей, конвульсивно извивающейся, задыхающейся в мощном кулаке колхозника — олицетворение нашей победы над темными силами прошлого.

Гекам — совсем канцелярская крыса.

— Я давно не видел лягушек, — говорит он мне, — честное слово!..

Я иду по берегу Куры к большому участку, на котором видны боронящие лошади. Какой-то мальчонка погоняет их. С краю поля на траве сидит старик Хаджи-Манеф.

— Солям олейкум, Хаджи, — говорю я ему.

— Олейкум солям! — отвечает он.

Разговорились.

— Как ты жил раньше?

— Мне 70 лет, и Николая видел, и Муссават видел, и никогда на дворе ни одного животного не было до вступления в колхоз. А теперь корова, и мечтаю я, по правде сказать, о том времени, когда будет коммуна у нас. Старухи у меня уже нет, стирать белье некому, а будет коммуна, никакой заботы не будет.

— Есть у вас кулаки?

— Кулаков нет!

— Как нет!?

— Ну да, нет, они уже не кулаки, они перед тем, как вступить в колхоз, все разбазарили, а теперь у них ничего нет, какие же они кулаки?!

— Ты мне сказки не рассказывай, Хаджи, ты мне скажи прямо — за колхоз они или против колхоза?

— Отцы их были кулаки, а они не кулаки, отцы их были сволочи, а они нет, отцы их были ростовщики, а они нет. Они бедные, — говорит Хаджи, — у них только дома хорошие, но в этом они не виноваты.

— Я сердит на тебя, старик. Ты не хочешь мне сказать правду. Я на тебя сердит и ухожу.

— Постой, постой, поспешность — дело сатаны! — кричит мне Хаджи. — У оленя, бегущего напрямки, нет другого недостатка, кроме глаз. Как я могу сразу сказать?..

— Ты скажи, они за колхоз или против, что ты о них думаешь?

— Я очень старый, ты не должен никому говорить, что я говорил с тобой. Что я думаю? Я думаю вот что: от волка рождается волк, от барана баран будет. Додашев — волк, я — баран. Дядя Додашева бил меня, но на то и волк, чтобы бить барана. А ты спешишь. Поспешность — дело сатаны!.. Наши расписки еще у них есть. Они — баи, но они нас кормили, и поэтому-то мы их и выбираем. Ведь они кормили нас когда-то, вот поэтому мы и голосуем за них. А теперь этот Додашев всех своих родственников записал бедняками, а декханина, у которого одна лошадь, Мамедова, середняком записал.

Вечер. Мы пьем чай, входит Хаджи. Я говорю:

— Дайте Хаджи сахару.

Хаджи:

— Я не хочу сахару, я не хочу сахару, у меня и так сладко во рту от того, что приехали товарищи из центра.

— Ой, Хаджи, — говорю я ему, — что-то ты очень сладко говоришь.

В эти дни в колхозе Ашага-Сура происходили великие события.

Вчера — 19 апреля 1931 года — были свергнуты старые кулацкие династии, засевшие в ячейке, в колхозе, в сельсовете и в других организациях.

Старый Хаджи сейчас в ударе, он все-таки взял в рот кусок сахару и с наслаждением тянет зеленый чай, в перерывах рассказывая мне и всем присутствующим в доме председателя колхоза то, о чем думает больше всего сейчас.

— Я живу, дорогие, 50 лет, но я стал жить только 10 лет тому назад.

— Я уважаю твой труд, — говорю я, — но если бы ты не жил эти 40 лет у кулака, то в эти 10 лет ты, Хаджи, не видел бы, куда итти, и ты не знал бы, кто твой враг. А вот подкулачник. Рассулов так и не видит.

Я уже «аксакал» («большая борода»), так как месяц-полтора некогда было побриться. Старики мне дают 40—45 лет и с уважением слушают. Борода тоже работает на наше большевистское дело.

Во время беседы подскакал полевод, без седла, весь подкидываемый вверх при каждом скачке коня. Он привез известие, что воду пустили на их поля и орат идет нормально.

— Хаджи, бедняки продавали хлеб до революции?

— Продавали.

— Почему продавали?

— Так, без причины продавали.

— Это ты неверно говоришь, Хаджи, — вмешивается председатель колхоза. — Если человек споткнется, значит, на дороге что-то было, если человек чешется, значит, его что-нибудь кусает, раз бедняк, батрак продал хлеб, значит, была причина.

— Верно, — говорит Хаджи, — так оно и есть, вы на меня обижены, я на вас обижен...

Мы едем в Сальяны. Черепичные крыши хлопкомовских сараев, чай из стаканчиков с изыщной изогнутой талней. Старый заросший мохом восточный базар. Грязные немощенные улицы и асфальтовый тротуар.

Электричество, телефон.

Вдоль всего пути от Сальян до Баку понастроены караван-сарай шах-абаза.

Мой спутник молодой, но уже с солидным стажем тюркский литератор. Только-что вышла его книга, ее заглавие: «Мои стремления и мои пути».

Стремления и пути—это почти всегда два больших вопроса, пожалуй, последние всегда интересней, красочней, чем стремления, именно потому, что они конкретней. На пути к стремлениям нужно преодолевать всяческие препятствия, а когда повседневные трудности пути забываются (обязательно, непременно забываются, это — закон, действующий почти для всех), тогда остается этап, яркое рельефное пятно в памяти, то, что мы привыкли называть приятным воспоминанием.

Многие и часто, сами не понимая этого, говорят о прекрасном прошлом и о замечательном будущем, забывая, что самое замечательное — это то, что ты переживаешь сейчас. Ты борешься за будущее, — это нужно знать. У тебя есть много вдохновляющих воспоминаний и традиций, — их нужно всячески использовать и не забывать. Но и то, и другое есть сейчас, сегодня, тут оружие борьбы нынешнего этапа, этапа к переходу от прошлого к будущему, и, не сложа руки, надо ждать, и не мечтательно бездействовать, а — бороться, бороться и бороться.

Недаром старый Маркс писал в ответ на вопрос дочерей: «Ваше представление о счастье коротко и выразительно, — борьба».

Муганская степь цветет от Баку до персидской границы.

По склонам между сопок, в ложбинах между ними, точно пролитая алая кровь, цветут целые реки красного мака. Дальше — Курдистан, Турция, Сирия, Индия.

Мы на берегу Каспия, голубого и ветреного.

Один местный поэт в произведении «Солнце» обрисовал все, что дает оно людям. Он сравнивает солнце с Октябрьской революцией: «Солнце и бог, — говорит этот поэт, — не дали народу ничего, а Октябрьская революция дала всё».

Другой поэт ответил ему:

— Вы идеализируете Октябрьскую революцию.

— После Октябрьской революции рождается новый человек, — настаивает автор «Солнца», — рождается новый

человек, это нужно писать жирным шрифтом.

Мой друг Кули прерывает спор:

— Жирным — это хорошо сказать не про человека, это очень хорошо сказать про плов!

У Гекама, видимо, устали ноги, и он, задрвав одну из них вверх, делает гимнастику, не прекращая оживленного разговора.

— Мы идем по розовой земле, это — бывшая байская, а теперь колхозная, — говорит мне председатель. Я записываю на ходу.

Гекам говорит мне:

— Каждый раз, как я хожу по земле, я думаю о том, что я хожу по земной коре. Это одно из моих внутренних волнений, я не хочу так думать, это эксцентричность, отвечай мне.

— Я так же думаю, — отвечаю я ему, — только когда лечу на аэроплане. Красота на аэроплане, слышишь!..

— Птицы, смотри птицы! — говорит Гекам. — Что за чорт, мы совсем разложимся тут, какая-то сплошная поэзия!

Женщина гонит корову и несет на спине двух ребят. Я вспоминаю, как, когда мы уезжали из колхоза Ашага-Сура, жена предколхоза сказала:

— Товарищ уполномоченный, вы считаете Хайдара кулаком, а он все это нажил при советской власти.

Красавица с кувшином идет к поселку, женщина персидского Азербайджана.

Мы поим лошадей у колодца. На вершине тополя видны три скворца, только-что прилетевшие издалека. Они вертятся около одной самки.

— Вне колхоза, — говорит Гекам, — куда легче ловить кулака, но зато как трудно его выбить из колхоза, — в колхозе он прячется.

Сегодня на общем собрании колхоза Ашага-Сура должны исключить из членов колхоза Додашева. Дальше терпеть невозможно. Его уже исключили из членов ячейки.

Ночь. Мы ехали верхами к Сальянам. На дороге показался мулла.

— О, чорт, — проговорил Гекам, — я суверен и не люблю, когда поп переходит дорогу.

Мы скачем вперед. Моя юрга спотыкается, и я лечу кубарем через голову в придорожную пыль. Отряхиваю грязь, и мы скачем дальше.

Ночью выгнанный и опозоренный Додашев заряжает винтовку, привязывает от курка веревочку к большому пальцу правой ноги, вставляет дуло в рот и дергает курок. Гремит выстрел. Бывший председатель сельсовета, ростовщик и кулак Додашев падает мертвым.

— Вы попали в самую точку, — говорит мне председатель ГПУ Муганитов. Гюль-Мамедов, — вы попали в самую точку.

И тут оказался правильным и целиком подтвердившимся старый закон о том, что скорпион, попавший в огненное кольцо и не находящий выхода, своим ядовитым хвостом жалит себя в голову и умирает на месте.

Около Додашева нашли труду старых расписок 4—10—16 гг.

Гекам смущен. Он мне пишет в записную книжку: «Сегодня ты мне сказал: «Кровь, которая там (в Ашага-Сура) проливалась, следа не оставила». Да, правда. Гекам».

Уже сама форма этой записки говорила о его внутренней тревоге и смущении.

Чудак, Гекам, Ты хочешь бороться с кулаками, хочешь бороться за генеральную линию, хочешь вести, руководить и возглавлять классовую борьбу и — что-

бы не было жертв, и — чтобы не было крови, и — чтобы не было трудностей. Чудак, Гекам! Ты слишком лирик, и твои разговоры о природе без твердости в классовой борьбе могут привести тебя в очень тяжелое положение. Чудак, Гекам! Никогда не легко, когда погибает живое существо. Но тут погиб классовый враг, чего же тебе тревожиться, тем более, что ты бессилен предупредить. Ведь это же скорпион, попавший в огненное кольцо и сам себя утерпевший собственным жалом.

Пароход «Бакинец». Мы подплываем с моря к прячущемуся в тумане утренних испарений городу. Симфония гудков.

— Ванька, — кричит кто-то на палубе, — опоздаем на работу!

Это бригада старых бакинских пролетариев, возвращающаяся с ремонта водных насосов.

Море пускает солнечные зайчики.

Старый тюрк, местный работник, любит городом.

Проезжаем банки, амбары, караван судов, бухту Ильича. Видны башни старого города.

Товарищ рассказывает:

— Я был у Ильича, разговаривал с ним. Я сказал ему: «Баку качай нефть в Советская Россия, Москва качай пролетарскую революцию Восток».

Записки современника

И. ЛЕЖНЕВ

(Продолжение ¹)

Вторая часть

ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ

9. Когда меняются вкусы

У нашего «образованного общества» об'явились новые властители дум. В каком количестве! И какая пестрота! Одни выскакивали на сцену с ловкостью акробатов и нагловатой развязностью сутенеров; были одеты в полосатые матросские фуфайки в обтяжку и брюки с неистовым клешем, что тебе парижские апаши; эти плевали в публику стихами и парадоксами, и публика отвечала взаимностью, т.-е. солеными огурцами, гнилыми арбузами и рваными галошами, летевшими на сцену со свистом через весь театральный зал. Другие «восходили» на классную кафедру, взятую напрокат в городском училище, как на трибуну, — «восходили» шагами медленными, размеренными, профессорскими; были одеты, как тому и приличествует, в строгие сюртуки и в мягкие шевровые штиблеты; говорили легко, барственно, просвещенно — о боге, о смерти, об апокалипсисе; их слушали уважительно, но холодно. Третьи были годами помоложе, калибром поплоче, одеты в «визитки» и смокинги; это был модный балагурный молодняк, торговавший пенитыми прохладительными водами разной смеси, — Пильские, Вознесенские, Чу-

ковские, Василевские, Издебские. Балагурили о модернизме, символизме, футуризме, импрессионизме, — «ские» об «измах», — еще раз об Эросе и Городе, об Апполоне в кавычках и без кавычек, о Дионисии и Вербицкой, об узких юбках и о боге, о толстом журнале и понедельничных мыслях («современных» конечно), — мало ли о чем можно балагурить; «не то важно!» — лишь бы весело «подано», лишь бы на воде пена набегала. А сиропы смешивались так: Влад. Соловьева разбавляли Уайльдом, Писарева — Стриндбергом; взять одну порцию Ницше, полпорции Ренана, изрядную толику Пшибышевского (наглаз), осьмушку Конст. Леонтьева, понюшку Маркса, десять порций невежественной и беспринципной отсебятины, столько же анекдотов, все это залить аквой дистиллятой, хорошенько перемешать, взболтнуть — «удивительно тонко и остро», все подавать «наоборот», — чем не парадокс! Четвертые, во фраках, были театральны, читали нараспев стихи и прозу, декламировали, скандировали, рычали и сюсюкали, притворялись и ломались, — короче, «веровали».

Их было много — священнослужителей в штатском с холеными бородками, и иных — буйных напоказ, но весьма ручных и послушных «новаторов» литературы и искусства, лириков, нытиков, «певцов своей печали», «эстетов», эро-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 2. с. г.

томанов и балетоманов, модных филозофов и фельетонных конференсье — забавников и затейников всходившей на дрожжах отечественной буржуазии. Ей чесали пятки, чтоб спалось лучше, ей щекотали железы, чтоб возбудить похоть, для нее строили на похоти «мраморные храмы», чтоб и в свинстве своем она была возвеличена; ей в угоду революцию описывали как светопреставление, а восставших в 1905 — 6 гг. рабочих и крестьян забрасывали грязью с таким исступлением, на какое могут быть способны только лакеи, ищущие милости господ. Зато пошатнувшийся трон изображали (символически конечно) в виде всеильного Рока (с прописной буквы конечно), он же андреевский «Некто в сером».

Никогда так многословно не «воевали» с мещанством, как именно в период стихийного роста мещанства. Чем беспринципней были «вояки», тем больше выставляли напоказ свою якобы принципиальность, симулировали искренность и «честные глаза», — испытанный прием лжецов и льстецов всех времен. Сочиняли революцию в искусстве, чтоб отвлечь от революции в жизни. Так прививают здоровому человеку детрит, чтоб вызвать легкое подобие заболевания оспой и тем самым предостеречь от настоящей оспы.

В 1905 — 6 гг. отечественный капитал ощутил себя не менее угрожаемым, чем царское самодержавие. Между буржуазией и царизмом возникла известная общность интересов — хотя бы отрицательная: прот и в революции. Не мало оставалось между ними предметов раздора, но эти раздоры буржуазия надеялась уладить мирным, «конституционным» путем. А наступивший одновременно расцвет промышленности и торговли тем более требовал внутреннего успокоения, замирения.

Надо было успокоить умы и ранее всего умы собственной своей буржуазной и мелкобуржуазной интеллигентской молодежи, все еще революционно настроенной.

Здесь прибегли к испытанному средству. Молодежь горит не только романтическими идеями, но и романическими

страстями; естественно было привлечь все внимание к половым вопросам и тем самым отвлечь от вопросов общественных, мобилизовать пол и демобилизовать революционность. Сейчас комсомолец сублимирует свою энергию на общественной работе и в ней находит предохранительный клапан от чрезмерности половых интересов; в те времена поступали как-раз наоборот: сублимировали энергию на половой утонченности и в том приобретали предохранительный клапан от политических «излишеств». В этом как-раз, и ни в чем ином, заключается общественно-политический смысл вознесения на пьедестал Эроса и, кстати сказать, смысл ученых трактатов на сей предмет Абрамовича.

Итак, революция, но только в искусстве; эпоха «бури и натиска», но только в эротике. Два симметрично поставленных громоотвода. Достаточно ли этого? Нет, не достаточно. Нельзя только обороняться от прошлого, надо продвигаться навстречу будущему. А этим будущим должно было быть европейски развитое капиталистическое хозяйство, либерально-демократический представительный строй, согласованное с этим строем и утверждающее его общественное сознание. Буржуазии спешно требовалась идеология, которая носила бы черты современности и внешнего радикализма, была по возможности приспособлена к условиям места и времени, была одновременно оборонительной против революции, поступательной в сторону капиталистического правопорядка, перевоспитательной для молодежи.

Выполнить такой сложный «социальный заказ» и с такой спешностью было делом нелегким для отечественных поставщиков идеологии. Правда, все они были взяты на сверхударный паек. На издательское дело, театр, живопись, балет тратились огромные средства, реклама была раздута совершенно необычная, законодателей идейных мод, «созвучных эпохе», поощряли крупными деньгами и славой, пусть мимолетной, но зато вдвойне и втройне громкой. Собственными силами тут было не обойтись. И вот, как искони водилось на Руси,

на подмогу были призваны варяги. Годы реакции были годами небывалого расцвета переводной литературы. Все, что хоть в отдаленной степени соответствовало духу времени, наскоро переводилось с иностранных языков и издавалось большими тиражами. Нет нужды, что при этом в гении зачастую попадали авторы третьестепенного калибра, на родине своей отнюдь не пользовавшиеся популярностью, а в новаторы выскакивали покойники с обомшелыми уже могилами. Пантеон идейных «вождей» был тогда в России подлинно интернациональным. Тут были представлены все культурные страны Европы и даже Америка. Если выделить только наиболее популярные имена, «звезды первой величины», то мы получим список презренный: Ницше, Штирнер, Шопенгауэр, Гартман, Ренан, Гюйо, Флобер, Верлен, Клодель, Оскар Уайльд, Д'Анунцио, Ведекинд, Артур Шницлер, Петер Альтенберг, Рихард Демель, Стриндберг, Меттерлиник, Пшибышевский. И сколько еще других — помельче! Не стану перечислять русские имена: иных уж нет, а те — далеке (в эмиграции); незначительное меньшинство осталось в Советской стране, что не всегда означает — на советской стороне.

Общественные отношения во всей их специфичности того времени требовали своего выражения в идеях, и идеи эти должны были явиться — живые или мертвые. Работала большая сортировочная машина качественного отбора. Через нее просеивалось культурное наследие прошлого всего человечества, культурное «предложение» современности от всех стран мира, и очищалось только то, что пригодно для данного момента, в данной стране, при данных общественно-политических отношениях. Этой сортировочной машиной была не только царская цензура; в несравненно большей мере действовала цензура капиталистического спроса. Все непригодное отменялось, выбрасывалось вон, а за отборное платилось полновесным золотым рублем, трубными звуками рекламы, почетным креслом в первых рядах «властителей дум».



Наивно было бы представлять дело так, будто был тут злокозненный заговор нескольких дюжин издательств, банков и капиталистических фирм против неугодных им людей и особый золотой мешок для субсидий фаворитам. Столь просто такие вещи не делаются даже в странах монопольного капитала, даже в наше время. Отдельные газетные короли, банки, капиталистические концерны в сильнейшей мере, притом непосредственно, господствуют над производством идей и формируют общественное сознание по образу и подобию своему, попросту держа в своих руках мощный просветительно-пропагандистско-рекламный аппарат (газеты, издательства, театры, кинофабрики и т. д.); они же шефствуют над фашистскими и националистическими военно-спортивными и штатскими организациями, щедро субсидируют их, меценатствуют в отношении всех видов искусства. Но и в странах загнивающего капитализма идеи не находятся на простом откуп у дюжины богатых заговорщиков. Производство идей находится там под огромным влиянием нескольких дюжин капиталистов и под строжайшим их контролем. Но эта деликатная отрасль производства, как, впрочем, и материальное производство, находится в руках крупного монопольного капитала и не всецело и не полностью. Наряду с монополией существует конкуренция; наряду с крупным капиталом — «средний класс» и дальше — массовый потребитель — мелкая и мельчайшая буржуазия и еще — пролетариат.

Всякий купец знает, что некоторые виды нового предложения товара на рынке рождают спрос, как бы внушают его сверху, но он также знает, что в основном нужно руководствоваться спросом и поэтому строить свой ассортимент в соответствии со вкусами потребителя. По какому же закону формируются эти вкусы в области идей? Они формируются в соответствии с господствующими общественными отношениями. В живой действительности это происходит гораздо сложнее, чем это представляют себе многие товарищи, вырос-

шие уже в годы советской власти и не имевшие случая непосредственно наблюдать капиталистическое общество.

Период после 1905 — 6 гг., как и послереволюционные периоды в других странах, особенно во Франции, в этом отношении чрезвычайно поучителен. Отбор идей, их приспособление к новым общественным отношениям, их быстрое чередование в такт с быстро меняющейся политической обстановкой исключительно наглядны.

Буржуазия строила свои громоотводы для не изжитых еще до конца революционных настроений среди интеллигентской молодежи. Как же это происходило? Собрались капиталистические тузы и банкиры на заседание, «слушали—постановили» разработать план установки громоотводов, призвали литераторов, художников, философов, дали им заказ и выписали жирные чеки? Нет, так не происходило и даже ничего похожего не было. Тогда весь ум и хитрость — у банкиров, а вся глупость — у революционно настроенной молодежи. Что буржуазия была умнее нас — спору нет; не многого ей требовалось для этого. Но преднамеренного, нарочитого политического расчета было так же мало у тех, кто расставлял силки, как и у тех, кто запутывался в них. Происходило это в большой мере безотчетно и неосознанно для обеих сторон. «Общественная история людей,— писал Маркс в письме к Анненкову, — есть всегда лишь история их индивидуального развития, сознают ли они это, или нет. Их материальные отношения образуют основу всех их отношений». Издатели руководствовались ранее всего материальным интересом; им нужно было выбросить на рынок ходкий товар. Сознание ожидаемого барыша было отчетливо; сознание же того, что выпуск модернистской литературы того времени прямо служит интересам реакции, вряд ли было столь уже отчетливо и менее всего было руководящим импульсом в отборе рукописей для печати. Выпускались в свет «Навыи чары» Соллогуба, «Леда» Анатолия Каменского, «Пробуждение весны» Веденкина и прочее и прочее или ставились на сцене «Жизнь человека» Леонида

Андреева, «Ревность» Арцыбашева, «Снег» Пшибышевского и т. д. отнюдь не потому, что это — «идеологически выдержанные» в интересах буржуазии пьесы, а ранее всего потому, что это было материально выгодно издателям и антрепенерам, что таков был спрос рынка.

Характерно, что пресловутый «Санин» Арцыбашева печатался в легальном марксистском журнале «Современный мир», который выписывали многие политические ссыльные. Арцыбашева привлекли в журнал потому, что надеялись таким образом повысить интерес публики к журналу и поправить пошатнувшиеся дела издательства. Высота принципиальности легального марксистского органа — вопрос особый, но менее всего можно считать, что Арцыбашев тут понадобился во исполнение преднамеренного и злокозненного плана банкиров соорудить идейные громоотводы в интересах своего класса.

Или вот другой пример, не менее разительный: уже в годы войны праздновался юбилей издательства Сытина. Как водится, был устроен банкет, где в честь «глубокоуважаемого Ивана Дмитриевича» было произнесено немало льстивых речей. Когда было уже довольно выпито, один из участников банкета, профессор такой-то, заливался соловьем о высоком культурном служении родине со стороны И. Д. Охмелевский уже к этому времени Сытин прервал оратора:

— Ну и чего он только городит! Ведь я как возьму книжку в руки — по морде ее сразу вижу, пойдет она или не пойдет...

Столь авторитетное признание никак не обойдешь: «что у трезвого на уме...»

Промышленник и купец, выступая на рынке со своим новым товаром в качестве пионеров, «по морде» товара видят, пойдет он или не пойдет. А это ведь значит, по существу, что промышленник не столько прививает вкус, сколько идет навстречу еще не оформившемуся вкусу, назревающей или назревшей вкусовой предрасположенности. Если производитель культтоваров оказывается плохим «физиономистом» и не

умеет отбирать лица книг в соответствии с лицом эпохи, то он несет материальный убыток, и это является уроком не только для него, но и для конкурирующих производителей. Тогда говорят: этот тип товара не привился, и его пускать в оборот не следует.

Впрочем, неудача первых опытов отнюдь не означает еще полного провала. Некоторые новшества прививаются сразу, жадно всасываются рынком без остатка; другие новшества всасываются медленней, требуют сроков и соответственных расходов на выдержку, рекламу и прочее. Часто производитель, экспортер, торговец несут эти расходы в виде пониженных рекламных цен. Немцы это называют «Einführungspreis» — дословно: вводная цена, т. е. цена при вводе новинки в каналы товарообращения в интересах привития ее рынку.

Андрей Белый, один из основателей и идейных участников модернистского издательства, в своих воспоминаниях об издателе Полякове рассказывает, как туго сначала прививались на рынке переводные издания того времени и сколько стоило труда пробить кору консерватизма у читателя. Немецкие купцы сказали бы: «Die Einführung kostete schweres Geld», т. е. привитие нового товара стоило больших денег. В основном однако неудача Полякова в первые годы издательской работы объяснялась общественно-политическими причинами, и это особенно следует отметить. Влиял не столько вкусовой консерватизм читателя, сколько его общественный революционизм до наступления реакции. Декаденты поспели на своих оранжереях раньше срока, и в первые годы, пока реакция не удобрила почвы для упадочных вкусов, они широкого успеха не имели и иметь не могли.

Даже там, где новые идеи и вкусы прививались потребителю несколькими дюжинами представителей буржуазии сверху, это происходило, во-первых, без нарочитого умысла и ясного сознания общественно-политической значимости новых идей у самих производителей культтоваров, а в соответствии с их непосредственной материальной заинтере-

сованностью; во-вторых, дело здесь идет не столько об автономном предложении, независимом от спроса, сколько об угадывании не оформившегося еще спроса, наличного уже в те дни; в-третьих, ошибки в угадывании потенциального спроса выравниваются и регулируются рынком; в-четвертых, перемена идейной предрасположенности и вкусов потребителя находится в соответствии с переменной общественно-политической обстановки.

Новые идеи, притуплявшие интерес к политической жизни и отвлекавшие от нее, шли сверху, но идеи эти могли привиться в низах буржуазного общества только потому, что люди хотели, и опять-таки не вполне осознанно хотели, и этого притупления, и этого отвлечения. Вспоминается тут казачья народная поговорка, столь часто повторяемая Шолоховым в «Тихом Доне»: «Сучка не схочет, кобель не вскочит». При этом ведь ни сучка и ни кобель не обременены сознанием — они по инстинкту выполняют закон природы.



Что же происходило в это время с буржуазным потребителем новых идей и почему он хотел идейного отвлечения в новое русло? Старшее поколение буржуазной интеллигенции в возрасте от 30 и выше жило с достатком, было удовлетворено своим материальным положением, значительно улучшившимся в эти годы в связи с общим конъюнктурным подъемом. Техническая интеллигенция, связанная с промышленностью, ощутила перемену к лучшему непосредственно, а люди свободных профессий (врачи, юристы, литераторы, актеры, художники и т. д.) косвенно, что конечно несколько не меняет дела. Политическая обстановка оставляла, правда, желать многого даже с точки зрения умеренного либерализма, к которому этих людей клонило с такой же силой, как и ко сну в послеобеденный час. Но насильственной перемены строя уже не хотели. При воспоминании о революции, о баррикадных боях, об аграрных беспорядках этих людей карежило, как

нервную даму, когда царапают ножом по сковороде. О революции говорили: «дикая черная стихия», «отвратительные низменные инстинкты толпы», «пьяное быдло», «вонючие онучи» и прочие отборные словечки изысканного словаря утонченных культурных господ.

Если б спросить этих людей, собирательного интеллигента старшего поколения того времени, прелогополучного, самодовольного до крайности, с округляющимся брюшком, белым упитанным затылком и пунцовыми губами над холеной курчавой бородкой:

«Зачем вам вообще какая-либо идеология? Живете на земле — и живите, плодитесь, имейте на стороне любовниц, курите, лечите больных, выступайте в суде, служите, где вы служите, выполняйте свои функции «перед богом и людьми», ходите в клуб, театр, кино, выезжайте на дачи, устраивайте пикники, пейте, играйте в карты, развратничайте помаленечку, — делайте все, что вы делаете, но ради бога (вашего бога) оставьте в покое идеологию и переводных философов, на кой ляд сдалось все это вам?», —

то такой вопрос вызвал бы обиду, вы оскорбили бы человека в его лучших чувствах, и он ответил бы вам с раздражительной иронией:

«Что ж вы, милостивый государь, так-таки хотите лишить нас всякого человеческого культурного обличья и превратить в разномыслящих скотов и «общественно-полезных» животных? Нет уж, разрешите и нам жить своими умственными и духовными запросами, а писаревщину и марксизм можете оставить при себе, не претендуем, не посягнем-с! Наши новые идеи и понятия не согласуются конечно с «великими», с позволения сказать, традициями российской интеллигенции, с мифом о богиносце и страстотерпце-мужичке (видели мы эту «божью душу» в пятом году), с его превосходительством господином пролетариатом, перед которым вы ползаете на брюхе, с махаевщиной, каратаевщиной, горьковскими босяками, «буревестниками», «скитальцами» и прочей дребеденью—простите—с помойной ямы. Устарело, старо, хоро-

ший человек, ветошью пахнет, плющом могильным. Мы обменялись с вами ролями, а вы изволили проморгать! Теперь мы — передовые, а вы—отсталые. «Пусть мертвые мертвым приносят любовь и плачут у старых могил»... «Душевные парни», синие косоворотки, житей коммунной с одной селедкой на дюжину балбесов, «Тяжкий млат, куй булат», «На бой кровавый, святой и правый» — все это по боку, в архив-с, к чортовой матери! Теперь новое время и новые песни. А новинки иностранной философии и литературы мы читаем, да будет вам известно, потому, что хотим быть аи соугант (губки округлены буквой «о», баритональная нотка и самодовольный жест), — да, аи соугант передовой современной мысли в Европе, мы хотим быть европейцами, но не в западническом стиле (тоже старо!), а в новом: пора синтезировать культуру Запада и Востока, Ницше с Достоевским, Оскар Уайльда с Соловьевым. Мы — Евразия. Синтез культур — наше историческое предназначение, если угодно, — миссия!»

Что длинная реплика эта не сфантазирована мною, а полностью отвечает настроениям старшего поколения буржуазной интеллигенции того времени, как они отразились в многочисленных разговорах и крепко сохранились в моей памяти, нетрудно убедиться, если почитать хотя бы «Вехи», сборник в своем роде неповторимый. О нем еще речь впереди. Я привожу дальше отрывки из «Вех», едва ли уступающие по «сочности» только-что воспроизведенной реплике собирательного интеллигента старшего поколения. Только там оно облитературено да смазано религиозным элеем.

Религия и богиносительство в ту пору были в большой моде. Публикации о том, что сбежал и спешно разыскивается бог (без указания примет) печатались в книгах и газетах, возвещались с высоты кафедр. Маршрут от Писарева через Маркса к затерянному богу был изъезжен многими, как что при некоторой затрате труда можно было бы составить подробный путеше-

датель с перечнем всех станций и полустанков и отметкой буфетов с крепкими напитками.

К богу или даже к чорту, к «Антихристу» Ницше, к «Анатеме» Андреева, к апокалипсису Мережковского, но только подалее от этих мест и времени, от «проклятого» красного времени — таково было преобладающее настроение буржуазной интеллигенции старшего призыва. Надо было отгородиться непреходимой чертой от недавнего революционного прошлого, получить в руки идейное оружие против идейных искушений и притязаний этого прошлого, — такое, которое выглядело бы более новым, современным, европейским, передовым, которое «не уступало бы» по высоте марки и радикальности, но только в ином плане, не общественном, и которое вместе с тем заполняло бы пустоту жизни, и, оправдывая склонности к развлечению и праздности, давало иллюзию «высшего поляга».

Чем ниже падал интеллигент, тем выше ему надо было прикрепить кнопками свой идеал — сообразно принципу обратной симметрии. Не потому ли были тогда в такой моде парадоксы с «наоборотами»? Когда интеллигент заводил себе любовницу на стороне или соблазнял жену лучшего своего друга, то это не было простым, типичным для буржуазного обихода капризом похоти, — о нет! — это был высший культ эротики, «изящный, мраморный, полный воздуха храм для жизни», — по авторитетному свидетельству Абрамовича. Когда интеллигент, отвратившись от больших социальных эмоций, опустошенный внутренне, беспринципный, пресыщенный, отвратился и от реализма в искусстве, от всего цельного и монументального, от цельных характеров и цельных страстей, искал уже иных эмоций — раздробленных, щекочущих, визгливо фразпирующих, иносказательных, искал уже не мыслей и не чувств, а только их тени, отражения, символы, то это не называлось упадничеством вкусов, идейным загниванием, — отнюдь! Это величалось революцией в искусстве. А когда интел-

лигент, мелкий буржуа, в соответствии с материальными отношениями своего бытия, стихийно склонялся к идеализации буржуазной частной собственности, то его индивидуализм не был мещанским, — отнюдь — он был высшим, философским.

Идеология буржуазного интеллигента того времени была именно таким негативным снимком с действительности. Идеология строго соответствовала этой действительности, но не в порядке прямого зеркального отражения, а обернутого. В идеологический ряд записывалось все то, что не хватало до гармоничного целого в жизни, так, чтоб идеология дополнила действительность и они обе дали в сумме желаемое гармоничное целое. Барахтающейся в канаве мещанской действительности нужен для дополнения и равновесия «нас возвышающий обман».

Спрос рынка идей буржуазии того времени можно формулировать так: «Дайте нам что-то, чего в точности, мы сами не знаем, но такое, чтобы свинство наших материальных отношений, от которого мы не можем отступить, ибо оно владеет нами, получило недостающее ему до человечности дополнение иллюзии».

Чтоб выполнить этот определенный, скорей отрицательно, чем положительно, социальный заказ буржуазии, и закувыркались акробатически в своих догадках, парадоксах, «наоборотях» идеологи того времени. Старались, сколько влезет, но что скверно: ведь и этого, пусть полуопределенного, заказа никто не выдавал «по доверию и полномочию» от потребителя, и никто не формулировал — ни сам коллективный потребитель, ни книгоиздатель, т.-е. посредник между потребителем и производителем идейных и культурных ценностей.

Если мы говорим о социальном заказе, о сортировочной машине по отбору пригодных для рынка идей, о лакействе идеологов, чесании пяток буржуазии и проч., то это абсолютно соответствует действительности, но всего этого не надо понимать слишком буквально. Речь идет об объективном

значении процессов, а не о субъективном восприятии участников, которое в большинстве случаев складывается бессознательно. Опять-таки и эту бессознательность не надо понимать абсолютно, что вот, мол, какие несознательные, а если б по хорошим книжкам почитали да поучились, то сразу же и вошли бы в сознание.

Индивидуального сознания у интеллигента хоть отбавляй; этим товаром сам он «торгует», но он всегда больше думает о подчинении своего сознания законам формальной логики, чем об имманентной подчиненности этого сознания, помимо участия воли, историческому процессу и материальным отношениям. Отсюда, от бессознательности исторического порядка при сознательности логической, и получается иллюзия свободного выбора идей — по одному лишь собственному разумению.

10. Вехи позора

Тут надо упомянуть об одном особенно примечательном литературном памятнике тех реакционных лет, — о книге во всех отношениях позорной.

В 1909 г. в Санкт-Петербурге был выпущен сборник статей о российской интеллигенции под названием «Вехи». В нем участвовали семь авторов: Бердяев, Булгаков, Гершензон, Изгоев, Чистяковский, Струве и Франк. Если из семи этих громких имен выделить одно только имя П. Б. Струве, то «букет» уже достаточно определится. «Марксист» в молодые годы, теоретик и вдохновитель российского ревизионизма, Струве в течение долгой своей жизни катился вправо, чем дальше, тем все больше. Правый либерал, мистик, церковник, денкинский министр, наконец редактор белоэмигрантской, монархической горгуловской газеты «Возрождение» в Париже.

Четверть века назад, в 1909 г., Струве вкупе с Бердяевым и Булгаковым развивал свою очередную буржуазно-реакционную теорию о мистике государства, шельмовал интеллигенцию за ее максимализм и писал с раздражительным укором:

«Идейной формой русской интеллигенции являлось ее безрелигиозное отщепенство от государства».

Может ли быгг, в самом деле, более смертный грех, чем отвернуться сразу и от поповской религии, и от полицейского государства!

Останавливаться на Струве, однако, не стоит сейчас. Его реакционность уже слишком тривиальна, и для обрисовки перелома в тогдашних настроениях буржуазной интеллигенции мало выразительна. По той же причине вряд ли стоит останавливаться и на статьях таких авторов «Вех», как Бердяев и Булгаков. Еще и еще раз кликушеский вздор со стилистическими придыханиями и церковно-славянской ужимкой, что выпренне зовется «национально-русской философией». Секрет «национально-русской» сущности писаний этого пошиба состоит в том, что ежели перевести их на действительно русский человеческий язык и растворить стилистическую пену, то обнаружится: король гол, а дутая пенистая словесность нищенски убога мыслью. Советую молодым советским литературоведам проделать такое упражнение над кем-либо из замшелых славянофилов-мистиков — выпустить пену, а прозаический остаток перевести на русский язык и напечатать в «Крокодиле», — будет очень смешно.

Наибольшего внимания в «Вехах» заслуживает, на мой взгляд, статья М. О. Гершензона — «Творческое самосознание».

Гершензон был одним из главных вдохновителей и организаторов сборника, он был «душой» всего этого коллективного выступления. И искренности у Гершензона больше, чем у остальных авторов «Вех», горения «правдой», запальчивости. Поэтому и настроения того времени переданы им непосредственной и свежей.

Начинается с обычного для «Вех» интеллигентского самобичевания и самолюбования:

«Мы не люди, а калеки...»

И дальше все тот же мотив:

«Кучка искалеченных душ... «Сонмище больных, изолированных в родной стране, — вот что такое русская интел-

лигенция»... «Масса интеллигенции была безлична, со всеми свойствами стада: тупой косностью своего радикализма и фанатичной нетерпимостью».

«Русская интеллигенция, — жалуется Гершензон, — живет «в не себя», народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвовало так деспотически, как у нас, а наше общественное мнение уже три четверти века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа: думать о своей личности — эгоизм, непристойность... И вот люди совершенно притерпелись к такому положению вещей, и никому не приходит на мысль, что нельзя человеку жить вечно снаружи, что именно от этого мы и большие субъективно и в действительности бесильны».

В другом месте читаем: «История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения, — сплошной кошмар... С первого пробуждения сознательной мысли интеллигент становился рабом политики, только о ней думал, читал и спорил; ее одну искал во всем: в чужой личности, как и в искусстве, и проживал жизнь настоящим узником, не видя божьего света... Каждая личность духовно осклаплась уже на школьной скамье».

Осточертела политика, душно и скучно стало в кругу прежних интересов. Они перестали заполнять «внутренний мир» интеллигента и сразу же стали «внешними» ему, тягостными и назойливыми, как разлюбленная женщина. Жесты у интеллигента остались те же, знакомые, вчерашние. Он все еще стоит в позе протестанта, размахивает руками против деспотизма, но сегодня — уже все иное. Деспотизм этот — не царское самодержавие и произвол, не угнетение крестьянства, не помещичий грабеж земли и ренты, не грабительское выжимание капиталом прибавочной стоимости. Деспотическим оказывается уже «общественное мнение», тюремным гнетом — революционные авторитеты прошлого. «Мятежная душа» буржуазного интеллигента бунтует не против Николая II, Столыпина, Распутина, а против идей Пестеля, Чернышевского, Ленина.

Нужны освобождение и эмансипация от собственной общественной совести. Из «каземата» социалистического мировоззрения надо вырваться на вольную волюшку буржуазной мистики и «самоуглубленности».

Но очарование революционного прошлого или, по меньшей мере, либерального «свободомыслия» еще велико. Романтика былого бунтарства еще сильна в сердцах. Надо ее изничтожить, облить помоями, замазать дегтем: без этого не обрести свободы для реакционного «творческого самосознания». И буржуазный идеолог на своей палитре необходимый по сезону деготь и с прелевым темпераментом живописует:

«Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? — я говорю, разумеется, об интеллигентской массе: Кучка революционеров ходила из дому в дом и стучала в каждую дверь: «Все на улицу! Стидно сидеть дома!» — и все сознания высыпали на площадь, хромые, слепые, безрукие: ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голоса и перебраниваясь. Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, — да оно легче и занятнее, нежели черная работа дома.

Никто не жил, — все делали (или делали вид, что делают) общественное дело. Не жили даже эгоистически, не радовались жизни, не наслаждались свободной ее утехами, но урывками хватали куски и глотали, почти не разжевывая, стыдясь и вместе вождедея, как проказливая собака. Это был какой-то странный аскетизм, не отречение от личной чувственной жизни, но отречение от руководства ею. Она шла сама собою, через пень-колоду, угрюмо и судорожно... В целом интеллигент был ужасен, подлинная мерзость запустения, ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешнем; день уходит неизвестно на что, сегодня так, а завтра — по вдохновению, все вверх ногами; праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жи-

эти, грязь и хаос в брачных и вообще половых отношениях, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах — необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности; перед властью то гордый вызов, то покладливость — не коллективная, я не о ней говорю, — а личная». (Курсив мой. — И. А.)

И это пишет тонкий писатель, чуткий к слову и образу, нежный лирик, автор «Грибоедовской Москвы». Трудно вообразить более грязный пасквиль. Не революционеры, а разболтанные идиоты. Не быт революционного подполья, с его прекрасными, возвышенными, но конечно и теневыми сторонами, а сумасшедшая какофония. Слепление ненависти так велико, что «грязь и хаос в брачных и вообще половых отношениях», — именно то, чем столь прославились годы реакции со свистопляской санинщины, эротоманией, лиг «свободной любви» — приписывается задним числом годам революционного подъема.

Все интеллигентские слабости — карикатурно заостренные, утрированные, доведенные авторами «Вех» до гротеска, в действительности обусловленные классовым положением интеллигенции и деклассированностью отдельных ее слоев, — приписываются именно революционной настроенности интеллигенции, т.е. как-раз тому качеству, которое во многих случаях помогало преодолевать мелкобуржуазные интеллигентские слабости и проникаться пролетарской организованностью, дисциплинированностью, цельностью и целеустремленностью.

Порицание прежних «недугов» революционного периода просвечивает проповедью положительной морали. В плоскости идейной авторы «Вех» зовут к индивидуализму и религиозному мистицизму; в плоскости политической — к охранению «правового порядка» и деятельной поддержке самодержавной государственности; в плоскости быта — к солидной благопростойности, к размеренности, аккуратности, домовитости («черная работа дома»), к вящей заботе о собственных делах-делах, к

устоям положительной буржуазной семейственности.

Таков краткий прозаический смысл длинных мудреных речей.

Одного охаивания прежнего быта интеллигенту-ревизионисту недостаточно. Как идеологическая тварь, он нуждается сверх того для успокоения своей интеллектуальной совести в засыпке нового овса — идейного и философского.

«Вехи» пытаются ответить и на этот второй повышенный спрос.

Корень всех бед интеллигента в прошлом — по Гершензону — состоял в раздвоении личности: «Наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевою жизнь».

Первое впечатление получается такое, будто автор сетует против разрыва между теорией и практикой, — против тех культурных «ножниц», которые и на самом деле так свойственны старой интеллигенции. В действительности разрыв этот обусловлен социальным местом интеллигенции, профессиональной ограниченностью и односторонностью умственного труда при господствующей в буржуазном обществе системе разделения труда. Но не этот крайне интересный, впервые поставленный и исследованный молодым Марксом вопрос занимает Гершензона. Не на этот вопрос он ищет теоретически обоснованных ответов в своей как будто теоретической работе, посвященной интеллигенции.

Смутно, вполупотьмах Гершензон нащупывает проблему, — точнее, натывается на нее и... спотыкается. Повторяется то же, что и раньше с характеристикой источника интеллигентской безалаберности. Классовых корней автор не видит ни здесь, ни там; действительная сущность предмета ускользает от него, и мысль растекается среди многообразия явлений, не находя нигде упора, — тогда вину во всех неполадках можно приписать любому встречному обстоятельству, и всего проще избрать козлом отпущения былую революционность интеллигенции; такой выбор

как-раз и соответствует «новым веяниям», то-есть требованиям реакционной эпохи, вступившей в полные права.

Разрыв между теорией и практикой и соответствующие ему особенности буржуазно-интеллигентского «взятия жизни» (раньше всего — оппортунизм) из неотъемлемого и хронического свойства работников умственного труда в условиях буржуазного общества превращаются, при таком истолковании, во временный недуг. Сложный, богатый определениями процесс взаимодействия и диалектический круг условий, которые приводят к выработке данного общественного типа со всеми присущими ему свойствами¹⁾, подменяются упрощенным, бедным и плоским, как доска, формально логическим соотношением между «причиной» и следствием. Вот — «причина», и вот — следствие. Вот — революционность интеллигенции, и вот — раздвоение личности.

Но и этой двойной подменой — подменой общего частным и сложного простым — дело не ограничивается. Раздвоение личности обрисовано как конфликт между сознанием и чувственно-волевой жизнью. Сознание передовой дворянской, разночинной и буржуазной интеллигенции огульно приравнивается к идейному максимализму, а чувственно-волевая жизнь — к материальному бытию. Тогда коллизия в душе интеллигента сводится к противоречию между его сознанием и бытием. Сознание насыщено идеями общечеловеческого или, по меньшей мере, всенародного блага, а бытие интеллигента есть и может быть только буржуазным бытием.

Опять-таки и здесь Гершензон натывается на рациональное зерно и... вновь спотыкается. Классовое самоотречение играло известную роль в формировании идей передовиков дворянско-буржуазного общества, но конечно не получило такого массового распространения, как это представляется автору «Вех», и уж стнюдь не было поголовным в интел-

лигентской среде с петровских времен до 1909 г. А с другой стороны, и это количественно ограниченное явление, не имевшее качественно столь решающего влияния на выработку типа интеллигента-массовика 900-х годов, вовсе не может быть ни понято, ни объяснено пустопорожне отвлеченными рассуждениями о сознании и чувственно-волевой жизни. Только углубленный анализ чередования экономических и социальных формаций, как оно протекало и протекает в действительности, может обнаружить, что отмирание каждого господствовавшего класса, строя, порядка есть сложный и длительный процесс распада, притом процесс диалектический, когда убивание класса извне переплетается с самоубийством внутри, а отрицание извне — самоотрицанием.

От конкретного диалектического мышления Гершензон далек, как небесные туманности от земли. Вся работа кишит противоречиями, ляпсусами, подменами сложного — простым, конкретного — отвлеченным, фактического — фантастическим, реального — ирреальным. Эти подмены во многом облегчены благодаря описанной уже выше оракульской манере так называемой «национально-русской философии». Нет четких определений и ясных мыслей. Их подменяют расплывчатыми и двусмысленными образами. Лирически порхают от одного иносказания к другому. Неуловимы и извилисты, как ужи. Стилистические извивы, капризные переходы от прозы к стихам (тем хуже, ежели сами стихи в прозе), от тона лирического к эмоциональному, и славянизмы ни к селу ни к городу, и претензия на самобытность, на свежесть, — до чего затхло, беспомощно и подражательно, утомительно и скучно! В итоге — жалкая эклектическая поmessь, ни одно положение не стоит на правильном месте, все вверх ногами, путаница в мозгах, туман.

Так и в «Творческом самосознании». Кант и Гегель пляшут об руку с Соловьевым и Хомяковым, а подписано... Гершензон. До настоящей «философской» мысли автора доберешься не сразу — только шибает от каждой стра-

¹⁾ Подробный анализ источника буржуазно-интеллигентского раздвоения личности я даю в другой готовящейся к печати работе: «Молодой Маркс о Гегеле. — Книга об интеллигенции и оппортунизме».

ницы и образа и строки сивушным перегаром реакции.

Вот привет от Канта: «Для раскрывшегося сознания нетерпимо созерцать хаос... Оно должно искать единства, которое есть не что иное, как единство собственной личности». (Вольный перевод кантовского трансцендентального единства апперцепции).

А вот привет от Гегеля: «... Государственный закон или институт есть не что иное, как об'ективированное сознание, которое, принудительно регулируя поступки, стремится этим путем перевоспитать воли» («Третье отделение» как «об'ективированное сознание»).

Автор усердно размешивает в горшке мелко накрошенные кусочки чужой мудрости и вовсе не подозревает, что приготавливаемое им блюдо скорее напоминает немецкое «Leipziger Allerlei», чем истинно-русскую окрошку. И он поэтому сетует на других, на идейное прошлое русской интеллигенции:

«Не было, — пишет он, — своей национальной эволюционной мысли... Шелленгизм, гегелианство, сен-симонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантианство, Мах, Авенариус, анархизм, — что ни этап, то иностранное имя».

Опять-таки и эти укеры, как и прежние укеры революционно настроенной интеллигенции в половой неряшливости, — не по адресу. Врачу, исцелился сам! Революционная интеллигенция училась на Западе у великих мастеров вопросам теории, претворяемым тут же в практику борьбы. А идеологи реакции, начиная с 1907 г., не создав ничего самобытного, целиком оказались в идейном и эстетическом плену у эпигонов философской мысли и декадентов Запада. Как мелкая мошкара, тучами устремились в нашу сторону с Запада кривляки, ломаки, певцы сластолюбия, пророки буржуазного себялюбия, парадоксалисты, цирковые жонглеры мячиками куцых идей. И это бесноватое чередование умственных мод и вкусовых капризов принесла с собой именно реакция. С «Вехами» вышел конфуз: своя своих не познаша.

«Вехи» — клеветническая и предательская книга, непревзойденный образец ренегатства, «песня песней» во славу царской полицейщины и казачьей нагайки.

Апология «самодержавия, православия и народности» здесь особенно отвратительна потому, что ее авторы в отличие от открытых мракобесов — Катковых и Мещерских, Пуришкевичей и Крушеванов — пытаются еще сделать при этом «интеллигентное лицо».

Вместо откровенных погромных речей типа «бей жидов, спасай Россию» — здесь заливаются лирической свирелью, изошряются в утонченно-сложных философских партитурах. А смысл един, — все тот же старый «истинно-русский» погромный смысл. И это сообщает предательству особый привкус достоевщинки.

В своем философско-политическом памфлете, направленном против революционной интеллигенции, Гершензон затрогивает близкую и созвучную народнически настроенным кругам тему, которая худо ли, хорошо ли, но мобилизовала на борьбу с царским произволом. Тема эта — «интеллигенция и народ». В 1909 г. Гершензон толкует ее «по-новому». О народе мы здесь узнаем следующее:

«Он, главное, не видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудовища, люди без бога в душе, — и он прав, потому что, как электричество обнаруживается при соприкосновении двух противоположно наэлектризованных тел, так божья искра появляется только в точке смыкания личной воли и сознания, которые у нас совсем не смыкались. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас...»

Славянофилы пробовали вразумить нас, что народ наш — не только ребенок, но и старик, ребенок по знаниям, но старик — по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению...

Там (на Западе — *И. Л.*) нет той метафизической розни... Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него не грабители, как свой брат, дере-

венский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз, он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои».

При чтении этого стилизованного бреда невольно вспоминается меткое замечание Маркса:

«Нет ничего легче, как изобретать мистические причины, т. е. фразы, лишённые здравого смысла».

Здравого смысла лишено объяснение причин «розни». Но подоплека бредового причинотворчества весьма здравая и ярко классовая.

Революция 1905 г., начатая в Петербурге в январе мирным хождением к царю во главе с попом, разрешилась в декабре баррикадами, московским восстанием во главе с большевиками. В сознательности движения, революционной решимости, в постановке целей — за неполный год (с января по декабрь) была пройдена огромная дистанция, поистине смертельно угрожающая для буржуазии. Мощные волны революции разлились по всей стране, охватили ее великим бурлением, неслись вперед, кипятком обваривая бывших господ. Повсеместно в городах возникли советы рабочих депутатов, отряды народной милиции и самообороны, в деревнях стихийно ширились аграрные беспорядки, горели помещичьи усадьбы, Ленин выдвинул идею о перерастании буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Движение перехлестнуло приемлемые для буржуазии пределы, и ей было от чего отшатнуться в паническом страхе.

И подобно тому, как всякую свободу буржуазия мыслит по образу свободы торговли (Маркс), так и угроза буржуазному строю и порядку была воспринята как угроза всякому строю и порядку и культуре и носителю этой культуры — буржуазной интеллигенции.

Вместо оголенного классово-шкурного вопля: «спасай имущества свои и фабрики и банковские сейфы!» — мы слышали из буржуазно-интеллигентского угла

визг мистический, а равно и истерический: «Спасай культуру!»

Радетели буржуазной культуры заодно с радетелями буржуазной собственности бросились в полицейский участок звать на подмогу квартального.

«Каковы мы есть, — писал Гершензон, — нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

К этому ничего бы не мог прибавить, пожалуй, и сам отец Восторгов. Но ни «Колокол», ни «Земщина», ни «Московские ведомости» не претендовали на роль выразителей «передовой русской общественной мысли». «Вехи» на эту роль претендовали. В составлении сборника приняли участие виднейшие представители тогдашнего интеллигентского Олимпа, люди с марксистским и левodemократическим прошлым. И обращен был сборник к читателю с таким же политическим прошлым. Реакционные лозунги «теоретически» обосновывались во «всеоружии» философского словаря.

Так «Вехам» удалось стать «течением мысли», заразительным настолько, что оно сумело через тринадцать лет, пройдя огонь войны и революции, породить другой сборник, по своим отправным пунктам и идеологии сходственный, — именно пражский сборник «Смену вех».

Так литературный памятник реакционных лет сослужил свою «службу» — дважды.



Что «Смена вех» целиком осталась на позициях старых «Вех», подтверждает и сам Устрялов:

«Они, — писал он в 1922 г. о своих единомышленниках и товарищах по пражскому сборнику, — мыслят и сейчас в значительной мере «по-белому», все методы их мышления попрежнему глубоко противоположны социально-материалистическому стилю официальных канонів революции. Основных «ревизионистских» решений старых «Вех»

авторы не устраняют и не «снимают», и потому «Вехи» Струве и Бердяева в культурно-исторической перспективе продолжают оставаться явлением идейно более значительным и углубленным, нежели наш сборник. Больше того: они продолжают оставаться явлением глубоко современным, требующим развития и внутреннего преобразования...» (Сборник статей Н. Устрялова «Под знаком революции», Харбин, 1925 г., стр. 65—66).

В харбинском сборнике Устрялова (на стр. 243) мы находим и прямое повторение гершензонских мотивов и даже те же стилистические «перлы». В статье «Народ и революция» дана такая характеристика революционных масс, совершивших Октябрьский переворот:

«Правда, сначала это был по большей части «сброд», низы деревни и города, но тогда именно эти низы были характерны для конкретного устремления народной воли. Да и, вообще говоря, разум истории менее резлив, нежели индивидуальная человеческая совесть, и часто пользуется самыми непривлекательными руками для самых высоких своих целей... Современники имели удобный повод применить к России тех дней характеристику революционной Франции у Тэна: «Подчиненная революционному правительству страна похотела на человеческое существо, которое заставили бы ходить на голове и думать ногами».

Не довольствуясь этим, Устрялов делает такую сноску: «Для усиления красочности и удовольствия современников могу привести еще одну цитату из Тэна: «Таковы те политические элементы, которые, начиная с последних месяцев 1792 г., управляют Парижем, а через Париж и всю Францию: пять тысяч зверей или негодяев и две тысячи падших женщин, которых хорошая полиция свободно могла бы выгнать, если бы нужно было очистить столицу».

Об октябрьских днях Устрялов пишет:

«Быт эпохи был ужасен и отвратителен... Угнетенным «классом» оказалась интеллигенция старого типа, над которой сбывлись вещи слова Гершензона из «Вех». (Курсив везде мой. — И. Л.).

«Сброд», «звери или негодяи» разгромили буржуазию, несмотря даже на «веще» предостережение Гершензона, но буржуазная интеллигенция устряловского типа осталась при том же контрреволюционном символе веры, при тех же «Вехах», что и в 1909 г.

11. В поход на Маркса

Революция 1905 г. была затоплена в крови. «Власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной», сделала свое полицейское дело. Отстаивая себя, она защитила на время помещиков и буржуазию и обеспечила буржуазным идеологам свободу «творческого самосознания». После того как «вольное казачество» разгромило баррикады и «опровергло» революцию винтовкой и нагайкой, в лагере буржуазии явилась тьма тьмущая охотников «опровергнуть» революционную теорию. Под защитой Столыпина из всех буржуазных подворотен был открыт скорострельный огонь по Марксу.

Первые из первых приложили руку «Вехи».

«Два общих закона, — пишет Гершензон, — могут быть установлены с очевидностью, вопреки учению исторического материализма... Сравнительная независимость сознания — кардинальный факт нашего духовного бытия... Сознание не живет, не действует; оно не имеет никакого непосредственного прикосновения к реальному миру; живет и действует только центральная воля человека... Автономность сознания — наше величайшее благо и вместе величайшая опасность для нас». (Курсив мой. — И. Л.).

«Общественное сознание человечества, — продолжает Гершензон, — не заблуждается, личное же сознание в своих частных исканиях непременно заблуж-

ждается каждый раз, когда оно своевольно отвернется от личности».

Откуда же берется, как возникает общественное сознание, в каком оно находится соотношении с индивидуальным сознанием, в какой мере это последнее несет на себе печать общественного сознания, как увязываются воедино категория общественной необходимости с категорией индивидуальной случайности, — всеми этими действительно стоящими вопросами автор «Вех» вовсе не интересуется. Ему важно подчеркнуть (мелкая ссуда из гегелевской кассы), что общественное сознание воплощено в государственном законе, призванном воспитывать воли. Только такую форму «общественного сознания», форму столыпинского закона, автор признает настоящему достойной и свободной от заблуждений. А сознание революционной эпохи он не устаивает признать подлинно общественным. Для него это (по Гегелю) только «эмпирическая всеобщность воззрений и мыслей многих», — «мнение или толпы», массовая сила, противопоставляющая себя «органическому государству». Вместо сплоченного и организованного общественного сознания Гершензону чудится здесь только разброд индивидуальных сознаний «хромых, слепых, безруких», которые «полвека толкуются на площади, голоса и перебраниваясь».

Революционное сознание признается лишь беспорядочным агрегатом, суммой индивидуальных сознаний, которым, как таковым, приличествовало бы заниматься одними личными делами, предоставив попечение об общественных делах полицейскому государству, этому «объективированному общественному сознанию», стало быть, «свободному от заблуждений» и «безупречному».

Какова же функция индивидуально-го сознания? Тут Гершензон вводит кантовскую категорию «долженствования», столь справедливо и зло осмеянную Гегелем:

«Деятельное сознание должно быть устремлено внутрь, на самую личность и должно быть свободно от всякой предвзятости, от всякой инородной тен-

денции, навязанной внешними задачами жизни... Нормальный, т.е. душевно-цельный, человек не может не быть религиозен, по самой природе человеческой души».

В следующей главе этот поповский тезис получает дальнейшее «развитие»:

«Когда сознание обращено внутрь, когда оно работает над личностью, оно здесь, в ежеминутном соприкосновении с иррациональными элементами духа, непрерывно общается с мировой сущностью, ибо через все личные воли циркулирует единая космическая воля, и тогда оно по необходимости мистично, т.е. религиозно».

Если бы Пестель и Рылеев, например, поняли так же хорошо, как понял Гершензон со слов Гегеля, что свободное от заблуждений общественное сознание объективировано в государственном законе, если бы они не мешали Николаю I расстреливать народ картечью и поняли так же хорошо, как Гершензон, на сей раз со слов Шюпенгауэра, сущность мировой космической воли и по сему случаю молились боженьке, то все бы и не было раздвоения интеллигентской личности и — чего доброго — «Вехам» не пришлось бы в эпоху реакции и уже в царствование Николая II поучать революционеров задним числом своему «великому» уму-разуму, церковности и домовитости.

«Как только прекратится, — деловито разъясняет Гершензон, — живое кровобращение между сознанием и волею, мысль хиреет и поражается болезнями... раньше всего... конституционным расстройством сознания, которое называется позитивизмом. В нормальной жизни духа позитивизм как мировоззрение невозможен».

И главою раньше:

«Нормальный ход духовного развития может быть бесконечно искажен историческими условиями, общественными предрассудками и личным заблуждением людей. Такая печать искажения — духовная жизнь русской интеллигенции».

Как! — недоуменно воскликнет читатель, — между автономно бездействующим сознанием, не имеющим прикосно-

вения к реальному миру, и волей происходит живое кровообращение! А если оно происходит, то может из-за предрассудков вовсе прекратиться! И при чем тут исторические условия! Ведь «независимость сознания — кардинальный факт нашего духовного бытия... вопреки учению исторического материализма», — какое же значение могут иметь те или иные исторические условия?!

Чтоб парировать эти столь естественные недоуменные вопросы, Гершензон совершает беглый исторический экскурс, начиная с петровской эпохи, от которой интеллигенция «справедливо ведет свою родословную». Заодно с реакционерами-славянофилами автор обрушивается на эту «недоброй памяти» эпоху:

«Она навязала верхнему слою общества огромное количество драгоценных, но чувственно еще слишком далеких идей... расколола в нем личность, оторвала сознание от воли, научила сознание праздному обжорству истиной. Она научила людей не стыдиться того, что жизнь темна и скудна правдою, когда в сознании уже накоплено великое богатство истины, и, освободив сознание от повседневного контроля воли, она тем самым обрекла и самое сознание на чудовищные заблуждения...—Нынешняя русская интеллигенция — прямой потомок и наследник крепостников-вольтерьянцев».

И в заключение — вывод:

«Поистине историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум отдельным линиям — быта и мысли, ибо между ними не было почти ничего общего».

Пусть извинит меня читатель за обилие цитат, но они понадобились, во-первых, затем, чтобы показать, с каким легковесным багажом выступают в поход на Маркса даже наиболее образованные буржуазные идеологи, и, во-вторых, затем, чтобы на примере пресловутых «Вех» еще раз проиллюстрировать всестороннее убожество эпитонов идеалистической философской школы.

Для этой школы Гершензон и вся его концепция крайне типичны. Исходя

от обособленного человека и от обособленных сторон этого человека, идеалист поневоле противоречит себе на каждом шагу.

Как один грех, по сказанию древних, влечет за собой во множестве дальнейшие грехи, так и здесь комок первой, исходной лжи обрастает глыбой лживых утверждений, искажений, несуразностей.

Первая ложь в том, что вовсе нету в природе и обществе отрешенного человека, целиком предоставленного свободной игре своих страстей и склонностей, нету двухэтажного строения самодовлеющих воли и сознания. Нельзя начинать осмысливание жизни, общества, истории с отдельного человека, ибо он не начало, не *tabula rasa*, а с самого же рождения — густо исписанная книга. Нету воли как «космической стихии» и нету воли как «средоточия непогрешимой целесообразности», — все это — идолопоклонство и метафизическая блажь. Есть конкретное множество воль живых людей в пределах эпохи и классового общества. Нету витающего над миром, отрешенного от жизни и борьбы разума, «Логоса», как и нету его заместителя на земле — «общественного сознания человечества», которое «не заблуждается». Есть конкретное множество сознаний живых людей как их орудие ориентировки в процессе действий и борьбы.

И сколь угодно ни перескакивал бы пташкой с ветки на ветку наш идеалистический философ — от отрешенного сознания к отвлеченной воле и обратно, какие бы ни строил при этом преуморительные мистические гримасы, он ничего не открывает и ничего не понимает.

Таково именно впечатление от писаний Гершензона в «Вехах»: он ничего не понимает ни в истории, ни в обществе, ни в общественно-историческом происхождении собственной своей политиканствующей лирики. Что ни абзац, то новая нелепость и импрессионистская неграмотность вплоть до смешения в одну кучу крепостников-вольтерьянцев, разночинцев, мелкобуржуазных интеллигентов 900-х годов.



Чтоб приблизиться к какому-нибудь пониманию, найти к нему первые подступы, надо привлечь к исследованию богатейший фактический материал, изучить ту самую материальную историческую среду, на которую и обращены человеческие воли и сознания и с которой они реально соотнесены, т.-е. заняться делом, какое менее всего по душе беззаботному идеалисту.

Но и груд одного лишь сырого фактического материала недостаточно. Его надо еще осмыслить.

Найти метод теоретического освещения фактов буржуазной действительности — дело очень, очень трудное, и оно оказалось по плечу только гению Маркса. Не от средней руки российских буржуазных интеллигентов можно требовать выполнения такой гигантской задачи. Они не справились (или не хотели справиться) с делом несравненно более скромным: с правильным усвоением уже готового марксова наследства. Не изучив, не поняв, не усвоив «открытых Марксом законов общества, буржуазные идеологи оказываются в состоянии только вульгаризировать учение Маркса, а затем весьма размахисто опровергать самими же ими измышленное вульгарное подобие исторического материализма.

Гершензон имеет перед собою несколько разрозненных и непонятых им по своему действительному социальному содержанию фактов из истории интеллигентской мысли в России. Он видит нескольких передовых дворян и помещиков, которые вопреки своему классовому интересу восстали против дворянско-помещичьей царской власти. Эти разрозненные и непонятые им факты он распространительно толкует как основную характерную особенность всей совокупной российской интеллигенции «от Петра до наших дней» и интеллигенцию делает единственным носителем сознания в стране и в ее истории. Тогда и «оказывается», что «поистине историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум раздельным линиям — быта и мысли,

ибо между ними не было ничего общего». Тогда и «оказывается» учение исторического материализма, совершенно не понятое Гершензоном, бесповоротно «опровергнутым».

Учение исторического материализма в действительности не имеет ничего общего с той плоской и тривиальной теорией, какой пытаются его представить идейные слуги буржуазии. Марксизм не отмечает сложных, многообразных, перекрестных и противоречивых влияний и импульсов в человеческом обществе, сводя якобы все к одному лишь желудку, к брюху, как это хотелось бы буржуазным идеологам. Напротив того, только один марксизм понастоящему обращен лицом ко всему конкретному богатству жизненных явлений. Только один марксизм действительно свободен от предвзятостей, суеверий и догм, которыми оплетено по рукам и по ногам так-называемое «свободное» мышление буржуазных идеологов, и открытыми глазами подлинно критически смотрит на мир. Именно этот критический взгляд позволил основоположникам марксизма изучить механику капиталистического общества, разоблачить фетишистские предубеждения обыденного буржуазного сознания, оголить причину перевернутых изображений в буржуазном сознании, вскрыть источник обманных иллюзий.

Не «узок» марксизм, как об этом без-устали кудахчут еще и по сей день политически невежественные старые интеллигенты, прикованные, как каторжники к тачке, к своей узкой специальности, к изолированным и застывшим в своей обособленности сферам опыта, к цеховщине и к порождаемым ею иллюзиям. Марксизм исследовал разделение труда в буржуазном обществе и творчески преодолел профессиональную ограниченность умственного труда. Он впитал в себя, как лучшее наследие буржуазной классической философии, диалектику и поставил ее на здоровые материалистические ноги.

Вся сумма опыта охватывается не в изолированных своих частях, а в целом, в движении, в противоречивой

диалектической соотнесенности и взаимосвязанности отдельных сфер. За пестрым мельканьем внешнего узнается внутреннее и определяющее, за явлением — действительная сущность, как она восстает в итоге изучения исторического целого, и эта сущность — не домысел, не постулат, не заранее готовая или предвзятая «точка зрения», а вывод — вызревший по ходу всего исследования результат.

Путь от индукции к правильной дедукции, от явления к сущности — долгий и трудный путь, тем более трудный, что дело идет о буржуазном обществе, где все явления, образы и понятия несут на себе печать искаженности самого капиталистического способа производства и хозяйства, где все общественные отношения перекрыты мистифицирующей пеленой. Нужно быть во всеоружии марксистской революционной критики, чтобы с боем проходить этот путь пядь за пядью. А когда весь путь уже пройден в одну сторону — от индукции к дедукции, от явления к сущности, требуется большое мужество мысли, чтобы не застыть на достижениях и пройти тот же путь в обратном направлении — от сущности к явлению, от абстрактного к конкретному.

Ленин эту мысль выразил так:

«Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное... от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее. От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (IX «Ленинский сборник», стр. 183).

«Закон есть прочное (остающееся) в явлении... отражение существенного...» Однако «явление богаче закона» (там же, стр. 147 — 149).

«Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее... Всякое общее лишь приблизительно охватывает

все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д., и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д. (XII «Ленинский сборник», стр. 125).

Так обстоит дело с правильными серьезными обобщениями и законами, особенно с законами человеческой истории. Нельзя понять отдельного исторического явления, не уяснив себе сущности всего исторического процесса, его основы. Этой основой является материальное производство и воспроизводство действительной жизни. Все сферы деятельности человеческого общества, при большом их множестве и великом разнообразии проявлений и форм, в последнем счете зависит от экономических условий. Но в рамках этой всеобщей зависимости действуют и другие сферы, имеющие относительную самостоятельность: политика, право, религия, традиции и т. д. Не только экономика оказывает воздействие на эти отдельные сферы, но каждая из них оказывает обратное воздействие на экономическую основу, подчас даже вступая с нею в открытую борьбу, и на смежные с нею сферы. Происходит сложный процесс взаимодействия, который, как и всякий процесс, раздваивается на противоположные тенденции и в своем противоречивом единстве может быть понят только диалектически мыслящей головой.

Нападки на теорию Маркса идут обычно со стороны метафизиков. А эта порода людей держится примитивных законов формальной логики, вовсе не применимой к динамическим явлениям, к процессам, к движению и в особенности — к человеческой истории.

Они, эти люди, иначе и думать не умеют, как по образцу простой каузальности: вот тебе причина, а рядышком — следствие. Берут обособленное индивидуальное явление, случай, вырванный из живой связи, и с торжеством «победителя» вопрошают: где тут рядом его экономическая причина? Ее не оказывается, — значит, теория исторического материализма... «прокинута».

До чего жалко и убого, до чего гимназически простодушно! Если бы экономическая основа сложных и противоречивых процессов истории могла распознаваться с такой простотой, то, по меткому замечанию Энгельса, «применять теорию к любому историческому периоду было бы легче, чем решать самое простое уравнение первой степени». Это — не в бровь, а в глаз «ученым» критикам. Если бы... но тогда марксово учение не было бы методом, да и к тому же диалектическим методом, а односложным катехизисом, который достаточно было бы вызубрить на-зубок, окаменелой метафизической догмой.



Марксов метод требует коренным образом иного подхода — хотя бы к той же самой интеллигентской коллизии, которой столь упоенно заняты авторы «Вех». От общества в целом Гершензон отрывает интеллигенцию, — для него вообще не существует иного общества, кроме образованного. От интеллигенции, как общественного слоя меняющегося классового характера за период от Петра до 900-х гг., он отрывает отдельного интеллигента, якобы всегда равного самому себе. (Вот это и есть одна из тех вздорных абстракций, от которых предостерегал Ленин.) Наконец, у этого выхолощенного интеллигента, якобы вне класса и времени, ампутируются сознание и воля. Тогда и получается, что вся история «от Петра до наших дней» была сплошным конфликтом между сознанием и волей. Такой метод отрыва и есть метафизический метод, который ни к чему, кроме как к реакционному вздору, и привести не может.

В противоположность этому марксов метод есть метод диалектический, который берет вещи в их конкретности и живой связи. Марксизм не отрицает конечно той огромной роли, какую сыграли в пробуждении и росте освободительного движения в России Вольтер и Руссо, энциклопедисты XVIII века, Кант, Гегель, а впоследствии — Маркс, вся передовая мысль Запада.

Европейские революции оказали еще большее влияние. Но основой освободительного движения отнюдь не было чтение помещиками иностранных книжек. Основой было как-раз столь не любезное сердцу Гершензона производство и воспроизводство действительной жизни в России. Определяющими моментами явились феодальный строй, уже изживший себя, а в связи с этим — отсталая государственная власть, проигранные войны и т. д.

Участие в освободительном движении интеллигенции, сперва дворянской, затем разночинной и, наконец, буржуазной и мелкобуржуазной, имело на разных этапах различные корни, различные цели, различную степень революционности. Не всегда и не целиком тут дело шло о классовом самоотречении, о погоне за «мерилом святости и единственным путем к спасению души». Достаточно вспомнить, что при отсталой материальной основе производства и воспроизводства действительной жизни количественно возрастающая мелкобуржуазная интеллигенция не находила и не могла найти применения (тем более полноценного применения) для своих знаний и рабочих рук. Или не это было действительной основой, хоть и не всегда осознаваемой и почти всегда приукрашиваемой иллюзиями, идеологией, скоропостижным народолюбием — основой интеллигентского недовольства, разраставшегося грибами по всей стране, во всех неблагополучных и потому мятущихся уголках?

Чтобы уяснить себе эту немудрую мысль, вовсе не обязательно быть марксистом. Не дальше чем в августе 1933 г. Стефан Лозанн писал в парижской буржуазной газете «Матен»:

«В конце-концов медицина, юриспруденция, архитектура, администрирование являются частью экономики страны так же, как и сельское хозяйство, виноделие и торговля. Если имеется перепроизводство дипломов и аттестатов, то это такое же вредное явление, как перепроизводство пшеницы, вина и свеклы. Безработный бакалавр имеет такое же право на кусок насущного хлеба, как и безработный рабочий.

С точки зрения социального равновесия он представляет собою тот же интерес».

А Эррио заострил ту же мысль политически:

«Пролетариат умственного труда, — заявил он, — представляет опасность не только для молодежи, являющейся жертвой этого полнокровия, но и для самих государств».

Известную, но в действительности несравненно более скромную роль, чем об этом самовлюбленно трещали наши интеллигенты, сыграло и классовое самоотречение. Оно однако нисколько не опровергает теории исторического материализма, а только подкрепляет ее как диалектическую теорию. Оно именно с особенной выразительностью подтверждает кардинальное у Маркса и Энгельса положение о подчиненности в истории (в последнем счете) идеологического ряда материальному. Когда назревает смена экономических формаций, то революционные идеи являются обязательно и пролагают себе дорогу даже вопреки темноте и несознательности восходящего класса на начальных этапах его борьбы. В отмирающем классе в процессе его распада как одна из характерных черт этого распада является энергия самоотрицания, которая воплощается в передовых умах этого класса, в его «пораженцах». А с другой стороны, восходящий класс, на первых стадиях борьбы еще не вооруженный ясным сознанием своих интересов, находит себе временных союзников в среде отмирающего класса и именно в лице его пораженцев.

На эту более общую и действительно историческую точку зрения «веховцы» не могли стать как метафизики. Брать явления в их живой связи, в их движении и единстве противоположностей, видеть за меняющимися явлениями самую сущность процесса, его материальную основу, могут только материалисты и диалектики.

Охватывать историческое целое, как оно в действительности есть, с его сменяющимися экономическими формациями, борьбой классов, главенством материальной основы при относительной самостоятельности надстроек, зачастую

вступающих в конфликт с самой материальной основой, нередко определяющих форму борьбы, — такая задача для метафизика непосильна. Он разрывает целое на кусочки, облюбовывает свой кусочек, для удобства исследования препарирует его по-своему, рассекает еще и еще, т.-е. до конца убивает все конкретное и живое. Так получается интеллигент «вообще», сознание и воля, «как таковые».

И вот буржуазный горе-теоретик задает из своего метафизического уголка «каверзный» вопрос: как же сознание интеллигента могло восстать против собственной своей воли?.. Это ли, мол, не убийственная улика против исторического материализма? Он, этот горе-теоретик, попросту не знает, что «бунты» сознания против воли, идеологов — против материальной основы предусмотрены марксистской теорией, нисколько не опровергают ее, а при ближайшем конкретном анализе только по-новому каждый раз подтверждают правильность этой единственно верной диалектической теории.

Смещение в кучу классовых ответвлений интеллигенции «от Петра до наших дней» при отрицании и непонимании исторического материализма приводит ко множеству конфузов и ранее всего — к непониманию источника реакционности буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции после 1907 г.

Гершензон в 1001-й раз повторяет басню о «мериле святости» и «спасении души», которые якобы обуревали и современную «Вехам» интеллигенцию. Сказителям этих басен (а такие не вывелись и по сей день) можно ответить коротко и вразумительно: «Аркадий, не говори красиво».

Кто же не знает, что те годы были годами конъюнктурного подъема, оживления хозяйственной деятельности, роста промышленности и торговли. Недавно еще полубезработные, непристроенные, неприкаянные и кочующие интеллигенты стали вдруг процветать и обрастать. Их воля к буржуазному благополучию стала им казаться, заодно с Гершензоном, мистическим «средоточением непогрешимой целесообраз-

ности». Вживаясь, чем дальше, тем все прочнее в свою родную по происхождению, воспитанию, бытовым и вкусовым навыкам классовую среду, они начали и идейно срастаться с нею. Былые отщепенство и «пораженчество» в отношении своего класса стали выветриваться. Былые временные союзники рабочего класса стали постоянными и прочными членами буржуазной семьи.

В новую эпоху и в новой обстановке материальная основа производства и воспроизводства жизни предопределяла сознание мелкобуржуазной интеллигенции с той же нерушимостью, что и раньше, но только прямее и непосредственнее, чем раньше. В устоявшиеся и «нормальные» для буржуазии времена соотношение между надстройкой и базой, между сознанием и «чувственно-волевой жизнью» гармонизировалось, как того и хотели авторы «Вех».

Новизна реакции в этом вопросе свелась лишь к тому, что прежде сложная, диалектически противоречивая, исполненная высокой значительности и трагизма зависимость общественного сознания от материальной основы приобрела теперь неприглядные черты плоской рассудочности, мелкого расчета, серых будней, — в полном соответствии с характером самой реакционной эпохи. Но именно в эти годы, когда зависимость надстроек от материальной основы стала всего нагляднее и проще, вот уж именно простотой «уравнения первой степени» (по Энгельсу) — идеологи буржуазии с особенным рвением взялись за опровержение неопровержимого.

В своем запальчивом походе на Маркса буржуазные идеологи упустили из виду одну «малость», — что нет лучшей улики против их теорий, чем объективный общественно-исторический смысл происхождения самих этих теорий.

12. Русский Ницше

«Настоящие философы — это повелители и законодатели. Они говорят: «так должно быть»... Их познание есть творчество, их творчество — законодательство, их воля к истине есть голя к власти». — Эти слова Ницше

верны только в одном отношении: в годы реакции для буржуазного «образованного общества» России сам Ницше был повелителем и законодателем. Он законодательствовал в том же смысле, в каком знаменитая мастерица лучшего парижского салона мод законодательствует в отношении покроя платья на сезон, — и пусть только любая мещаночка осмелится отступить от повеления парижской законодательницы: против нее будет совокупное «общественное мнение» всех европейских мещанок. Покрой идей в ту пору должен был быть ницшеанским, и горе отступившему от повеления моды!

Ницше был далеко не единственным пророком реакционной эпохи, но все другие — больше или меньше, осознанно или неосознанно — черпали из ницшеанского источника. О Ницше можно сказать, применяя излюбленную им же самым метафору, что он был текстом, а другие пророки реакционного сезона — лишь истолкованием.

Ницше пользовался огромным успехом и оказал решающее влияние на круг идей буржуазной интеллигенции не только в России, но и ранее и более всего в Германии. Ницшеанство немецкое однако коренным образом отличалось от русского, хотя в обеих странах оно в одинаковой мере служило реакционным целям. Различие это обусловлено исторически: сама русская буржуазия отличалась от немецкой по своему классовому и культурному возрасту, — наша только начинала по-настоящему «европеизироваться» в годы с 1907 по 1914; политические задачи, какие ставила себе молодая русская буржуазия, особенно интеллигентская молодежь, были тоже иными, чем задачи германской буржуазии.

Революция 1905 г. вызвала сильнейшую травму в душах нашей буржуазной интеллигенции, и было вопросом внутреннего равновесия — идейного, морального, психического — разорвать вековую интеллигентскую традицию «служения народу», превозмочь внушения прошлого, освободиться от мощного авторитета социалистической науки и вместе с тем заполнить образовавшуюся

душевную пустоту иллюзиями, достаточно яркими и смелыми хотя бы на внешний вид. Оттолкнувшись от революции и «народа», мелкобуржуазная интеллигенция в своей массе не могла — однако полностью примкнуть к самодержавно-полицейскому государству, как примыкала к своему кайзеру немецкая буржуазия. Империалистская экспансия и завоевательный порыв, воодушевлявшие немецкую буржуазную молодежь, тоже не получили у нас в довоенные годы такого распространения, как в Германии. Тому были свои причины — и экономические, и исторические: немцы имели в прошлом победоносную франко-прусскую войну, а Россия — «позор Цусимы».

Русская буржуазная интеллигенция для своего идеологического перевооружения после 1906 г. и для пополнения своего скудного культурного багажа нуждалась поэтому в качественно иных элементах идеологии, чем германская. От Ницше она «брала» иное, чем ее братья по классу в Германии. И реакционный во всех случаях и при любых условиях Ницше был на нашей почве по-иному реакционером.

К Ницше мы еще вернемся в «Записках современника» в связи с предвоенными настроениями Германии и нынешним террористическим беснованием гитлеровских банд. Там будет дана более обстоятельная характеристика философии Ницше¹⁾. А здесь другая задача: показать «русского Ницше», тот своеобразный отбор идей, который особенно привился на русской почве и пришелся ко двору и ко времени в годы нашей реакции.

Первое, чем Ницше полонил сердца нашей буржуазной интеллигентской молодежи, был лозунг «переоценки всех ценностей». Это было в самую точку. Сказать лучше, попасть в нерв эпохи точнее было невозможно. «Умри, Денис, лучше не напишешь!» Буржуазная интеллигентская молодежь в те годы крутого реакционного поворота ни в чем

ином не нуждалась, как именно в «переоценке ценностей» и в идеологическом обосновании «сумерек богов». Правда, здесь дело шло о других ценностях и о других богах, но какой же текст пророка не нуждается в истолковании, то-есть в приспособлении к условиям места и времени! У Ницше переоценка относилась ранее всего к вопросам религии и демократии, а у нас проблемы религии были актуальны только в крайне узком кругу спецов «богоискателей» (Бердяев, Булгаков, Кистяковский, Мережковский, Философов, Франк, Шестов и другие считанные единицы), да и они скорей приближались к официальной православной церкви, чем отходили от нее; подвляющее же большинство интеллигентских «умов» (особенно среди молодежи) относилось весьма равнодушно и к суетне «богоискателей» и к велеречивому усердию Вольно-Философского общества. Что касается вопроса о «демократии», то никакие прорицания пророков не в состоянии были бы преодолеть стихийный либерализм нашей буржуазии при политическом господстве дворянства.

«На язык родных осин» Ницше переводился с соответственными поправками. Дело, мол, идет не о христианстве, как таковом, не о конкретной церкви, под религиозным и культурным влиянием которой находилось европейское человечество в течение девятнадцати столетий, а всего лишь об идее «добра». Тут открывалась уже широкая возможность сближений, противопоставлений, параллелей между Ницше и отечественными художниками-моралистами. Таким путем идеи Ницше были введены в русло привычных понятий, а сам Ницше вошел в русский пантеон. Можно сказать, что обрусение Ницше было произведено при помощи Достоевского.

Классовое самоотречение дворянской и разночинной интеллигенции в пользу народа было приравнено к идее «добра», которой и объявлялось категорическое «нет!» В разрыве традиции, в развенчании вчерашних авторитетов от Писарева до Горького и заключались российские «сумерки богов».

Собирательная «интеллигенция» (как ее хотели понимать Ивановы-Разумники

¹⁾ Подготавливаемый к печати II том «Записок», главы «Немецкий Ницше» и «Пророк империализма и фашизма».

и неразумники) «вся вышла», «кончилась» 9 января 1905 г. перед петербургским Зимним дворцом, как началась она 14 декабря 1825 г. на петербургской Сенатской площади. От роду покойнице было ровно восемьдесят лет, прожила от Николая I до Николая II, — не достаточно ли того? Началась «интеллигенция», когда выступила она одна, а народ безмолвствовал; кончилась, — когда на историческую сцену выступил сам народ, его пролетарский авангард, и политически оформилась буржуазия. Тут уж незачем было более «заступать общеполитические интересы» (Ленин), некого «замещать»: политические роли были уже распределены между классами. Мелкобуржуазной интеллигенции оставалось только ликвидировать свое идейное прошлое, отказаться от роли заступницы и поскорей и четче самоопределиться в классовом и политическом отношении по образцам западно-европейских стран. Двудесятилетняя задача — ликвидация идей прошлого и классовое самоопределение в настоящем — вот в чем выражалась у нас «переоценка ценностей».

«Помните о том, что надо жить! (Memento vivere!) Не позволяйте прошлому так тяготеть над вами, чтобы от этого страдали инстинкт, личность, искусство и мышление! Иначе придет время, когда, как того опасался Гезиод, люди станут рождаться седыми!» — для нашей мелкобуржуазной молодежи того времени, всеми силами хотевшей отвернуться от революционного прошлого и от опостылевших интеллигентских «традиций», эти слова Ницше были поистине живительным глотком в ее душевной опустошенности.

«Историческое чувство означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему, вкус ко всему. Этим он тотчас же высказывает себя не благородным чувством... Благородным людям более всех других чувств непонятно историческое чувство с его подбострастным плебейским любопытством... Наша великая «добродетель» исторического чувства является необходимой противоположностью хорошему вкусу...» и т. д. Такие реплики позволяли не только от-

вернуться от прошлого, но чувствовать себя при этом благородным человеком высшего вкуса.

Начисто забыть прошлое однако невозможно: оно, помимо желания, владеет нами, притом владеет тем сильнее, чем сознательней и активней мы стремимся забыть его. Усилие забывания объекта уж само по себе есть непривольное и досадное напоминание об этом объекте. Надо было дисквалифицировать прошлое, перевести его в низший разряд. Ранее всего надо было покончить с традицией самоотвержения, и тут олять-таки приходил на помощь Ницше:

«Твердое сердце вложил Вotan в мою грудь», — говорится в древней скандинавской саге; в ней сказала душа гордых викингов. Такие люди гордятся именно тем, что они не созданы для сострадания. Герой саги предостерегает: «У кого смелоду сердце не твердо, у того оно не будет твердым никогда». Благородные и смелые, думающие таким образом, особенно далеки от той морали, которая возвеличивает сострадание, альтруизм, «незаинтересованность». Вера в себя, умение гордиться собою, враждебное и ироническое отношение ко всякому «самоотвержению», все это так же неотъемлемо относится к благородной морали, как и легкая пренебрежительность и осторожность по отношению ко всякому сочувствию, к «теплоте сердечной»...

Морали самоотвержения и сострадания противопоставлялся ницшеанский «иммориализм».

Труднее было дело с социалистической наукой и ее авторитетами. Всерьез превозмочь эту научную силу следовало бы при помощи науки же. Но это оказалось бессильным сделать «даже» Ницше. Не потому ли Ницше раздражался желчными сентенциями и столь необузданно давал исход своим антипатиям в памфлетах, афоризмах, парадоксах, что был способен к научному преодолению яростно ненавистного ему социализма, — к преодолению на путях исторического и экономического исследования? Бешеной слюной заплывывал Ницше народные массы, величал их не иначе, как «чернью», «стадом», и прибавлял в сердцах: «По-

бери их чорт и статистика!». Для филолога Ницше статистика была совсем недоступной чертовщиной. Чем менее был способен Ницше опровергнуть научный социализм, тем более сердился он. Не был ли его стиль маской научного бессилия? «Никто не лжет так, как человек негодующий», — не о себе ли самозванец сказал это Ницше? Но наша буржуазная молодежь была невзыскательна: она довольствовалась ницшеанской фразой. Что иное она могла противопоставить научному социализму?

Ницше имел в виду Маркса и колотил по... Сократу. Сократ оказывался не только главным виновником гибели греческой трагедии и упадка греческой культуры, но и родоначальником теоретического понимания мира. А оно-то, «сухое умствование» во имя добра, и привело, мол, к притуплению трагического мироощущения, к упадку и вырождению европейского человечества. Не истина и не искание ее нужны человеку, а свежая мощь инстинкта, влечений, аффектов, самоутверждение личности, воля к жизни и воля к власти. С гаерской ужимкой Ницше восклицает: «О, Вольтер! о, человечность! о, тупоумие! Истина, и с к а н и е истины чего-нибудь да стоят, и если человек при этом поступает слишком по-человечески, то-есть ищет истины только для того, чтобы делать добро, то держу пари, что он не найдет ничего!.. Это только нравственный предрассудок, будто истина имеет более точную, чем иллюзия...»

Избыточная игра сил, стихийный порыв, вакхическое клокотание, неостановимый и безудержный экстаз, — вот подлинная первооснова жизни. Она запечатлена в музыке, в трагическом искусстве, в культе Дионисия. Внесение гармонии, художественной формы и смысла в игру первичных сил есть уже более позднее «аполлоновское начало». Дионисий и Аполлон символизируют жизненную энергию и искусство. Им противопоставляется сократизм, как рассудочное умствование, теоретическое резонерство, угашающее стихийную свежесть и цельность жизненных порывов и притупляющее обаяние искусства. Ницше призывает к возрождению античного мира, к

освобождению от назойливого плена «современных идей» (эти два слова он неизменно саркастически оттеняет как вычками).

От выводов современной науки и теоретического мышления, от социалистических идей и общественных интересов найдено надежное убежище: мир искусства, художественной фантазии и безбрежного богатства иллюзий.

Но ведь это-то и было нужно, как хлеб насущный, нашим «европеизирующимся» молодым людям! Какое пошло запойное увлечение искусством, игрой в новаторство, в модернизм всевозможных толков. На «Капитал» Маркса отвечали рейнгардовской постановкой «Эдипа». И чувствовали себя почти что греками. Молодые люди бегали, запыхавшись, на «Эдипа»; спектакль ставился «по-гречески», в цирке; на вербованные на улице деклассированные статисты завывали «по Дионисию» (им было обещано за труды — «на водку»); зрительный зал созерцал «революцию в искусстве», а в антракте закусывали пирожками и говорили о древней Элладе. Так в цирке, где накануне один «чемпион мира» по всем правилам французской борьбы уложил на обе лопатки второго «чемпиона», сегодня выступали в единоборстве Дионисий с... Марксом. А легальные марксисты в легальных журналах с серьезной миной «анализировали» новые течения в искусстве, писали о культе Дионисия и о «распавшейся Психее». Не эпоха, а цирковой номер!

Я сказал, что обрусение Ницше было произведено при помощи Достоевского. По справедливости следовало бы упомянуть еще об Иловайском, том самом пресловутом Иловайском, по учебникам которого наша молодежь в гимназиях знакомилась с историей народов. Это была хронологическая цепь биографий древних мифических богов, князей, тиранов и временщиков, их советников и фаворитов, выдающихся полководцев, великих изобретателей, мировых корифеев науки и искусства; для самих народов уж и места не оставалось, они были только участниками завоевательных войн или плательщиками дани, если их князь и полководец вели несчастли-

вую войну; кроме того, делились на касты. Такую историю легко было понять и усвоить; трудно было только запоминать хронологические таблицы; их приходилось попросту вызубривать, как таблицу умножения. И когда Ницше развернул перед нашей молодежью свою концепцию истории, то ему приветливо закивали, как старому знакомому. До чего все соответствовало гимназическим навыкам мысли, было «в доску» своим — русским и иловайским! Те же великие люди и те же касты.

Уж в раннем своем творении — «Мыслители» — Ницше писал: «Как можно прославлять и возвеличивать народ только в его целом! Можно говорить лишь об отдельных личностях, — мысль, верная и по отношению к грекам. Греки интересны и беспримерно значительны именно тем, что они обладают таким множеством великих единиц... Меня интересует единственно роль народа в воспитании отдельной личности...» Позже Ницше писал: «Человечество как масса, принесенная в жертву процветанию отдельного, более сильного вида людей, — вот что было бы прогрессом». В своих «Афоризмах и интермедиях» («По ту сторону добра и зла») Ницше уже прямо заявляет: «Народ представляет собой обход, который делает природу для того, чтоб создать шесть-семь великих людей». Кто же эти великие люди, ради которых единственно и существуют народы? Мы узнаем их имена: Алкивиад, Цезарь, Наполеон... Ницше совпадает с Иловайским и становится вполне своим, русским.

Ницшеанское понимание истории было средни нашей мелкобуржуазной интеллигентской молодежи еще и по другой линии. Она, эта молодежь, обучалась не только в гимназии, но и в нелегальных эсеровских кружках, не только по Иловайскому, но и по Михайловскому. От последнего она научилась противопоставлять «толпе» — «героев» и без-умолку часами тараторить о роли личности в истории. Гимназия в целом была младшим подготовительным классом, эсеровские кружки — старшим подготовительным классом для того, чтобы в годы реакции, совпадавшие с годами первой

сознательной зрелости, без экзамена «перейти» в первый класс ницшеанства. Нужно ли удивляться тому, что именно эсеровская молодежь оказалась наиболее восприимчивой к идее «сверхчеловека», к философскому индивидуализму и аристократизму, к культуре Дионисия и Аполлона, что именно она была наиболее падкой к ницшеанской фразе.

Маркс в письме к Швейцеру писал: «Если Петр Великий победил варварством русское варварство, то Прудон, в свою очередь, победил фразой французскую фразу». С полным основанием можно продолжить эту мысль и сказать, что Ницше краснобайством своим победил эсеровское краснобайство, а аристократизмом своим значительно превзошел аристократизм обладателей тюремной салфетки. В известном смысле ницшеанский индивидуализм был последовательней и радикальней «субъективно-социологического» индивидуализма наших эсеров, притом радикальней в «истинно русском» смысле: «Коль рубить, так уж с плеча!» Если герой — так пусть уж сверхчеловек. Если толпа — так пусть уж стадо. И зачем герою служить толпе, когда толпа может служить и испокон века служила герою.

«Философ, — писал Ницше, — выдаст отчасти свой идеал, если выставит правило: тот должен быть самым великим, кто может быть самым одиноким, самым скрытым, удаляющимся от людей, человеком, стоящим по ту сторону добра и зла, господином своих добродетелей, до избытка богатым волей. Это-то и должно называться «величием»: иметь способность быть столь широким, как и полным».

Одиночество, скрытность и удаление от людей понималось интеллигентской публикой в те годы, как удаление от всякой общественной жизни, а избыток воли к власти — как избыток карьеристского усердия. Вчерашние гимназисты-эсеры становились сегодня, после первой революции, студентами-белоподкладчиками, с тем, чтобы завтра, после Октябрьской революции, стать законченными белогвардейцами, хотя бы даже с сохранением былого эсеровского краснобайства.

Быть человеком сильной фразы далеко еще не значит быть человеком сильной воли. «Суждены нам благие порывы», но... «среда заела». Хотели быть Алкивиадами, Цезарями и Наполеонами, ибо «все позволено», но вот кишка-то и не позволила: тонка выдалась. И тут опять-таки на помощь приходил Ницше, утирал неудачнику слезы: «Гениальность, быть может, не такое уж редкое явление, но редко бывают налицо те пятьсот рук, которые необходимы ей, чтоб овладеть нужным моментом, чтоб схватить случай за горло». И вот эсеровско-ницшеанский белоподкладочник, двоюродный дядя будущего юнкера-белогвардейца, думал свою думу: «Как знать, может быть, и мне, великому, не хватает этих пятисот рук, которые схватили бы фортуна за горло?»

Такой же точно российский «иммориалист» и «герой» Раскольников из «Преступления и наказания», твердо знавший, что ему, как и Наполеону, «все позволено», к сожалению, не знал крылатой фразы Ницше о пятистах рук, — он наверное тоже утешился бы на том.

Сравнение Раскольникова с эсером-ницшеанцем реакционных лет дает по меньшей мере ключ к уразумению несложной истины: много труднее зарезать старушку-ростовщицу, чем лишить невинности молодую гимназистку. Для этой последней задачи у нашего «героя» вполне хватало и воли к жизни, и воли к власти, — дело идет о лигах «свободной любви», расплывшихся в те годы в богатом изобилии по всем уголкам России.

Поразительно, но факт: лиги тоже «опирались» на учение Ницше: «В понятие «живого» входит необходимость роста, необходимость расширять свою силу и, следовательно, воспринимать в себя чужие силы». «Чего хочет человек, чего хочет всякая малейшая часть живого организма — это плюс жизни». И действительно: «малейшая часть живого организма» паки и паки хотела, и оттого являлось на свет божий великое множество «плюсов»: много эсеровско-ницшеанских младенчиков и — еще больше — тайных аборт. Так совершалось чудо:

фраза приводила к науке, хотя бы только гинекологической.

Мелкое мечтает о великом и возвышенном, трусливое — о волевом и воинственном, промежуточное и срединное — о цельном и совершенном. Но сии мечты — только «в груди» да в дионисиевских «стихах», да в «громокипящей» фразе, а в жизненной прозе чванливо надутый эгоцентризмом мелкий буржуа спускается вниз, как прохудившийся пузырь, и испускает зловоние. В жизни мелкий буржуа, упоенный рассказом Заратустры о трех превращениях (верблюд, лев, дитя), сам превращается сперва в мокрую курицу (литературный предтеча — Раскольников, с «надрывами», «терзаниями» и боженькой на сладкое), затем в блудливую кошку (лиги «свободной любви») и наконец — в белобандита. Вот весь его путь от Достоевского через Ницше к атаману Семенову — «кривая судьбы» целиком и полностью. И много ли проку в том, что жалкие и позорные свои дела мелкобуржуазные ничтожества «одухотворяют» словами Ницше, а иные ничтожанцы величают себя ницшеанцами.

13. Воля к вымыслу

Среди идеологов реакции Ницше несомненно был центральной фигурой. Другие «мастера идей» от него исходили и к нему возвращались. Фантом «вечного возвращения», который чудился горячечному мозгу Ницше, полностью реализовался в круговороте идей реакционной эпохи. Действительно, все начиналось Ницше и возвращалось к нему же. На языке прозы это означает только: топтание на месте или вращение в порочном кругу скудоумия.

Стоит ли сейчас, по прошествии четверти века, вновь разворачивать во всех оттенках и переходах ту многокрасочную радугу модернизма, которая вырисовывалась на нашем небе после революционной грозы 1905 года? Развернуть только затем, чтобы показать, как этот разноцветный спектр при движении времени сливается в единый цвет «белой идеи»? Я сомневаюсь, чтоб это нужно было предельвать сейчас во всех

подробностях. Вполне достаточно будет, если мы из всей богатой свиты Ницше выделим две наиболее одаренные и оригинальные фигуры — Оскар Уайльда и Леонида Андреева. Они были и популярнее других, и сильнее других электризовали умственную среду эпохи.

На смену двенадцати революционным партия 1905 г. явилось никак не менее дюжины реакционных идейных мод, и одной из сильнейших мод, сейчас же вслед за ницшеанством, был уайльдизм. Уайльдист был сделан из того же классового теста, что и ницшеанец, только был, пожалуй, несколько субтильней и мечтательней, имел голубые глаза, отсутствующий вид, длинные, тонкие пальцы, одевался «художественно», читал стихи «особенно», знал наизусть многое множество пустяков. Карьеризм был конечно и тут, но к цели шли несколько иными путями. Финиш надо было взять оригинальностью ума, утонченностью эстетического вкуса.

В выборе той или иной идейной моды выдающуюся роль играла часто профессия. Будущему инженеру или врачу все незачем было становиться уайльдистом. Это было несравненно более «к лицу» филологу или человеку искусства, хотя бы то был только театральный рецензент в маленькой провинции, — он подписывался «Петроний», «Arbitr elegantiorum», никак не менее того! Был «оригинален», «парадоксален», вообще «неожидан»... И ничего, помогало! Обеспечивало успех у женщин и успех в профессии, — чего же более!

Если перешагнуть через различие профессий и тем более ничтожное различие «психо-физического типа», то уайльдист был сродни ницшеанцу в такой же мере, как сродни были и сами вожди.

Ницше писал: «Это только нравственный предрассудок, будто истина имеет более цены, чем иллюзия». В другом месте читаем: «Даже посреди чрезвычайных переживаний мы измышляем большую часть переживаний, и нас трудно заставить не смотреть на него глазами изобретателя его... С самого начала, с незапамятных времен мы привыкли к ложжи... В нас

гораздо более творчества, чем принято думать». Таких сентенций можно привести из Ницше дюжины. Они не случайны, они целиком коренятся в самой его теории познания.

Ницше отрицает закономерность природы и по этому вопросу высмеивает физиков от имени... филологии: «Всегда может явиться кто-либо другой с противоположными намерениями и искусством толкования и... будет утверждать об этом мире то же, что утверждаете вы, а именно, что он имеет свое «необходимое» и «вычислимое» течение, но не потому, что в нем законы царят, а потому, что законы абсолютно отсутствуют». Ницше протестует против «господствующей механической нелепости», которая овеществляет причину и действие, меж тем как они являются только «условными фикциями», ничего не объясняющими: «Никакой закон не управляет. Мы одни только выдумали причины, последовательность, соотношения, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основания, цель. И когда мы этот мир знаков применяем как нечто существующее «в себе» к вещам, то мы тут... опираемся на мифологию».

Зачем же люди стали выдумывать причины, законы и прочее? Все сводится к «воле», от нее все качества. «Несвободная воля,—восклицает Ницше,—мифология! В действительной жизни говорят о сильной и слабой воле».

Люди слабой воли (преимущественно, повидимому, естествоиспытатели) «чувствуют нечто вроде принуждения» и потому постулируют законы и «несвободу воли» и прикрывают это «привлекательной маской социалистического сострадания», а люди сильной воли (преимущественно, повидимому, филологи во главе с самим Ницше) отрицают законы и сами законодательно утверждают свободу воли, ее творческую мощь. Это не шарж, а сама подлинная сущность мысли Ницше. Интересующимся рекомендую прочесть §§ 21 и 22 «Jenseits von Gut und Böse».

Естественно возникает вопрос: что же собственно проповедует Ницше: волю к жизни и власти или волю к фик-

ции и мифу? Оказывается, что воля к власти именно и предопределяет волю к фикции. Даже логический закон тождества является вторичным и подчиненным суверенной и законодательной воле к власти. В мире нет тождества, ни абсолютного, ни относительного, и только человек пользуется этой фикцией, чтоб подчинить себе природу. В «Wille zur Macht» мы читаем: «Принудительность в образовании понятий, родов, форм, целей, законов («мир тождественных явлений») не должно понимать в том смысле, будто благодаря этому мы в состоянии установить истинный мир. Нет, дело идет только о том, чтоб устроить себе мир, который поддается для нас учету, упрощению, истолкованию и т. д. Почему же все люди, и в том числе суверенные личности с мощной волей, оригинальные, не похожие на других, уединенные, кандидаты в «сверхчеловеки», живущие свободным творчеством и не терпящие никакого принуждения и трафарета, вынуждены пользоваться одними и теми же принудительными и трафаретными «знаками», — этот вопрос так и остается невыясненным. Зато совершенно ясно, что метафизическая воля к власти оборачивается гносеологической волей к вымыслу.

У Оскар Уайльда воля к вымыслу становится уже основным мотивом всего мировоззрения. Художественному творчеству приписывается большая достоверность, чем реальным фактам, ложь ставится выше истины. Вместе с Ницше Оскар Уайльд поклоняется культу Дионисия и Аполлона, но только богов этих называет попросту искусством; вместе с Ницше отвергает сократизм, но называет его реализмом. Нужно раз навсегда отказаться от реализма. «И когда день этот наступит, — какую радостью преисполнятся все. Факты будут признаны не заслуживающими доверия. Истина будет плакать в оковах, а вымысел со своими настроениями и всеми чудесами властно возвратится на землю. Перед нашими изумленными глазами все изменится!»

Искусство, по мнению Уайльда, должно быть ирреально. Не копировать

действительность должно искусство, а в свободном акте творчества создавать для нее идеальные образцы. «Ни один великий художник никогда не видит вещей, как они есть в действительности. Если он делает это, то перестает быть художником... Искусство находит свое собственное совершенство в себе самом, а не в окружающем мире. К искусству нельзя подходить с меркой того, насколько оно похоже на действительность. Оно скорее покрывало, чем зеркало. В распоряжении искусства — цветы, которые не растут ни в одном лесу, и птицы, которые нигде не водятся. Искусство творит и разрушает миры... В глазах искусства природа не имеет ни однообразия, ни законов. Искусство по своей воле творит чудеса, и, когда оно вызывает чудовищ из глубины, те послушно являются на зов... Великий художник выдумывает тип, а жизнь потом копирует его и воспроизводит в общедоступной форме. Жизнь в данном случае поступает, как предприимчивый издатель, выпускающий в дешевом издании великое произведение. Ни Гольбейн ни Ван-Дейк не нашли в Англии те типы, которые дали. Художники привезли с собой в голове свои типы, а жизнь снабдила Гольбейна и Ван-Дейка подходящими моделями».

Можно только изумляться, зачем великим художникам понадобились еще модели, к тому же «подходящие». При столь свободной игре фантазии им ничего бы не стоило изобрести модели и «понести» их в жизнь. Уродливые женщины и ранее всего пожилые аристократки уайльдовского круга смотрели бы на эти модели и перевоплощались в рафаэлевских красавиц. Или их взыскательный вкус не позволил бы им быть всего только «дешевым изданием великого произведения?»

В защиту своего парадокса Уайльд не устает подбирать разнообразнейшие примеры. Вот поехал талантливый английский художник в Японию, много рисовал там с натуры, а затем устроил выставку своих картин и — представьте! — там не оказалось ничего истинно японского. «Произошло это, — пишет

Уайльд, — потому, что художник не знал, что японский народ это только стиль, изящный каприз искусства. Итак, если вы желаете видеть Японию, не будьте туристом и не ездите в Токио. Напротив. Оставайтесь дома и изучайте произведения японских художников. И когда вы усвоите их стиль и схватите их манеру видеть предметы, отправляйтесь в парк или в Пикадилли. И если вы там не увидите японских эффектов, то не заметите их уже нигде!.. В сущности, вся Япония выдумана художниками. Такого народа в действительности не существует».

И если, прочитав это, вы хотите на голос, то Уайльд с невозмутимостью комика разъясняет: «Важны не красивые действия, а красивые слова».

Также и в понимании истории Уайльд во многом совпадает с Ницше, с той, пожалуй, разницей, что иные ницшеанские положения в уайльдовских парадоксах доведены до наглядного абсурда. Живая история человечества становится историей мифов и выдуманных теней, жизнь выводится из искусства, а действия — из слов. На голову поставлена не только человеческая история, но и происхождение мифов. Непонятой остается та простая истина, что вне социальных отношений вовсе нет ни истории людей, ни истории идей. А это нежелание понимать социальные отношения, глухота к ним ведь и есть невежественная реакционность, которая так роднит между собой обоих вождей реакционной эпохи.

Чтобы спрятать свое уродство, его приписывают другим людям. На всех «других» Ницше сетует так: «Уши современного человека остаются глухими к тем истинам, нашим истинам, которые мы уже неоднократно высказывали... Нам, применяющим по отношению к человеку «современного образа мыслей» такие выражения, как «стадо», «стадные инстинкты», это будет несомненно поставлено даже в вину. Что же делать? Мы не можем иначе: в этом и заключается наша новая точка зрения...»

С «новой точки зрения», согласно которой научная мысль глуха, а совер-

шенным музыкальным слухом (к дионисиевскому клокотанию волн) одарен один Ницше, исторические факты извращены и даже попросту выдуманы. Так например: «Французская революция была страшным и, при ближайшем рассмотрении, ненужным фарсом, к которому однако благородные и восторженные зрители всей Европы издали так долго и так страстно применяли свои толкования, собственные чувства негодования и пылкого увлечения, — пока текст не исчез под толкованием. Таким образом, благородное потомство могло еще раз ложно понять все прошлое и, вследствие этого, только перенести его зрелище».

Мысль Ницше с воодушевлением подхватывает Уайльд:

«Историю, — восклицает он, — необходимо переписать заново!..»

Все, что мы доподлинно знаем о прошлом и ценим в нем, это его стиль, созданный художниками. Остальное скучно, серо и недостойно внимания. Не текст важен, а художественное истолкование:

«Афинские женщины совсем не были похожи на благородные фигуры, украшающие фриз Парфенона, или на богинь, восседающих у подножия того же здания. Стоит перечесть Аристофана, чтобы убедиться в этом. Вы увидите, что афинянки так же шнуровались, носили такие же высокие каблуки, так же красили волосы и румянили щеки, как современные модные дамы и проститутки... Средние века, как мы их знаем в искусстве, являются только формой стиля... Деятнадцатый век, как мы его знаем, выдуман в значительной степени Бальзаком... Шопенгауэр анализировал пессимизм, характеризующий современное настроение, но придумал эту философскую доктрину Гамлет. Мир стал печален потому, что художник придумал меланхолическую игрушку. Нигилист, этот страшный мученик, не имеющий веры, идущий на эшафот без энтузиазма и умирающий за то, во что не верует, — чисто литературный продукт. Нигилист придуман Тургеневым и дополнен Достоевским. Робеспьер сошел со страниц писаний Руссо... Литература

не копирует жизнь, но отликает ее по собственной форме...»

Уайльд, как и Ницше, превыше всего ставит личность и «аристократию духа». Внимания заслуживают только «избранные умы», «избранные натуры», «великие художники», люди «изысканного вкуса», «утонченные ценители». Только они создают художественные ценности, то-есть единственно живые существа. Даже эпос Уайльд приписывает отдельной личности: «Чем больше мы изучаем жизнь и литературу, тем сильнее чувствуем, что позади всего чудесного стоит индивидуальность человека... Я склонен думать, что каждый миф и каждое предание, являющиеся будто бы созданием целого народа, придуманы отдельным человеком... Каждый может делать историю, но только великие люди могут писать ее... Действовать всегда очень легко... Действие человека ограничено и относительно. Неограниченна и абсолютна лишь фантазия одинокого мечтателя».

Вместе с Ницше Уайльд зовет к уединению, к уходу от жизни, но у Уайльда мотивы отчетливей. Жизнь слишком реальна, а стало быть, несовершенна. В жизни преобладает «грубая толпа, от которой воняет чесноком и грубым табаком», — люди с «неизящным горем».

«Жизнь, — говорит Уайльд, — крайне несовершенна по своей форме. Катастрофы в ней случаются не так, как следует, и не с теми людьми, которые того заслуживают. Комедии ее ужасны, а трагедии часто переходят в фарс... Жизнь заставляет нас платить слишком высокую цену за свои товары. Самую ничтожную тайну ее мы приобретаем за чудовищную цену... Только одним искусством мы можем закрыться от опасностей действительной жизни... Искусство мудрее нас... Оно уводит нас от окружающего, красота которого затемнена вульгарностью, а уродливость которого не дает нам совершенствоваться. Искусство помогает нам покинуть век, в котором мы родились, перейти в другие века и, тем не менее, чувствовать себя там в родной атмосфере».

Этот ход мыслей невольно вызывает в памяти — по разительности кон-

траста — крылатые слова Маркса: «Философы лишь различным образом об'ясняли мир, но дело в том, чтобы изменить его». Аристократ и эстет Уайльд и не думает изменять этот несовершенный мир; ему скучно даже изучать и об'яснять его тайны («слишком высокая цена»). Куда дешевле закрыться от реальной жизни, уйти в царство фантазии и об'явить это царство единственно и подлинно живым.

Отодвинуть в далекий, темный угол реальность вещей и разыграть вымысел, как живое существо, Уайльд и пытается в своем наиболее крупном художественном произведении — «Портрете Дориана Грея».

Дориан Грей — светский юноша, аристократ ослепительной красоты и помрачительных пороков. Рядом с Дорианом — неодушевленное действующее лицо: его портрет. Дориан прожигает жизнь, грешит и утонченно, и низменно, с художественной непринужденностью, как придется. Но ни годы, ни пороки не отражаются на его лице, попрежнему юношески молодом, благородном, одухотворенно красивом. Только на портрете Дориана Грея, заброшенном на чердак, деформируется прекрасное лицо: стареет, покрывается морщинами и рубцами, несет на себе печать всех пороков Дориана. Так они живут рядом — человек и его портрет. Дориана Грея сдает тайная и мучительная страсть: смотреться в свой портрет, как в зеркало, как бы щупать пульс своего старения, подводить баланс своим порокам. Портрет становится все более ужасным и душит кошмаром молодого красавца. В припадке бешенства Дориан заносит нож над портретом, продырявливает холст и... падает замертво, уродливый и старый, каким он был на портрете, а на портете теперь сияет красотой молодой Дориан. Так происходит двойное чудо: Дориан Грей и его портрет вновь меняются ролями.

Замысел повести типично уайльдовский: «Великие произведения искусства — живые существа, точнее, они — единственные существа, обладающие жизнью». Качествами единственно живого существа наделен поэтический вы-

мысел: неизменно молодой и прекрасный Дориан Грей. Вульгарная действительность низведена в чине: она — только неодушевленный холст. Как оно и полагается по Уайльду, «мертвая» действительность (холст) копирует живую душу художественного произведения — душевные состояния Дориана Грея.

Идеальный образ дан в отрыве от материальной оболочки и притом в переди нее: свобода торжествует над необходимостью, фантазия — над действительностью. И только в момент распада свободы побеждает материальное и торжествующе смотрит сверху вниз на побежденную свободу. Дориан как бы наказан за то, что не до конца освободился от интереса к реальному. Когда он, под гипнозом действительности, теряет самообладание и заносит руку для борьбы с нею, то сам же падает жертвой. Мораль вполне библейская: не оборачивайся в сторону Содомы и Гоморры, не то превратишься в соляной столб.

Эстетно-легкая и дешевая мораль Уайльда пришлась по вкусу нашей мелкобуржуазной интеллигенции. Уф, с души отлегло, облегчало; незачем лезть в революцию и изменять несовершенства жизни, как учил Маркс; сейчас можно вволю заняться самосовершенствованием при помощи искусства и перебросить мост от Психеи Луначарского к Саломее Уайльда. Вообще будем, как греки.

Интеллигентское самопожертвование — устаревшая нудь. Это показал уже Ницше и с такой же убедительностью доказывает Уайльд: «Самоотречение есть метод, которым человек задерживает свой прогресс, а самопожертвование — пережиток того времени, когда дикарь калечил себя, думая этим угодить своему идолу; самопожертвование — отзвук преклонения перед страданием, которое является таким ужасным фактором в истории человечества».

Зато как сладостен грех, который проповедуют, опять-таки в один голос, Ницше и Уайльд: «То, что люди называют грехом, — пишет Уайльд, — является существенным элементом прогресса.

Без греха мир застоялся бы, состарился или обесцветился. Грех своим любопытством увеличивает опыт нации. Своим интенсивным индивидуализмом он спасает нас от монотонности. Отвергая ходячие понятия о нравственности, грех ведет нас к высшей этике. Природе нет никакого дела до целомудрия. Одно существование совести, которой так гордятся теперь, есть признак нашего несовершенного развития».

И молодежь (через лиги «свободной любви» и без оных) увеличивала свой половой опыт. Интенсивный индивидуализм, и никакого целомудрия! Туда же — собаке под хвост — и бывшие традиции, и позу самопожертвования, «служение народу», совесть — все, что «устарело» при Столыпине.

14. Ларчик ужасов

Если б надо было дать самую сжатую, самую общую характеристику андреевского мироощущения, то этого нельзя было бы сделать выразительней, как повторив слова Уайльда: «Жизнь крайне несовершенна... Катастрофы в ней случаются не так, как следует, и не с теми людьми, которые того заслуживают. Комедии ее ужасны, а трагедии переходят в фарс». Но Уайльд отворачивается от хаоса действительности и ищет другие темы, а Андреев припадает к хаосу, и самое утрировку эту делает овоей единственной темой.

Вспомните по порядку все рассказы, повести, пьесы Андреева или полистайте вновь полное собрание его сочинений, и перед вами пройдет непрерывная цепь бессмысленных смертей, убийств, самоубийств, сумасшествий, изнасилований. Драмы, катастрофы, кошмары: «Бездна» и «Тьма», «Черные маски» и «Красный смех», «Жизнь Василия Фивейского» и «Сын человеческий».

Посмотрите, как скромнен был в средствах признанный пророк пессимизма Шопенгауэр: «Если каждому человеку, — писал он, — показать страшные боли и мучения, которым его жизнь непрерывно подвергается, то его охватит ужас. И если закоренелого оптимиста

провести через больницы, лазареты и залы хирургических пыток, через тюрьмы, застенки и становья рабов, через поля битв и мимо эшафотов, затем раскрыть пред ним все мрачные трущобы нищеты, где она ютится, скрываясь от холодного любопытства, и под конец дать ему заглянуть в башню голода Угдино, то он вынужден будет признать, чего стоит этот «лучший из миров».

Все предусмотренные Шопенгауэром средства для внушения пессимизма Андреев добросовестнейше использовал. Лазареты и больницы (притом для умалишенных) проходят в «Моих записках», «Мысли», «Призраках»; тюрьмы, застенки, эшафоты — в «Рассказе о семи повешенных»; поля битв — в «Красном смехе»; трущобы (разврата) — в «Тьме»; башня голода — в «Царе Голоде». Может ли Андреев довольствоваться этим? Он «выполняет и перевыполняет» план Шопенгауэра. Сверх плана он видит (и описывает) драмы среди самого благополучия, проникает под черепную коробку живого человека, где «копашатся черви». Всюду видит он роковую нелепость, все случается невпопад, уродства жизни преувеличены до карикатуры, комедии... «ужасны, а трагедии переходят в фарс...»

Террориста преследует полиция, ему грозит смертная казнь. Куда же укрыться «бомбисту», как не в публичный дом! Между целомудренным и проституткой — разговоры о добре и зле, он ей целует руку, она ему отвечает пощечиной, зачем-то он отдает свой браунинг и пьет коньяк стаканами; фарс тянется длительно и нудно, пока не является полиция, и террориста ведут на смерть. На маленькой глухой станции поп на запасном пути находит паровоз, влезает на площадку, дергает ручку и с грохотом мчится навстречу смерти. Вышли погулять в лес двое влюбленных, на них нападают хулиганы, его избивают, а ее насилюют. Придя в себя, молодой человек находит свою возлюбленную нагой и без чувств и сам ее насилюет. Человек сходит с ума, потому что долго симулировал сумасшествие. Щенок сходит с ума, потому

что его посадили перед граммофоном. И так далее без конца.

На человека наступает нечто дикое, стихийное, первозданный хаос, Некто в сером, сам рок. Упрятаться некуда, выхода нет и не может быть, — иначе кончилась бы андреевская тема. Страшно должно быть во что бы то ни стало: этого требует сама андреевская воля к вымыслу. И Андреев не скупится на бутафорские громы, на громкие эпитеты, на устрашающие трюки.

Вот излюбленный стиль Андреева:

«... безумие и ужас!» «В городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны». («Красный смех».) «Над жизнью Василия Фивейского тяготеет суровой и загадочной рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезни и горя». «Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всею гигантской массой падают на потрясенную землю — в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного, клубящегося хаоса...» и т. д. («Жизнь Василия Фивейского».) «Чувство было одно — огромное, властное, всепроникающее, всепобеждающее чувство, в силе своей и равнодушии к словам подобное самой смерти. Рожденное во тьме, само по себе неисследимая тьма, оно царило торжественно и грозно». («Губернатор».) «Гремит, грохочет, уставилось бельмами циферблатов, охватило железом и несет куда-то, несет. Вот снова метнулся красный флаг, как язык огня, — значит, опасность, значит, страшно, впереди — страшно. Конец». («Неосторожность».)

Конец, светопреставление, рушится мир. И опять неволью вспоминаешь Шопенгауэра: «Взгляните на ужасную тревогу и дикий переполох, какие охватывают существо, когда оно должно лишиться бытия хотя бы только одной единственной своей стороны, особенно если то происходит при полном сознании. Это выглядит не иначе, как если бы вместе с этой единственной стороной данного существа погибал весь мир...»

Вот что происходит с героями Андреева и с ним самим. Он хочет простре-

лянной своей рукой написать на стене: «Мене, текель, фарес» — знак обреченности. На всю свою жизнь он перепуган первой революцией и страшится надвигающейся последней революции, которая несет смерть его классу и физическую смерть ему самому. Все творчество Андреева — сигнал смертельной тревоги. Поledние его писания — «Гибель России» и «SOS», переданное из Финляндии по радио всему миру накануне смерти писателя. «SOS» — тонем! Спасите наши души! — и Андреев утонул в собственной крови от разрыва сердца, того самого сердца, которое он чувствовал счетчиком в груди, ведущим скупой счет оставшимся до смерти годам и дням. SOS и есть европейская транскрипция азиатского «Мене, текель, фарес». Всю свою жизнь писал Андреев эти знаки — с тем, что бы в посмертном произведении назвать их по имени.

Самые страшные слова и драмы казались Андрееву недостаточными, и он ввел свои новые искусственные драматические эффекты: истукана в сером, взвизгивающих и трескливо смеющихся старух, электрические лампочки ская транскрипция азиатского «мене, которые автоматически зажигаются, когда пользуются женщиной как вещью, — на равных правах с лампочкой.

Эффекты были нужны для внушения страха другим. Сам Андреев уже вдосталь напуган «грядущим хамом», по крылатому слову Мережковского. Восставший «хам» в андреевском «Царе Голоде» сжигает картины Мурильо, Беласкеса, Рубенса, уничтожает книги, и Андреев исполнен «новым неизведанным ужасом». Впрочем, в ту пору революционная масса внушала ужас не одному только Андрееву или Мережковскому. Вспомним «Вежи», слова Сергеева-Ценского о массе «в лохмотьях, пахнущей потом и горем», слова арцыбашевского Санина о «несносном запахе крестьянского тулупа», слова Уайльда о «грубой толпе, от которой воняет чесноком и грубым табаком», слова Ницше о «вони плебейского мелкого люда», о «стаде».

Страдало утонченное обоняние, и было страшно от предчувствия надвигающейся беды, смертельно страшно. «Когда, слушая далекие стоны, пил немец горячий чай с вареньем, то думал, что нет на свете ничего страшнее, как вкус горячего чая и варенья из черной смородины». Но жизнь до краев переполнена стонами не одного только разорившегося купца Ипатова, и барометрически чувствительный представитель своего класса, Андреев не может уж спокойно пить свой чай с вареньем. Он хочет уединиться, но хаос жизни настигает его и в самой пустоте одиночества, серый неумолимый рок подкарауливает в каждом углу: «Я увидел стул в пустой комнате, самый простой стул — и вдруг мне стало так страшно, что я закричал».

Главным пугалом был Некто в сером — причина всех катастроф. Ему противостоял символический «Человек» на которого и сыпались беды, которого и одолевали кошмары.

Кого надо понимать под Некто в сером и кого — под «Человеком»? Некто в сером — слепая, страшная, непобедимая сила. Это — самодержавие, которого не одолеть буржуазии без помощи народа. Это — народ, «грядущий хам», которого не одолеть буржуазии даже при помощи самодержавия. А «Человек» — образ и подобие породившего его класса, то есть символ буржуазии, которая побеждена в прошлом самодержавием и которую ждет в недалеком будущем страшное поражение со стороны вооруженного народа.

На историческом перевале, меж двух великих поражений, буржуа, помимо того, подвержен всевозможным текущим опасностям — каждый день и каждый час. Вы читаете: «Вдруг произошло необыкновенное и поистине страшное, не имеющее разумного объяснения», и, утомленный бесконечной вереницей андреевских спецужасов, вы с раздражением спрашиваете: «Ну что еще стряслось там? Какая очередная апокалиптическая буря в стакане?» И оказывается: разорился купец Ипатов. Собственно, не очень уж разорился Ипатов, домина у него осталась собственный, двухэтажный

и 15 тысяч рублей золотом. Но Ипатов не мог успокоиться и 13 лет (тринадцатый!) день и ночь выл благим матом. И то спасибо, что не 33 года, как оно и полагается былинному богатырю.

Не найден ли тут ключ ко всем андреевским страхам? Дело вовсе не в отвлеченном человеке и не в слепом роке. 905-й год насмерть перепугал русского буржуа. Вспомним истерический визг Гершензона в 1909 г. о народе: «Бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной». Но нет! Штыки и тюрьмы надолго не оградят, — с каждым годом это становилось яснее. Тупое и бездарное самодержавие не в состоянии было приспособиться к капитализму хотя бы по германским образцам. И тревога в лагере буржуазии росла все больше.

Еще в 80-х годах прошлого века, в эпоху реакции в России, Ницше писал: «Сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в громадном срединном царстве, где Европа как бы возвращается в Азию, — в России. Там сила хотеть давно уже откладывалась и накоплялась, там воля ждет, — неизвестно, воля отрицания или воля утверждения, — ждет угрожающим образом того, чтобы, по любимому выражению нынешних физиков, освободиться». («По ту сторону добра и зла»).

Кто же в России в реакционный период после 1906 г. мог сомневаться в том, что эта подлинно могучая народная энергия еще не «освободилась», что 905-й год был только первой решительной пробой сил, что впереди еще — грозный, небывалый в истории человечества взрыв.

Ни временное экономическое процветание, ни хваленые царские «штыки и тюрьмы» не могли дать буржуазии ощущения действительно прочной стабильности, уверенности, спокойствия. Наиболее чувствительные натуры в среде буржуазии, потрясенные сценами японской войны и первой революции, были выведены из состояния душевного равновесия. Именно страх перед неизбежным грядущим крахом породил, с одной

стороны, истерические припадки «жизнелюбия» и... сластолюбия, невоздержанные кутежи, пикники, будто перед чумой, а с другой — настроения пессимизма, упадка и, казалось тогда многим, беспричинного страха. Источник этих настроений не всегда был осознан, — отсюда андреевский мистический туман: «кто-то», «что-то», «где-то», «некто», «ненследимая тьма» и т. п.

Среди чувствительных натур буржуазии, охваченных приступами пессимизма, мрачными предчувствиями недоброго конца, Андреев был первым из первых...

Тут с гневными опровержениями автора выскочит интеллигент старой школы:

«Одно из двух, — скажет он, — либо Андреев в своем творчестве глубоко индивидуален, как полагаем мы, либо он выражает чувства своего класса, насмерть перепуганного перспективой грядущей революции, как пытаетесь уверить вы. Если он раскрывает свое глубоко индивидуальное мироощущение, то класс здесь не при чем. Если же он выражает чувства своего класса (наряду с другими писателями той же эпохи и того же класса), то он должен совпадать с ними, а не стоять столь одиноко и в столь разительном противоречии со всеми остальными».

Что возразить на это, кроме изумленного восклицания, каждый раз вновь и вновь вырывающегося, когда соприкасаешься с «умственной линией» старой буржуазной интеллигенции и с собственными своими прежними мыслями:

— Какое отсутствие диалектики!

Андреев бесспорно был самобытным и глубоко индивидуальным явлением в нашей литературе. Как и всякая индивидуальность, он не совпадал с обществом, был только мельчайшей его частицей, находился с ним в противоречии части и целого. Как индивидуальность яркая, отмеченная высоким дарованием, он находился в подчеркнутом противоречии с целым (обществом), но вместе с тем был особенно яркой частью этого целого. Он выступает перед нами в двух качествах: как общество и как необщество. Однако в процессе творчества, то-есть в движе-

нии мысли, он как писатель выполняет общественную функцию и раскрывает заложенные в нем возможности общества, точнее — класса. Психологические особенности писателя не мешают ему быть выразителем идей и чувств своего класса, а, напротив того, именно помогают ему с тем большей резкостью выявить одну из сторон идей и чувств своего класса.

В частности Андреев страдал, видимо, невыявленной до конца манией преследования, и это недозревшее до патологии состояние переключил в художественное творчество, впряг в телегу и эксплуатировал, как коня. Отсюда страхи — андреевский «конек». «Конек» и помогал с тем большей яркостью выразить инстинктивное беспокойство буржуазного общества в ожидании надвигающейся социальной революции. Навязчивая идея Андреева не дозрела до сумасшествия, но была вполне зрела, чтоб отразить «сумасшедшинку» перепуганного буржуазного общества после 1905 г. Само собою разумеется, буржуа не предавался страху 24 часа в сутки. Только моментами щемило предчувствие. В остальное время он хотел вдосталь насладиться всеми благами жизни, а «хорошие дела» (материальные отношения) давали ему к тому полную возможность. Другие настроения буржуазии выражали другие модные художники того времени: их было немало. Андреев отобразил преимущественно одну сторону буржуазного мироощущения своего времени, но отражал с большой силой, взвинчивая эмоцию на большую высоту. И каждое его выступление воспринималось как событие, производило мощный разряд, рождало перекатывающуюся волну откликов, отзвучив, одобрения.

Находился ли Андреев в противоречии с другими идеологами своего класса и своей эпохи? Да, находился. Но лишь настолько, насколько тенор противоречит басу. С обычной для Андреева утрировкой он делает музыкантов в пьесе «Жизнь Человека» похожими на их инструменты. Контрабас, виолончель, скрипка, флейта — уже не только раз-

ные инструменты; это — разные психологические типы, разные виды «взятия жизни». И, несмотря на столь противоречивые индивидуальные отклонения, они играют один и тот же мотив. Да, мотив этот дисгармоничен, как дисгармонична душа Андреева, как дисгармонична вся эпоха реакции, выразителем которой он был, как внутренне противоречиво классовое сознание мелкой буржуазии, для которой запевалой-тенором и служил Андреев в те годы.

15. Мещанин и его герой

Что при всей своей особенности и односторонности Андреев имел ухо и к другим «напевам» своего класса и эпохи, мы увидим еще во втором томе «Записок», где я расскажу о тесном личном общении с Андреевым как с моим редактором и учителем стиля в бурные предоктябрьские месяцы 1917 г. Там мы познакомимся с Андреевым как с политиком, как с выразителем политических настроений буржуазии непосредственно перед октябрьской развязкой. Но и на художественном поприще он был публицистом. Литературному успеху Андреева в значительной мере способствовала именно эта публицистическая нота. В произведениях писателя широкую публику привлекала новизна открываемых им «миров». Каждая постановка андреевской пьесы была вместе с тем постановкой новой проблемы, каждая большая повесть — новым словом. В действительности однако проблематика Андреева была совсем не нова и не оригинальна; была не «текстом», а «толкованием», притом «толкованием» идей, уже и без него распространенных, ходовых, модных в ту пору.

Все вращалось в кругу проблем, выдвинутых Достоевским и Толстым, Шопенгауэром и Ницше. Выдающееся место занимали: ницшеанская «переоценка ценностей», «углубленная» им мораль, духовный «аристократизм», идея «сверхчеловека». Но Андреев обладал даром выдавать старые вещи за новые, внушать читателю и зрителю впечатление новизны, гипнотизировать его свежестью тона.

В чем секрет успеха андреевской об-разной публицистики? В его стиле. В письмах Маркса мы находим поразительную по меткости характеристику прудоновского стиля, и ее уместно вспомнить применительно к Андрееву: «Стиль этой работы Прудона (речь идет о книге «Что такое собственность») обладает, если можно так выразиться, сильной мускулатурой. Главным ее достоинством я считаю именно стиль. Заметно, что здесь даже то, что Прудон повторяет, он открывает самостоятельно, и все, что он говорит, для него ново и кажется ему таким. Возвышающая смелость, с которой он заносит руку над экономическим «святое святых», остроумные парадоксы, с которыми он высмеивает пошлый буржуазный здравый смысл, уничтожающая критика, горькая ирония, проглядывающая то тут, то там, глубокое и искреннее чувство возмущения против позорных сторон существующего порядка вещей, революционный дух — все это электризовало читателей книги «Что такое собственность» и дало сильный толчок их мысли при первом ее появлении в свет. В строго научной истории политической экономии последняя едва заслуживала бы упоминания. Но такого рода сенсационные произведения играют такую же роль в истории науки, как и в истории изящной литературы. Возьмите например книгу Мальтуса «О народонаселении». В первом издании это было не что иное, как «сенсационный памфлет» и вдобавок — плагиат с начала до конца. Однако же какой толчок дал этот пасквиль на человеческий род».

Обратимся теперь к Андрееву. Вспомним исключительный, сенсационный успех его «Иуды Искарриота». Иуда предает Христа вовсе не за тридцать серебряников, а единственно затем, чтобы утвердилась истина Христа через испытание и кровь. «Зерно, которое не умрет, останется одно; умершее — принесет плод». Трагически углубленный Иуда противопоставляется ограниченному и благополучному Фоме. Иуда знает, что только через распад можно притти к утверждению, Фома берет вещи на пло-

скости. Иуда выше не только Фомы, но и Христа: его правда идет через зло.

Зло как путь к добру, как само добро. Но ведь это целиком ницшеанская идея. Не кто иной, как Заратустра, проповедывал на базарной площади: «Поистине человек — грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в свои обильные воды грязный поток и не загрязниться.. Сверхчеловек — то море, в котором может потонуть ваше великое презрение...»

Ницше был против христианства и революционно-критической науки, которую он почему-то «выводил» из христианства, а за новый «смысл земли» — за сверхчеловека. Андреев персонифицирует христианство — и заодно недоверчивую критическую мысль — в лице Фомы Неверного, а сверхчеловека — в лице Иуды. Фома Неверный ограничен и плосок; сверхчеловек Иуда глубок и трагичен.

Коренную противоположность этих обоих своих героев Леонид Андреев характеризует так:

«Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его (Фому) глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

— Какой ты глупый, Фома!.. Ты что видишь во сне: дерево, стену, осл?

... Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грёзам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп».

Замысел «Иуды Искарриота» столько же заимствован у Ницше, сколько и у Достоевского. Это Достоевский ввел в нашу художественную литературу «хорошую традицию» изображать проститутку святой. Андреев приобщает к лику святых предателя и рядом с Сонечкой Мармеладовой ставит Иуду Искарриота.

Что Достоевского Андреев изучал пристально, не подлежит сомнению.

Знал ли он толком Шопенгауэра и Ницше? Подозреваю, что знакомство было только «шапочное». Горький утверждает, что «читать Леонид Андреев не любил» и что «запас его знаний был страшно беден». Таково же было и мое впечатление в 1917 г. Как это ни парадоксально звучит, но недочеты в знаниях Андреева, особенно философских, как и недочеты в здравьи, помогли ему в творчестве. Вместо цельного знания было разорванное, вместо сплошной линии — пунктирная наметка. Безо всякого знания Шопенгауэра и Ницше Андреев не в состоянии был бы построить свою художественную философию, но именно отрывочность этих знаний давала простор его самостоятельной изобретательской мысли. Он сам, собственным творчеством соединял отдаленные друг от друга точки пунктира, сам выводил сплошную линию. Повторяя на столь своеобразный манер чужие мысли, Андреев не мог послать себе упрека в плагиате, — ведь он изобретал! Эта иллюзия открывания Америки (хоть Америки те давно открыты) сообщала его «переоценкам ценностей» большую свежесть. Вот почему Леонид Андреев, как и Прудон, «даже то, что повторяет, открывает самостоятельно, и все, что говорит, для него ново и кажется ему таким». И не только ему самому, — то же самое начинает казаться и читателю. Хотя Леонид Андреев — не «текст», а только «толкование», но свежесть изобретательства, горячая образность мысли, высокая патетичность языка гипнотизируют читателя и зрителя, особенно если им подается то, что они хотели увидеть и узнать.

Философию Гегеля Герцен назвал «алгеброй революции». По справедливости можно ницшеанского сверхчеловека назвать алгебраическим знаком реакции. Под алгебраическое понятие сверхчеловека литературные последователи Ницше подставляли всевозможные конкретные обозначения. Один Андреев дал по крайней мере три образные подстановки под понятие сверхчеловека. Кроме предателя Иуды, — анархиста Савву и разбойника Сашку Жигулева. Ко всему мог привыкнуть в своем новом

разбойном положении Сашка, да только как же это зубы не чистить. Как ни смешон этот сверхчеловек с «атавистической» тоской по зубной щетке, он все же много безобидней других сверхчеловеков, изобретавшихся в ту пору пачками. Чего стоит один только сверхжеребец Санин, выдуманный (по закону контраста) импотентом Арцыбашевым.

В годы реакции забыты были слова Горького, недавно еще гремевшие набатом: «Человек — это звучит гордо!..» «Вперед и все выше!» Теперь не то. «Это мы уже слышали... скажите что-нибудь поновее» — нетерпеливо перебивает Иванов в «Санине». Теперь уже человек — «преодоленный пункт»: нужен сверхчеловек; «вперед и все выше» — жалкий минимализм: итти нужно к восходящему солнцу. Именно навстречу восходящему солнцу идет Санин, выпрыгнув из вагона на полном ходу поезда, чтоб избавиться от плебейского общества в вагоне: «Санин знал этих людей, живущих, как скот, и не истребивших ни себя, ни других, а продолжающих влачить скотское существование в ожидании какого-то чуда».

О социалистической революции презрительно говорится, как о несбыточном чуде. Но и оно нужно только скотоподобным плебейам. Иное дело — «аристократы духа». У них чудеса случаются походя и где попало, но лучше всего в... публичном доме. Именно о таком чуде преобразования рассказал Андреев в «Тьме». Был революционер - «бомбист», который собирался совершить террористический акт, но у него происходит встреча с прституткой Любой, и в доме терпимости, оглушенный стаканами коньяка, революционер преображается, вступает на великую стезю переоценки нравственных ценностей.

«Какое право ты имеешь быть хорошим, когда я плохая?» — говорит ему Люба, и он начинает сознавать, что «стыдно быть хорошим».

Вот как это чудо происходит:

«Словно с каждой выпитой рюмкой он возвращался к первоначалу своему — к деду, прадеду, к тем стихийным первобытным бунтарям, для которых бунт был религией, а рели-

гия — бунтом. Как линючая краска под горячей водой, смывалась и блекла книжная чуждая мудрость, а на место ее вставало свое собственное дикое и темное, как голос самой черной земли».

Преображается герой, и он готов бросить под ноги проститутки «и ум, и честь, и достоинство, и даже — страшно подумать — бессмертие...»

Так родился еще один ницшеанский «антихрист», и к числу дубликатов Сонечки Мармеладовой прибавился еще один дубликат.

Вы прочитываете «Тьму» и раскрываете «Заратустру» Ницше: «Поистине, не люблю я милосердных, блаженных в сострадании своем: слишком уж они лишены стыда...» И еще: «В ком наибольшая опасность для будущего человека? Не в добрых ли и праведных? Разбейте, разбейте мне добрых и праведных! О, братья мои, поняли ли вы также и это слово?»

Леонид Андреев понял, а может быть, вновь изобрел изобретенную ранее Ницше «новую скрижаль». Повидимому, все-таки своим умом дошел, ибо революционная мудрость названа книжной и чуждой, а ницшеанская — своей собственной. Такова уже сила идей, овладевших массой, хотя бы всего только интеллигентской массой: в газообразном состоянии они наполняют умственную атмосферу класса и времени, и их можно брать столько же из воздуха, сколько из книг.



Другой разлитой в воздухе ницшеанской идеей, особенно близкой, интимно родственной буржуазному сердцу, был аристократический индивидуализм. Всех обуяло заповеданное Ницше стремление «быть знатным, быть чем-то особенным, непохожим на других, быть изолированным и самостоятельным». Этот закономерный для буржуазного сознания индивидуализм имел в те годы особенный акцент, — реакционный.

«Пусть, — писал Ницше, — называют «цивилизацией» или «человече-

нием», «прогрессом» то, в чем ищут теперь отличительную черту европейцев. Назовите это просто, не хваля и не порицая, политической формулой, — демократическое движение Европы. За всеми моральными и политическими передними планами, на которые указывают эти формулы, совершается громадный физиологический процесс, который развивается все более и более, процесс взаимного уподобления европейцев...»

Читал ли эти строки Леонид Андреев у Ницше? Как знать! Но в воздухе своего времени он прочел их наверняка. Вместе со всей буржуазно-интеллигентской массой он не терпит никакого уподобления себя кому бы то ни было другому, ничего «штампованного», «стандартного». Андреевыми на Руси хоть пруд пруди: плоский штамп, и писатель перед своей фамилией неизменно пишет полное имя Леонид. Имя перед фамилией приобретает значение яркого эпитета перед «серым» словом. Леонид Андреев звучит свежо и индивидуально, — ни с каким другим Андреевым не спутаешь. В характерной подписи писатель прописную букву своей фамилии пишет не по-русски, а по-немецки: вместо заурядного «А» — «оригинальное» «А». Даже куртку он носит бархатную, какой не носят другие, чтобы уж одним только внешним видом подчеркнуть свою изолированность и отмеченность. Что кроется под этой курткой, может быть, и не до конца осознано? Протест против нивелировки и какого-либо равенства, даже внешне-го, протест против плоско понятого равенства.

С этими чувствами Леонид Андреев едет... не в страну социализма, какой тогда еще не было, а в прусский вильгельмовский Берлин довоенных лет. Там он проделывает то самое, что всегда делал россиянин за границей, то-есть надевает европейский костюм, ходит в зоологический сад, ездит в вагонах. Но Андреев — иной, отличный от других. В вагоне им овладевает «сумасшедшинка» индивидуализма; ступевывается «будничным» Андреев, протупает патетический Леонид. Как! Не-

мец рядом с ним, и немец напротив него носят точно такой же котелок на голове, что и Андреев, такой же воротник и галстук, такой же жилет и пиджак. Можно смотреть на соседа и видеть самого себя, «как в зеркале». Этого Андреев никак стерпеть не может. Им овладевает апокалиптический ужас. Он разражается «Проклятием зверя».

И эхо «Проклятия» прокатывается по всей России. Очередное выступление Леонида Андреева опять волнует умы, находит горячий отзыв, становится событием. Сейчас трудно себе это даже представить, но ведь факт!

Рядом с «Проклятием зверя» — реакционным памфлетом Леонида Андреева — в моей памяти встает революционный памфлет Максима Горького «Город желтого дьявола». Максим Горький побывал впервые в Нью-Йорке, а Леонид Андреев — в Берлине. Обоих ужаснула «цивилизация» в странах передового капитализма. Горького потрясла отвратительная харя финансового капитала, «желтого дьявола». Это оно — золото — стягивает людей со всех концов света в сточные канавы нью-йоркских улиц, громоздит вавилонскую башню небоскребов, закрывает солнце, делит небо на узкие, скупые полоски, лишает воздуха и света, калечит человека, высасывает из него и кровь, и жизнь изощренным насосом эксплуатации. А Андреев увидел только эксплоатацию. А Андреев увидел только котелок на голове соседа, точь в точь похожий на андреевский. И разразился истерикой: караул! грабят мою индивидуальность! Горький смотрел глазами человека и пролетария, Андреев — глазами «сверхчеловека» и буржуа. И истерика буржуа прозвучала громче взволнованного голоса пролетария. Разве Горький в годы реакции мог вызвать ту бурю восторгов, что Андреев своим «Проклятием зверя»? Столичные критики из категории невежественных модных балагуров списали уже Горького в тираж: в те годы был он «несвоевременен».

Сравните Максима Горького с Леонидом Андреевым только по двум этим произведениям: «Город желтого дьяво-

ла» и «Проклятие зверя», — и перед вами раскроются два «взятия жизни», два диаметрально противоположных мировоззрения. История борьбы этих двух мировоззрений во многом совпадает с историей политической борьбы в стране до Октябрьской революции. А сопоставление одних только расходящихся «кривых» литературного успеха Максима Горького и Леонида Андреева может служить наглядной диаграммой общественно-политических настроений буржуазной интеллигенции в течение предоктябрьского десятилетия. Там, где «кривая» горьковского литературного успеха идет вниз, а андреевского в гору, там — власть реакции. Пусть только подумают об этом хорошенько сторонники «аполитичности» художественной литературы.

«Просвещенные умы» понимали «Проклятие зверя» как протест против европейского филистерства, — будто в котелке филистерство! Иванов-Разумник еще когда «разъяснил», что исконным свойством интеллигенции является ее антимещанственность. И сразу открылось: Андреев борется с мещанством и выполняет великие заветы внеклассовой интеллигенции.

Что мелкобуржуазная интеллигенция — плоть от плоти мещанства, само мещанство — якобы только то и делает, что борется с мещанством, не вызывало в этих кругах ни тени сомнения. Такая явная нелепость была возможна только вследствие крайней смутности понятия «мещанство». Обращаться к классовому признаку почиталось признаком дурного тона. Мещанство понималось как культурно-эстетическая категория. Тогда произволу — море разлитое: плыви, куда хочешь, в какую сторону не лень.

Но и в самой творческой «свободе» есть классовая необходимость. «Самопожирающая» борьба мещанства возможна только путем иллюзорного раздвоения личности. Если Андреев ходил в магазин, примерял и выбирал котелок, платил за него деньги, то, стало быть, котелок ему действительно нужен. Но это только будничному Андрееву, мещанину, как и все другие

мещане. А патетическому Леониду нужен совсем другой головной убор, или, по меньшей мере, убор для головы. Ему нужен нимб борца с мещанством. Так Леонид Андреев вмещает в себе и свободу, и необходимость. «Чудо» совершается при помощи маленького разделения труда: Андреев несет функцию необходимости, а Леонид — «свободы». И волки сыты, и овцы целы. И буржуазно-мещанский котелок на голове, и внеклассово-интеллигентский, антимещанственный нимб вокруг кудрей.

Глеб Успенский трагически погиб из-за раздвоения личности на Глеба и Успенского. А в случае с Леонидом Андреевым никакого трагизма нет. Напротив того, тут двойное благополучие. Под титулом Андреева можно пользоваться всеми благами мещанского быта, а под титулом Леонида низвергать патетические громы против мещанства и симулировать высшее духовное бытие.

История с «Проклятием зверя» повторяется в «Сашке Жигулеве»: с героем происходит то же раздвоение личности, что и с автором. Там Андрееву был нужен мещанский котелок, а Леониду — одно только антимещанственное «Проклятие». Здесь Жигулеву нужна будничная зубная щетка, а сверхчеловеку Сашке — одна только героическая, разбойная воля. На одной стороне — вещи житейского комфорта, на другой — невещественная индивидуалистическая свобода. И все выглядит так, будто вещественное не существенно, а существенно только не вещественное. Стоит ли говорить о принижающей и обезличивающей материи, когда единственно важен дух!

Но пришла Октябрьская революция и забрала у буржуазии ее вещи, ее котелки и зубные щетки. И тогда буржуазный зверь обернулся своим подлинным лицом и разразился таким натуральным, таким истошным проклятием, пред которым потускнели все деланные «Проклятия» прошлого. Раньше был протест против котелка как символа взаимного уподобления людей. Делался вид, будто котелок вовсе и не нужен, будто он только в тягость неповто-

римой индивидуальности. А в революцию, когда дело пошло всерьез, сразу же обнаружилось, что только котелок и нужен, что пер вее всего «Андреев» («не до жиру, быть бы живу»), а «Леонид» всего-навсего только... «с жиру».

Недаром мещанские управы, которые свое сословие знали лучше, писали:

— Андреев Леонид.

Мол сперва мещанин, а затем уж баян.

Последним и доподлинно нутряным «Проклятием зверя» Андреева Леонида было:

— SOS! Отдайте котелок и зубную щетку!

16. Мастерская масок

Подведем итоги. Уплотним весь опыт прошлого до короткой обобщенной формулы. Тогда из глубины «истоков» нам засветит новый смысл: обрисуеться модель всех дальнейших превращений. В давно прошедшем прошлом, в *plusquamperfectum'e*, мы узнаем те же черты, которые повторялись «на высшей ступени» в недавнем прошлом. В интеллигентском самочувствии и идеологии реакционной эпохи 1907 — 1912 гг. мы узнаем прообраз идеологии первых лет нэпа. (См. гл. 19 «Те же и то же»). Но рядом с этим мы восстановим и те брошенные по пути неразвернутые возможности, которые необходимо сейчас со всей силой развернуть, чтоб прорваться к действительному бесклассовому обществу как его активный участник. (См. гл. 21. «Революция умов и сердец»).

Мы видели много сходственного у трех китов реакционной эпохи, — у Ницше, Оскар Уайльда и Леонида Андреева, — тех «трех китов», на которых буржуазный интеллигент в годы реакции строил свой «мир идей». И еще мы видели, как гении реакции находили конгениальную им среду. Значит, было же нечто общее и у вождей между собой, и у вождей с их сторонниками! В чем заключается это общее, типовое?

«Человек, — говорит Ницше, — это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком, канат над бездной».

Канат упомянут здесь только для красного словца, в параллель к канатному плясуну на базарной площади, на которой проповедует Заратустра. В философии Ницше вовсе нет места человеку. Если заходит речь о среднем человеке, то это — животное: единичный экземпляр собирательного стада. Если дело идет о «могучей натуре», то это сразу же кандидат в сверхчеловеки. От животного к сверхчеловеку перехода нет, нет градаций, нет самого конкретного пути. Канат — только тонкая метафора, которая бессильна перекрыть действительную бездну.

На словах Ницше говорит о том, что выше человека, — о сверхчеловеке. На деле он учит всему тому, что ниже человека: эгоизму и карьеризму, высокомерию и жестокости, фельдфебельскому отношению к подчиненным и домостроевскому отношению к женщине. Краткая мораль многотомного писания философа: будь животным, но мни себя сверхчеловеком. Ибо в последнем счете все «канаты» и «мосты» органической эволюции ведут только к более мощному животному; таким остается и венец мироздания — кандидат в сверхчеловеки: «На фоне благородных рас надо выделить хищного зверя, это роскошное, алчно ищущее добычи и победы светловолосое животное». Тем более есть основания оставаться на деле животным и прикрывать свое звериное лицо реакционного буржуа маской надклассового сверхчеловека.

Оскар Уайльд зовет нас в царство Вымысла (конечно с прописной буквы), в то царство художественных образов, которым утонченный человек должен отгородиться от вульгарной действительности. Уайльд живописует, как легко на волнах искусства уплыть от своего времени и окунуться в иные прекрасные миры:

«Ужасные приключения случаются с нами, и мы чувствуем их, как Данте, одетые, как он... Да, мы можем отодвинуть землю на шесть веков назад, чтобы склонить колена перед тем же алтарем, что и великий флорентинец... Мы страдаем теми же болезнями, что и

поэт. Мертвые уста шепчут нам что-то, а сердце, давно обратившееся в прах, сообщает нам свою радость... Мы следуем по всему миру за Манон Леско. Мы тоже сходим с ума от любви, как герой Ариосто, и нам передается ужас Ореста... И если давно прошедшие века утомляют нас, если мы желаем испытать страдания и грехи нашего времени, то разве нет книг, которые в один час заставят нас испытать больше, чем жизнь за двадцать лет позорного существования... Нет такой страсти, которую мы не могли бы чувствовать, и того наслаждения, какого не могли бы испытать. Мы сами избираем время для этого и момент, когда ощущения должны кончиться».

Не о пользе чтения говорит Уайльд, а о пользе ухода от действительности. Но что это значит — уйти от действительности, в которой ты живешь? Уничтожить мир или убить себя? Нет! И мир, и себя оставить в полнейшей неприкосновенности, но только над скверным реальным миром надстроить в своем воображении мир призрачно великолепный и на уродливое свое лицо натянуть маску прекрасного, а затем условиться считать иллюзией действительностью, сон — явью, маску — живым лицом. И да будет маска первой ее лица, как был Дориан Грей первое своего портрета, а Леонид — первое Андреева.

Вспомним главное художественное произведение Оскар Уайльда — «Портрет Дориана Грея». Действительность показана в виде холщевой маски, брошенной на чердак, а то, что единственно только и есть маска, — Дориан Грей, — одушевлено, ведет в салонах парадоксальные беседы, изошряется в утонченной неожиданности слов, сладко грешит, посещает тайные притоны Лондона. Но выверт не меняет дела: фантомом остается «вечно молодой и прекрасный» Дориан Грей, а реальностью — портрет на чердаке, властный над жизнью и смертью фантома.

На портрете запечатлена проза жизни героя: и салонное пустословие, и низменная похоть, и преступные инстинкты. Спрятаться от расплаты за эту дей-

ствительность Уайльд и пытается при помощи застывшей маски Дориановского великолепия. И хотя в теории поэт выдвигает максимум: «Важны не красивые действия, а красивые слова», художественный такт ему подсказывает, что действие убивает слова и что в финальной сцене надо сбросить на землю мертвую маску под ноги живой действительности.

Значит, опыт Уайльда коренным образом не удался. Значит, и в искусстве свобода ограничена необходимостью художественной правды, а свобода художника есть только понимание этой необходимости. Но «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Мелкий буржуа реакционной эпохи хотел не диалектических истин, не проверки уайльдовской теории хотя бы на одной только уайльдовской художественной практике. Ему нужны были вымысел, фантом, маска, — их он хватал обеими руками.

Творчество Леонида Андреева пронизано настроениями распада. Но и в самом распаде есть своя система. Противостоят друг другу: слепая и стихийная воля действительности, которая несет с собою события мрачные, разрушительные и нелепые, и свободная воля человека. Сгустите весь мир образов, населяющих книги Андреева, и вы увидите, что при всех индивидуальных отклонениях лиц и событий всюду действуют только два героя: Некто в сером и «Человек» — необходимость и свобода. В единоборстве двух героев почти неизменно побеждает рок. Судьба с фатальной неизбежностью несет с собой катастрофу, а на долю человека остаются кошмары. Рок — человек, катастрофа — кошмар, — вот несложная схема андреевской драмы. То, что битым оказывается человек, соответствует пониженному, депрессивному мироощущению писателя. «Гордые» слова, которые бросает человек в лицо року (в «Жизни Человека», в «Жизни Василия Фивейского» и т. д.), на поверку оказываются жалкими словами, немощным петушиным писком. Словесное бунтарство бесильно побороть темную и дикую волю действительности. Единственно, что

остается человеку в ожидании предначертанной катастрофы, — это предаваться кошмарам, ужасам, терзаниям страха, в мистическом испуге трепетать перед простым стулом и чаем с вареньем из черной смородины. Другой морали отсюда вывести нельзя: человек «распростерт во прахе» перед серым истуканом.

Только там, где Андреев от настроения шопенгауэровских переходит к ницшеанским, свобода берет верх над необходимостью: в наступление переходит герой, но... Но, присмотритесь, ведь герой этот уже не человек, а сверхчеловек: Иуда Искариот, Савва, Сашка Жигулев.

Тогда раскрывается знакомая картина: у Леонида Андреева, как и у Ницше, как и у Оскар Уайльда, живого и действенного человека вовсе нету. Вместо действующих лиц — без действующие. В одном случае андреевские герои ни же нормального человека — жалкие марионетки, рабы случая, запуганные души, истерики, кандидаты в сумасшедший дом и полноправные обитатели этого дома. В другом — андреевские герои выше человека, но только в силу противоестественной высоты вымысла. А между болезненными карликами в клетке спецужасов и «могучими титанами» — провал.

И начинает казаться подозрительным: карлики и титаны — не едино ли суть они? Не имеем ли мы в действительности дело с одним только карликом и его бестелесно удлинненной тенью? Не забрался ли тот же карлик на высоченные ходули и, прикрыв наготу ходульного древка трехсаженными брюками, разгуливает по андреевским улицам на диво людям — по образцу диковинных сэндвичей европейских столиц? Чем дальше примеряешь этот образ к Андрееву и его эпохе, тем яснее становится, что так оно и есть в действительности. Но чью фирму рекламирует тогда карлик на ходулях — сэндвич? Лишь свою собственную, притом рекламирует не столько перед другими людьми, сколько перед самим собой.

Ходульный герой почти так же совершенен в своих качествах и прекрасен,

как Дориан Грей, а карлик так же уродлив и порочен, как портрет Дориана. Ибо титан — только бестелесный фантом, возвышающий обман, красивая, но мертвая маска для уродливого, но живого карлика. И живут рядом ничтожный получеловек и вздыбленный могучий сверхчеловек, как жили рядом Дориан Грей со своим оригиналом и опасно больной Ницше со своим «опасно здоровым», по его словам, идеалом.

Самое общее между тремя идейными вождями эпохи состояло в том, что они все вместе и каждый по-своему потрафляли мелкому человеку в его вожделениях и пороках, общественных и личных, а для покрытия уродства и мерзости услужливо предлагали ему маску красоты, благородства, величия. Это было все или даже больше того, что мог пожелать для себя плюгавый мелкий буржуа — коротконогий, лысый и пузатенький. Без труда он становился по выбору сверхчеловеком, Дорианом Греем, лордом Генри или Лоренцо-ди-Спандаро (каково звучит!) и переселялся в замок.

Прельщали мелкобуржуазную интеллигенцию реакционных лет именно эта легкость и дешевизна «преображения»: дорого ли стоит грим! Поверх хрюкающего мещанского благополучия надевалась прозодежда антимещанственной духовности. Ходили по земле сверхчеловечки карликового роста и мнили, ах, как много мнили, о своем высшем призвании. Посреди черной политической реакции, в обстановке позорнейшего царского самовластия, беспримерного, поистине азиатского гнета и эксплуатации, в стране, где сто миллионов трудящихся, рабочих и крестьян, обречены на невежество и темноту, на непосильный труд и голодное существование (корой питались и травую), образованные, сытые, пресыщенные, благополучнейшие людишки ничего другого не считали более своевременным и уместным, как холить свою драгоценную индивидуальность, «коротать время» за игрой в шмен-де-фер и рядом с этим играть в богоборчество, эстетику, эротику, душиться и фабричься и заодно уж накладывать на себя грим «духовной аристократии».

(Окончание следует)

Люди и факты

1. А. КАРЦЕВ — Сталиниси. 2 М. РОММ — Восхождение на пик Сталина

1. Сталинка

А. Карцев

Молодость плюс электрификация

Жара. Душно не только в купе, но и на площадках. Защищенный сплошной горной грядой, недвижим над трассой нагретый воздух. Четвертый час мчится поезд от Тифлиса. До перевала осталось не больше сорока километров, но попрежнему впереди — паровоз, и все такие же закопченные трубы дымят на каждой станции.

Давно осталась позади солнечная долина Гори — родина Сталина, уже не видны над холмами зубчатые развалины древней горийской крепости. В купе разговаривают два человека, только-что обменявшиеся исчерпывающими фактами из своих биографий: он родился в день столетия Бородинского сражения, она — в день Октябрьской революции. Интерес собеседников друг к другу, кажется, возрастает еще больше (если это еще возможно). Они спорят и едят персики, у обоих блестят глаза, но он — комсомолец, а она — комсомолка, и разговор идет деловой. Они спорят о молодости. Он — за, потому что через три месяца будет электромашинистом, а еще недавно ездил на грязном маневровом паровозе. Она — против, потому что молодость мешает ей поступить в электро-машиностроительный институт.

— А у нас почти все молодые, — громко рассказывает будущий машинист. — И здешние, и приезжие — вез-

де молодежь. В электродепо — Саша Чипашвили, комсомолец, цеховой инженер, Сосо Карумидзе — цеховой мастер, тоже молодой инженер... И на электро-возах есть комсомольцы — Франчук, Серго Куртанидзе. Практиканты тоже, вот я например. И в Институте электрификации — Матвеев Александр Николаевич, Лордкипанидзе Борис Григорьевич, Тузов Володя... У нас, Анка, очень уважают молодежь.

— Ну уж, — сказала Анка с полным ртом. Она, не переставая, поедала персики, сочно причмокивая и по привычке болтая ногами. — Наверно давно женатые все. Раз в институте, так уж это какая же молодежь. Теперь в студенты молодых не принимают.

— Какие они студенты! — изумился практикант. — Они все давно инженеры, некоторые уже по два года работают. А Матвеев — даже изобретатель. Его Москва к нам прислала.

Анка отняла от губ надкусанный персик, точно он мешал ей слушать.

— Так зачем же они в институте?

— Э, кацо, это другое, — сказал практикант. — Это не такой институт, куда вот ты например хочешь поступить. Это научно-исследовательский институт специально по электрификации железных дорог. Тут у нас работают инженеры и даже профессора — и в Тифлисе, и в Сталиниси. Это — наш закавказский филиал, а в главном институте руководят академики. Там мой

брат два месяца был. Очень замечательный институт, на краю Москвы стоит.

— Как на краю? — удивилась Анка.

— Так. Надо идти на самый красивый вокзал, — он называется Северный, — поехать в замечательном электрическом вагоне, и через четыре минуты будет третий километр. Тогда надо прыгать на ходу и идти в институт, он совсем рядом от насыпи...

— Прыгать? — переспросила Анка. Влажные губы ее раскрылись. Практикант посмотрел и вздохнул. Лицо его стало задумчивым и грустным. Ему не хотелось больше разговаривать об электрификации.

— Мой брат всегда прыгал, — пояснил он серьезно. — Туда можно и по улице, но это очень долго. И потом трамваи не ходят по расписанию, а брат берег время, он учился...

Анка прыснула, чуть не подавившись косточкой. Практикант смущенно смотрел на нее.



На раз'езде они догнали громадный нефтеналивный состав. Тяжкие серые туловища медленно ползли по второму пути. Маслянистые огромно-круглые бока цистерн тускло лоснились на солнце, — линия их вплотную сливалась впереди, похожая на жерло гигантской пушки, перевозимой целым поездом тысячепудовых платформ. Два паровоза, пыхтя и фыркая, подтягивали состав к водонапорному крану, и, когда пассажирский остановился рядом, в черное нутро переднего паровоза уже хлестал сверкающий водяной столб. Присев на подножку, седой машинист жадно пил из запрокинутого над головой чайника. Веселая, светлая струя брызгала ему на усы, скулы, на подбородок и стекала по темной шее за воротник, уже мутная, просоленная копотью и потом. Морщинистая шея машиниста напрягалась, двигая кадыком, казалось, что и он, этот человек, устал от того, что тащит вместе с паровозом в дыму, в копоти и в жаре тяжкий нефтяной груз.

— Три... шесть... десять... — считал практикант высунувшись в окно и кивком приветствуя машиниста. — Сколько цистерн, Захарыч?

— Тридцать две.

Машинист, вставая, вытер усы промасленным рукавом, выбритый подбородок жирно лоснился.

— Две тысячи тонн, — сказал практикант, поворачивая к Анке голову. — Это четыре сухогрузных товарных поезда, кацо, понимаешь?

Они вышли на площадку вагона. У обоих паровозов нефтеналивного поезда копошились в грязных спецовках люди. В пронзительном шипении пара нельзя было слышать их голосов. Седой машинист, сверкая белками глаз, распекал молодого чумазого масленщика, потом полез сам под паровозный скат и, вернувшись, сердитыми рывками стал обтирать паклей коричневые скользкие пальцы. Практикант нагнулся с площадки.

— Теперь бы и один должен тянуть, Захарыч, это ж тебе не перевал!

Он с усмешкой кивнул на паровозы. Машинист продолжал работать паклей. Ветерок трепал расстегнутый ворот его черной рубахи, блестящей местами, точно кожаная. Отбросив паклю, он влез на паровоз, высунувшись в окошко, хозяйственно оглядел состав и только тогда ответил неторопливо и с достоинством:

— Кабы на перевал, так три настоящих паровоза надо... А в нынешнем виде и все четыре.

Это было сказано явно в назидание молодому поколению. И Анка сочла необходимым вступить в разговор.

— А вы на перевал не поедете?

— Не поедем, — сказал машинист, глядя в сторону.

— Вы только до Сталиниси?

— До Хашури, — сухо подтвердил машинист.

— А дальше электровоз?

— А дальше — трамвай повезет.

Громкий свисток оборвал этот многообещающий диалог.

Пассажирский тронулся.

— Злитса старик, — проговорил практикант, усмехаясь снисходительно, как

делают взрослые, говоря о детских капризах.

Анка молчала. Видно было, что она что-то старается сообразить, что-то объяснить себе, прежде чем высказать вслух свое мнение.

— Он что... он хороший машинист? — спросила она вдруг.

— Канэчно. хороший.

— И он — против электровозов?

— Канэчно, — улыбнулся практикант.

— Но почему? Ведь это же... Ведь он же не прав, да?

— Конечно, не прав.

Анка смотрела недоуменно. Этого парня, о чем ни спроси, все у него выходит «канэчно», и главное выговаривает он это слово как-то так, словно тут никакого сомнения и быть не может. Нет, она решительно против молодости, если рассматривать ее как основное человеческое качество.

Но практикант уже объяснял, в чем дело. Этот машинист — «один из восьми», которых знают все на перевале. Их было тридцать восемь, лучших паровозных машинистов, отобранных для переквалификации на электровоз. Тридцать уже выучились, выдержали испытания и теперь ездят на электровозах. А восемь «провалялись». Ну, и понятно...

Вагон качнуло сильнее. Колеса застучали на стыках. Стали слышны разноголосые гудки маневровых.

— Сталиниси, — сказал практикант, заглянув в окно.

Поезд подходил к станции. Анка деловито поправила волосы, проверила еще раз, хорошо ли лежит в кармане бумажка, выданная ей, тульской комсомолке, тифлисской организацией, с просьбой к начальнику сталинского электродепо. Все было на месте. Только просьба вдруг показалась такой трудной, такой явно неисполнимой... Неужели откажут? Ну, хоть раз, хоть один бы перегон проехать на электровозе, быть внутри, в кабине, с машинистом, и все сразу понять... Ведь должны же они учесть, — собственно, она даже имеет право. Все равно, на будущий год обязательно поступит в институт и бу-

дет учиться строить электровозы, значит, надо же ей посмотреть!

Конечно, в бумажке все это было сказано гораздо короче и спокойней, как будто бы они там все наездили на электровозах, сколько им хотелось.

Поезд остановился.

— Пошли, — сказал практикант.

Они вышли на платформу, протолкались до самого ее конца, зашли куда-то за угол и поднялись на высокий мост, перекинутый над путями через всю широкую площадку грохочущего, лягающего, свистящего и шипящего паром железнодорожного узла.

Под ними, внизу, среди многочисленных стрелок, в великой тесноте, маневрировали поезда. Жались к вокзалу пассажирские вагоны, расплзались по тупикам и запасным путям хвосты товарных составов — все здесь уступало место тяжким колоннам цистерн. Здесь — их дорога. Словно движущиеся гигантские трубы, катят они по всей магистрали Баку—Батум великолепную советскую нефть, и рядом с ними какой тоненькой змейкой кажется розовая труба нефтепровода, нескончаемо бегущая вдоль рельсовой колеи!

Напротив станции громоздился закоптелый мрачный корпус сталинского паровозного депо. Такой же, как сотни деповских корпусов на любой железной дороге Союза. Но мимо него, вдоль путей, убегая воздушной линией в голубую предгорную даль, высились стройные мачты, несущие над рельсами медные струны проводов: это была контактная сеть электрификации, это были мачты электропередачи. Откуда они? Обернувшись направо, Анка всматривалась в их четкую линию. Она набегала на узел с Хашурской долины новой, еще свежей насыпью, вдоль магистральной колеи. Она протянулась минимумом на полтора километра, и там, где предельно истончалась для глаза нить соединяющего мачты кабеля, там возникало под синим грузинским небом широкое белое здание. Стрелы рельсов и струны проводов сразбега уходили в его недра, откуда блистали, отражая солнце, какие-то слепящие световые пятна.

— Электродепо, — сказал практикант. — Вот слева от депо и сооружения подстанции, передающей в контактную сеть ток Рюнгэса...

Так вот твое лицо, Сталиниси, ворота первого в Советском Союзе электро-стального пути!

Вся суть, весь революционный смысл социалистической реконструкции транспорта был наглядно виден отсюда, с этого перекидного моста.

Здесь, у станции, — старый центр узла, мир воды и огня, становище одиночников-паровозов, каждый в обособленном своем хозяйстве кустарно кипящих для себя пар, чтобы только шесть процентов его силы уловить и запрячь в тягу поездов.

Там, в долине, — новый центр, подлинный и всесильный: полная централизация двигательной энергии, больше чем удвоенный коэффициент полезного действия, неограниченная мощь разума, претворенного в систему и план, — вот что, как говорят математики, оказалось «необходимо и достаточно», чтобы напор водяных масс с далекого Рюнгэса, превращенный в движение, стремительно мчал здесь тысячетонные электропоезда!

Солнце было уже на закате. Оно казалось гребня ближайшей горы, рыжие склоны ее лиловели сумерками. Прозрачный туман стлался у подошвы хребта, окутывая зеленые сталинские переулки.

Славна судьба твоя, молодая большевистская Грузия!

Здесь прошлое и будущее встретились в настоящем; электротяга — явление редкое еще и на всемирных железнодорожных путях — и столетнее владычество паровоза борются тут, сосуществовая. Еще только начинается эта борьба, но уже предreshен исход ее в социалистическом развитии транспорта, предreshен и здесь, на рельсах рядового железнодорожного узла: через весь перевал Сурамский и дальше до Зестафони — первого очага грузинской тяжелой промышленности — завоевал себе путь электровоз; уже теперь многие паровозы поворачивают от Сталиниси обратно — на Тифлис и Баку.

Практикант тронул Анку за плечо.

— Смотри, — сказал он, указывая вниз.

Под мостом, на грязном четвертом пути стоял тот самый нефтяной поезд, который они обогнали на раз'езде. Седой Захарыч, тот самый, который на раз'езде ругал электровоз «трамваем», высунулся из паровоза, хмуро оглядываясь в обе стороны. Вот он дал свисток — и паровоз отделился от состава. Тяжко пыхтя, он прополз под мостом. Горячее облако дыма и копоти обдало Анку и практиканта снизу, на секунду все застлалось едким желтым туманом. Паровоз с шипением и лязгом свернул вправо, переведенный стрелкой на соседний путь. И сейчас же навстречу ему донесся мягкий трубный звук, неожиданный, ясно отличный от всего окружающего. Стрелочник-грузин, совсем юный и очень строгий в своей измызанной спецовке, пропустив паровоз, повернулся к нему спиной: он зорко смотрел вперед, навстречу тому, для кого паровоз уступил дорогу. Оттуда, вдоль стройной линии мачт контактной сети, бесшумно и быстро двигался... трамвай. Да, это был он, его знакомые очертанья — гладкий прямоугольный кузов, с окнами впереди, тонкий переплет на крыше.

Захарыч, ядовитый машинист, оказывался прав.

— Пойдем вниз, — сказал практикант. Анка быстро пошла за ним, и, когда они, спустившись с эстокады, вышли на пути, трамвай приближался. Неловко стремясь, все ярче поблескивая стеклами, увеличиваясь вверх ивширь, он шел уже мимо вагонов и паровозов, и сразу стало ясно, как обманчива издали своей внешностью эта громадная машина. Вот она поравнялась со старым маневренным паровозом, и сразу меньше стал паровоз, словно осев на колеса черным своим туловищем, и блестящая высокая машина, пронесшись мимо него, мгновенно перестала казаться трамваем. На громадных паровозных скаках шла она, чуть покачиваясь блестящим синим кузовом, и уже видна была перед просторными окнами кузова широкая, высоко несущаяся над рельсами

площадка, и переплет на крыше машины многогранной своей сложностью не больше напоминал теперь простецкую трамвайную дугу, чем например ходовая часть аэросаней — обыкновенную лыжу. Впрочем, лыжи на машине были: но вид и назначение их изумляли необычайностью. Освобожденные от своего земного употребления, эти лыжи возносились над крышей, необычно опрокинувшись к небу, необычно загнутые с обоих концов. Неслышно скользили они по проводам: но и скольжение было необычным, — лыжи бежали не вдоль, а поперек.

Подойдя к водонапорному крану, электровоз протрубил и встал. Звук его сирены, глубокий и певуче стройный, напоминал и пароход, и автомобиль. Да и всем своим видом электровоз неудержимо и нелогично вызывал представление о них, весь блистая на солнце от крыши до колесных скатов. Блестели окна кабины, похожей на каюту; блестели приборы за окнами; блестели, словно на палубе, поручни над отвесной лесенкой, ведущей на площадку электровоза; самый кузов его отливал блеском, как лаковый, и Анке почудилось даже, что и пахло от него, как от нового автомобиля. На площадке перед кабиной стояли люди. Равнодушные, они зевали и почесывались; они стояли, расставив ноги, как моряки на палубе. Вид этих безразличных фигур на такой прекрасной машине оскорбил Анку.

— Зачем они тут? — громко спросила она практиканта. — Ведь они же мешают машинисту смотреть!

— Канэчно мешают, — спокойно согласился практикант. Люди на площадке молча и доброжелательно смотрели на них. Но Анка, холодно оглядев каждого с головы до ног, враждебно сжала губы. Почти все, стоявшие на площадке электровоза, были обуты в громоздкие башмаки из толстой и грубой черной кожи; зашнурованные чистенькими, еще тугими от новизны бечевками, башмаки эти густым цветом своим свидетельствовали и о собственной новизне, но также густо облепляла их от носков до задника коричневая глинистая грязь. Ошмет-

ками этой грязи заляпана была вся площадка машины.

Электровоз протрубил еще. Анка тревожно посмотрела в окно кабины. Смуглое лицо выглядывало оттуда, через головы стоявших на площадке людей.

«Ну, ясно, мешают... Из-за этого и остановился, — возмущенно подумала девушка. — Ну что это за люди, безобразные!»

Не сдержавшись, она приблизительно выразила эту же мысль вслух, и крепкая, розовая ладонь ее, высвободившись из кармашка джемпера, сердито показала вверх.

— Канэчно, — сказал практикант в ответ. — Только он стоит не потому. А потому, что стрелка не переведена.

— Разве? Ах да, верно... Но почему же тогда ушел стрелочник?

Анка негодовала открыто — и глазами, и вздернутым носом, и пышной шапкой рыжеватых волос. Один из парней, стоявших на площадке электровоза, с особенным доброжелательством наблюдал ее переживания.

— Сейчас вернется, — проговорил он, слегка нагибаясь сверху.

— Кто?

— А стрелочник.

— Но зачем же он ушел?

— Будет время прицеплять, тогда и придет, — отозвалось сразу несколько голосов. — А время полагается — через пятнадцать минут прицеплять... Чего ж человеку не вздохнуть...

Анка покраснела.

— Хорошо, но он мог бы перевести стрелку и уйти. Ведь из-за этого электровоз стоит!

— А чего ж ему делать, — протяжно отвечали с площадки. — Раз по графику полагается, — сколь хошь простоят.

Анка молча сунула обратно в кармашек руку и отвернулась.

— Ничего не понимаю, — тихо сказала она практиканту. Глаза ее были влажны от смущения и досады. В это время электровоз прогудел опять, коротко и нетерпеливо, потом что-то взвыло и застучало внутри его кузова, и вдруг он бесшумно тронулся вперед. Анка увидела, что смуглолицый юноша — стрелочник — уже стоит на месте, ути-

рая рукавом рот, и стрелка перед электровозом переведена, открывая путь к нефтеналивному составу. Электровоз двигался, железно поскрипывая. Огромный и длинный, он приближался к передней цистерне медленно, ровно, без единого толчка.

«Где же сцепщик?» — забеспокоилась опять Анка, но уже ничего не сказала вслух. Электровоз подошел почти вплотную, по крайней мере так показалось Анке с того места, где она стояла. И только тогда с высоты электровозной площадки, с самой верхней ступени отвесной лесенки прыгнул один из парней. Это был тот, который первым заговорил с Анкой. Легко и упруго, как мяч, оттолкнулся он от земли в своих неуклюжих башмаках и тотчас же, пригнувшись опять, нырнул между электровозом и цистерной. Электровоз подался еще. Через секунду блякнули буферные тарелки, послышался характерный лязг сцепки, — электропоезд был готов.

— Ай, Гоги, молодец, кацо! — крикнули с площадки. Анка перевела дух и покачала головой, глядя на практиканта. Тот посмотрел на сцепщика, вылезавшего из-под буферов, и восхищенно поцокал языком, по-кавказски:

— Ц-ц... Хорош парень, горный человек, — с гордостью сказал он, и молодое лицо его неудержимо осветилось широкой белозубой улыбкой. — Ну, пошли в электродепо, да?

Они двинулись по шпалам. В долине быстро темнело. Белое здание впереди словно потускнело, и по мере того, как Анка и практикант приближались к нему, оно все больше сливалось с окружающим. Группа молодых людей обогнала их. Некоторые из них были в кепках и костюмах необыкновенного, очевидно, наимодежнейшего фасона: очень короткие пиджаки едва прикрывали то место, которое до революции называлось талией, брюки колыхались непомерно широкими и длинными штанинами.

— Давай, кацо, быстрее давай! Опоздаешь! — крикнули они практиканту, один весело подмигнул ему и добавил что-то по-грузински, и все засмеялись.

— Кто это? — спросила Анка, глядя им вслед.

— Комсомольцы наши, машинисты электровозов. Вот это позади всех — Серго Куртанидзе, а который кепку снял — это Володя Франчук... — Практикант называл имена пониженным голосом, с тем уважением, с каким футболисты его возраста говорят об игроках, украшающих собой сборные команды на международных матчах.

— А, это те... — сказала Анка, вспоминая разговор в вагоне. — Неужели это у вас самые, самые лучшие? — Пиджаки и брюки лучших машинистов смущали ее. Но практикант только поцокал языком, давая понять, что в этом вопросе неуместен даже намек на сомнение.

— Канэчно, лучшие. Они оба на «С-10-02» ездят. А это, знаешь, что такое? Это — не простой электровоз, это комсомольский электровоз...

Они входили в депо. Было совсем темно. Серая муть окутывала здание, — с гор дымными волнами шел туман. Неясные громады высились внутри на рельсовых путях. Это были вероятно электровозы, но практикант свернул налево, и они очутились в кабинете начальника депо. Здесь горел свет. За простым дощатым столом сидел плечистый человек лет сорока пяти на вид, с крупным красноватым лицом и спокойным чуть влажным взглядом.

— Шубладзе, — сказал практикант Анке. Группа людей, стоя и сидя у стола, окружала плечистого человека. Все сразу говорили с ним, громко и настойчиво, споря друг с другом. Он слушал всех и не отвечал никому. Этот был тот, к кому адресовалась просьба тифлиского комсомола, лежавшая в Анкином кармане. Об этом человеке она уже слышала в Тифлисе и представляла его себе почему-то гораздо более молодым и гораздо более подвижным. Это был Виктор Павлович Шубладзе — бывший слесарь, бывший машинист депо в Самтреди, коммунист, заслуживший своей работой выдвижение в начальники сталинского паровозного депо, показавший блестящие организаторские способности на руководстве этим сложнейшим

хозяйством и после этого пожелавший... снова идти в ученики.

В дни, когда электрификация Сурамского перевала была еще мечтой советских железнодорожников, он, столько раз пересекавший его хребты на своем паровозе, уже решил для себя, что ему надо делать. И когда партия сказала, что ведущим звеном реконструкции железнодорожного транспорта в перспективе его развития должна быть электрификация железных дорог, и на перевале — впервые в СССР — стали подниматься над рельсами мачты электропередачи, тогда Виктор Павлович пошел в партийный комитет.

— Посылайте учиться, — сказал он. — Иначе не выйдет.

Это можно было понять как ненужный жест, как рисовку скромностью: образцовый начальник депо изображал себя, как человека, которому будто бы нечего будет делать, едва только по Сураму пройдет первый электровоз. Это можно было понять и как чрезмерную самоуверенность: коммунист Шубладзе намекал, что без него лично «не выйдет» вообще электрификация перевала. Но в парткоме поняли не так и не так, а так, как надо. И Виктор Павлович поехал в Москву. Начальник паровозного депо стал учеником электровозных курсов. Это было совсем недавно, а теперь он сидел перед Анкой, слушая всех и в то же время читая ее бумажку, — опять начальники, а не ученики, но уже не над паровозами, которым принадлежало прошлое и настоящее, а над электровозами, которым принадлежало настоящее и будущее.

— Хорошо, товарищ, — тихо сказал он, серьезно глядя своим влажным взглядом в сияющие глаза комсомолки. — Это очень хорошо. Комсомол нашим делом должен интересоваться... Электровоз, он ведь сам комсомолец на транспорте, даже, я думаю, пионер...

Он улыбнулся одними глазами и сказал, что поехать можно, но что сначала он советует послушать техническую конференцию, которая как-раз сейчас откроется в депо. Конечно, ей не все будет ясно, но если она хоть кое-что поймет, то...

— Я все пойму, — сообщила Анка.

— Это будет хорошо, — просто и даже как будто с уважением сказал начальник депо.

Анка вышла, практикант догнал ее в проходе. Везде уже ярко горел электрический свет, и видно было, что практикант растерян и огорчен. Оказывается, он и не знал, что конференция будет именно сегодня. Его электровоз через час уходил с поездом, Анка оставалась на конференции, и все это, взятое в отдельности, было замечательно, но, взятое вместе, не годилось, по его мнению, никуда.

Они вошли в громадное белое помещение. На деревянных скамьях густо сидел народ, света было так много, словно каждому входящему специально хотели показать, что здесь не просто депо, а именно электродепо.

«Советская власть плюс электрификация есть социализм» — блистало белыми буквами на огромном кумачевом плакате. Анка слышала и читала это сотни раз, но эти слова вдруг показались ей совершенно необычайными. Именно здесь, среди вот этих людей, рядом с замечательными машинами, отдыхавшими за стеной под этой же высокой стеклянной крышей, раскрывался весь смысл пяти простых слов в потрясающей правде и чудесной ясности формулы. И плечистая фигура Шубладзе, уже занимавшего место за столом президиума, всем спокойным видом своим, открытым взглядом, уверенной осанкой, простыми и крупными чертами лица как бы воплощала в себе ту же мысль, что была поднята высоко над залом огромными яркими буквами.

Невысокий человек в железнодорожной форме сел рядом с начальником депо и, быстро оглядев ряды, сейчас же встал за столом.

— Слово для доклада имеет начальник электрификации Закавказских дорог товарищ Левин, — громко сказал Шубладзе.

«Вот это и есть Левин?» — изумилась Анка про себя.

Опять в жизни оказывалось совсем не так. Дома у отца на столе она как-то прочитала в журнале о двух инженерах,

работавших на Сураме через пятьдесят лет один после другого. Один из них строил Сурамский туннель, он в самом конце работы испугался ошибки (штольни туннеля, строившиеся одновременно с двух концов, не сошлись в середине) и застрелился. Это был прежний инженер, сын своей касты, считавший себя в царской России чем-то вроде соловья всадников Римской империи (которая, кстати, имела больше шоссежных дорог, чем Российская империя — железных), или жреческой касты древнего Египта (где строители между прочим тоже усвоили моду внезапно умирать в конце постройки, как свидетельствует надпись на гробнице Уашптаха, главного архитектора при царе египетском Нюфериркаре). Инженер застрелился, потому что бегство из жизни считалось в его среде лучшим ответом на собственные ошибки, хотя ошибки в действительности не было, и туннель великолепно сошелся через два часа после самоубийства. Другой инженер не стал стреляться, хотя под его руководством была сделана через полвека настоящая, а не воображаемая ошибка. Он руководил электрификацией Сурамского перевала, а комиссия НКПС забраковала установку генераторов. Инженер остался на работе, дождался приезда специалистов из Москвы и вместе с ними выполнил задачу, исправив ошибку и обогатив себя двойным опытом. Это был советский инженер Левин, сын своего класса и своей партии, и Анка слушала сейчас на конференции электрификаторов его взволнованную речь.

Он был совсем не похож на героя, каким представляла его себе Анка. Он был мал ростом, очень бледен и очень худ; только лоб, открытый и высокий, и блестящие беспокойные глаза отличали этого человека от всех. Он говорил о глупости. Ненависть кипела в его словах. Он издевался над глупостью людей, которые развешивают уши перед заграничными баснями о том, что, мол, электрификация уже работающих дорог — дело бессмысленное и убыточное. Он разоблачал инженера Пароди, оклеветавшего электровозы на мировой

энергетической конференции в Берлине в 1930 году.

«Стоит ли затратить дополнительный капитал, на 30 — 50 процентов превышающий уже вложенный в железнодорожное предприятие, чтобы получить экономию на годовых эксплуатационных расходах всего 15 — 25 процентов?» — так говорил инженер Пароди в Берлине. Ему, энергетика капитализма, казалось непреложным, что весь смысл электротяги — только в «максимально возможной прибыли».

— Стоит! — отвечал инженер Левин в Сталиниси. — У нас решает не прибыль, а рост провозной способности, который опрокидывает все ваши расчеты о прибыли.

Он заговорил о Франции, где электрические железные дороги распространяются, несмотря на то, что, по признанию их же собственных директоров, в частновладельческой электрификации «рентабельность испытывается более жестко, чем если бы это делало государство». Он называл имена Бианки, Джонса, Ивара Офвергольма, железнодорожных специалистов Италии, Англии, Швеции. Все они признавали бесспорное преимущество электротяги, и в то же время во всей Европе электрификация железных дорог оставалась на мертвой точке трех с половиной процентов.

— Не так давно, — говорил инженер Левин, сверкая глазами, — не так давно провалился план электрификации английских железных дорог. Над неудачниками много издевались американские журналы. Там смеялись над англичанами, но знаете как? Американцы смеялись нашим, большевистским смехом! Вот что они писали: «Английский план — это бессмысленная утопия и фантазия нескольких инженеров, которые не понимают, что при тех производственных отношениях, которые господствуют в Англии, и при тамошних взаимоотношениях меж владельцами угольных шахт и железнодорожными компаниями, не может быть и речи о значительном уменьшении расходования угля: английские углепромышленники примут

все меры, чтобы сохранить всю свою клиентуру».

Инженер Левин победоносно взмахнул листком:

— Товарищи! Это говорят американские буржуазные инженеры. Мы, советские инженеры-коммунисты, готовы за это крепко пожать им руку!

Люди в рядах слушали, забыв о времени. Этот худощавый человечек с лицом фронтального агитатора молниеносно переносил их из страны в страну за рубежами Советского Союза, и они видели ясно, как повсюду люди тупоумно чужаются могучих сил природы или донкихотствуют в бесплодном стремлении к ним только потому, что над ними не развернулось еще, как вот на этой белой стене, кумачевое знамя большевистской электрификации, рождающей социализм.

Анка сидела в последнем ряду. Рядом с ней слушал молодой парень с хмурым, сердитым лицом. Он шевелил губами, все пытаясь что-то сказать. В это время инженер Левин говорил уже не о Европе, а о бедах сталинского депо. Тут беды были совсем другие. Оказывалось, что вот сейчас нехватает электровозов, а завтра, судя по всему, будет нехватать машинистов на электровозы. Парень хмуро слушал, сопел и вдруг закричал с места:

— А учиться на электровоз не дают!..

На него зашикали, он сидел, весь вытянувшись вперед, и гневно смотрел в президиум.

— Ты, прав, Хачидзе, — громко сказал ему голос из угла. — Только ты не так говоришь.

Анка посмотрела в угол. Говорил, стоя у окна, знаменитый киноартист Америки Дуглас Фербенкс. Анка раскрыла рот. Сходство было так велико, что она никак не могла опомниться, и смотрела, забыв обо всем на свете, пока не загрохотали аплодисменты. Она оглянулась. Инженер Левин пил воду.

— Что он сказал? — спросила она соседа.

— Про глупость сказал... — хмуро ответил парень. — Теперь наших кроет...

Левин вытирал губы.

— Вот вы, товарищи, аплодируете, — уставшим голосом заговорил он. — Стало быть, мы с вами понимаем, что такое для нас электровоз. А вот на деле что? Сами же на каждом шагу допускаем такие дурацкие штучки, от которых электрификация выглядит вроде лошади, у которой передние ноги завязали в мешок. Взять эксплуатацию. До сих пор существуют пятиминутные прибавки по графику на тех станциях, где это требуется паровозам для экипировки. Движенцы прибавляют эти пять-семь минут и для электровоза. Спрашивается, чем ему там экипироваться, — нефтью, что ли?

В рядах засмеялись.

— За водой тоже стоим, — иронически сказал молодой крепыш, стоявший сзади президиума, и Анка узнала по модному пиджаку лучшего комсомольского машиниста.

«Правильно, так их» — сказала она про себя. Ей вспомнились мгггарства электровоза, виденные днем на станции, и она почувствовала к крепышу нечто вроде симпатии; но франтоватый вид парня все еще возбуждал в ней сомнения насчет его производственной недосыгаемости.

— Дальше, — говорил Левин. — Вы все знаете, что электровозная кабина по сравнению с паровозом — все равно, что квартира в новом доме, который строится для вас в поселке, по сравнению с бараками, в которых вы живете сейчас. Чистота, свет, температура... А какую грязь уже успели развести на некоторых машинах!

«Правильно» — чуть не сказала опять Анка вслух. Это тоже было из ее «первых впечатлений».

... За широким окном густо чернел мрак. Давно уже кончил докладчик, давно говорили, сменяя друг друга, машинисты и практиканты, инженеры и цеховые мастера. Они хвалились и жаловались, негодовали и одобряли, ругали друг друга и самих себя. Анке все казалось интересным и незабываемым. Ведь это были подлинные новаторы транспорта, люди, взявшиеся за совершенно неизведанное дело, как брались когда-то Жозеф Кюньо в Па-

риже, Георг Стефенсон в Ливерпуле и современники его — отец с сыном Черепановы на Нижнетагильском заводе. И, как те, когда-то жившие люди волновались и недоумевали, восторжались и страдали в одиночку, так и эти люди, жившие теперь, переживали эти же чувства вместе; и как первые неустанно боролись с равнодушными, защищая перед ними свое дело, как обвиняемые, так и вторые искали в своей среде равнодушных, наступая на них, как обвинители.

— Слово — машинисту Сахварелидзе, — объявлял председатель, вытирая вспотевший лоб.

— Товарищи, — говорил Сахварелидзе, прижимая руки к сердцу, — товарищи, мне обвиняют в обрывах поездов... Верно, болеет этим электро-тяга... Но ведь мы одни их искоренить не можем, товарищи... Ведь если напряжение в сети падает до 1.400 вольт, а потом опять прыгает на 3.000, то, ясно, электровоз рванется — вот и обрыв...

— А ты спи, ты не спи, кацо, — с места ядовито отозвался седой машинист-наставник. — Следить будешь, никогда не оборвешь...

— Слово предоставляется инженеру Сергею Чхеидзе, — сказал председатель, и к президиуму вышел Дуглас Фербенкс. Анка сначала даже не слушала, что он говорил, до того было замечательно самое зрелище. Он и поворачивался, и улыбался, как тот, только выражение лица у этого было умное, а у того оно было гораздо веселей. Ей казалось, что все видят это — и в президиуме, и в рядах; и только потом стало понятно, что инженер Чхеидзе — специалист по электрифицированному подвижному составу. Он выступал от Научно-Исследовательского института электрификации. Анке вспомнился разговор в купе с практикантом, и в ту же минуту она увидела его сидящим в ряду прямо перед собой.

— График переменили, — шопотом сказал практикант, перегнувшись назад, — ночью поеду...

Говорил последний оратор — человек в военной форме: их было всего двое среди железнодорожников. Он сам ска-

зал, что он — последний, сославшись на то, что присутствующим пора расходиться — кому работать, кому отдыхать. Это был особенный оратор. Он стал ходить по комнате из угла в угол и разговаривать с сидящими так, как будто бы не было никакой конференции, а просто собрались знакомые люди — поговорить, о чем придется, у кого что болит. У самого у него, видимо, болело многое: он заводил разговоры о самых разных, самых неожиданных вещах, и каждый раз кто-нибудь сейчас же отзывался в рядах: видимо, то же самое болело и у того.

— Вот насчет учебы машинистов, — говорил оратор, — одни получили право на электровоз, другие — нет. В чем тут дело?

— Учиться трудно, — отозвался опять рядом с Анкой хмурый парень. — Охота пропадает при такой учебе...

— Как так пропадает? Не может она пропасть, — отвечал оратор, останавливаясь и весело глядя на парня. — Вот ты, Хачидзе, экзамена не выдержал и пока останешься паровиком, а ведь пришел сюда, к электровозам поближе! Значит, не пропала охота!

Он улыбнулся, многие засмеялись в рядах, и хмурый парень усмехнулся смущенно, а оратор уже говорил о том, чего нехватает в учебе и как паровознику легче всего одолеть электровоз.

— Вот насчет освоения тоже, — вслух размышлял он, опять принимаясь ходить. — Иной и выучится, а на деле так обращается с машиной, что за него стыдно становится. Вот на-днях смазчик в буксы электровоза налил керосину вместо масла. На первом же перегоне перегорел подшипник динамомотора, и машина на целые сутки выбыла из строя. На целые сутки, товарищи! А кто виноват? Гогецидзе виноват, и за это мы Гогецидзе уволили, потому что такое ротозейство терпеть нельзя. Это, товарищи, уже не ошибка, это преступление.

— Никакого нет преступления! — громко и резко сказал сидевший в первом ряду лохматый человек. — За такие дела увольнять — всех людей разгоните.

Он тяжело повернулся на скамье, и все увидели его лицо, угрюмое и темное от ожесточения.

— Как так разгоним? — отвечал оратор, останавливаясь перед ним. — Никого мы не разгоним, Гоетидзе! Вот тебя уволили, а ты опять к нам пришел. Как кто же тебе поверит, что ты на нас обижен? Ты на себя обижен, Гоетидзе, верно?

Гоетидзе молчал. За окном чернела ночь. Десятки людей сидели в напряженной тишине, прикованные взглядами и сердцами к человеку, который держал перед ними эту необыкновенную речь.

— Кто это говорит? — шопотом спросила Анка соседа.

Тот посмотрел изумленно.

— Жоржоладзе говорит, — строго сказал он.

Несколько человек оглянулись на Анку, и у всех разнообразно отражалось в глазах изумление.

— Товарищи, — заговорил Жоржоладзе, вдруг перестав ходить. — Товарищи, еще недавно у вас было очень мало электровозов. И вас самих было очень мало. Вас было десятка два-три на весь электрифицированный перевал. Теперь у вас много больше электровозов. Вон они стоят за стеной — американские, советские, теперь пришли итальянские... И вас стало больше, много больше, товарищи! Вот вы сидите здесь — грузины и русские, евреи и немцы... Электровозы становятся у нас все лучше, товарищи. Еще недавно мы смотрели на американские машины с разинутыми ртами, вот как на одной картине Репина или Перова смотрят крестьяне на паровоз с метлой. Мы даже копировали плохо, и наши копии с американского электровоза, сделанные в Коломне и на московском «Динамо», конечно хуже американца и постоянно встают в ремонт. Но вот мы выпустили на том же «Динамо» свой собственный, советскими людьми сконструированный, советский электровоз; он победил «американца» и получил за это марку «ВЛ» — имя Владимира Ленина. Он показал на руководящем подъеме скорость 36 километров в час,

а американский — только 30, при одинаковой силе тяги на крюке. Дальше, товарищи... Мы считали, что нельзя и не нужно требовать на электровозе еще большей чистоты в отделке, еще больше удобств для работающего человека, еще большей техники безопасности, чем все это делается в Америке и теперь у нас. Но вот пришли итальянские электровозы, и вы видите, что кабины их сверкают белизной, как пароходные каюты, что машинист может работать на них в своем лучшем выходном костюме и не запачкать его ни одной пылинкой, а безопасность работы доведена до того, что даже нарочно не сможет погибнуть от тока человек... Электровозы становятся все лучше, товарищи. И мы тоже должны становиться все лучше! Надо работать культурнее и ценить хорошую работу. Надо правильно использовать силу каждой машины. Надо правильно использовать силу каждого из нас. Вчера мы считали нашей гордостью машиниста, пробывшего на электровозе 30 часов под ряд. Сегодня мы говорим: это — не гордость, а преступная организация труда...

Время где-то текло, забытое всеми. Человек говорил, стоя перед конференцией, как командир перед частью, идущей в бой. За стеной глухо протрубил электровоз...

— Конференция закрыта, — сказал начальник депо.

Анка поймала его за рукав в толпе уходящих железнодорожников, получила пропуск на поездку, а от дежурного по депо — путевку на ночлег. Практикант ждал ее у выхода.

— Знаешь, кого назначают машинистами на итальянские машины? — торжественно сказал он. — наших комсомольцев — Куртанидзе и Франчука. Видишь теперь, кто лучшие?

— Знаешь, с каким машинистом мне разрешили поехать? — сказала Анка. — С Александром Кикнадзе. Начальник депо говорит, что это — лучший из старых машинистов.

Практикант смотрел на нее, мальчишеское лицо его расплзлось улыбкой.

— Я же с ним ездю, — сказал он. — У него и учусь. И потом, какой же он

старый? Канэчно, на паровозе лет двадцать пять ездил, но, как электро-машинист, — разве не молодой?

Спор о молодости кончался вничью. Она властвовала тут везде, над всей этой массой людей и машин. Электро-возы высились в депо длинным строем, словно провожая уходивших с конферен-ции людей. Люди шли веселой гурь-бой, огромное большинство их было так завидно-молодо, что даже старики каза-лись молодыми среди них, но моложе всех были электровозы: самые старые из них имели от роду года три, самые молодые не имели и трех месяцев.

Анка, пропуская толпу у выхода, сияющими глазами смотрела в ночь. Практи-кант стоял перед ней, прислонясь плечом к лесенке электровоза.

«Социализм есть советская власть плюс электрификация» — победоносно блистало на кузове электровоза во всю длину.

Только он один — самый молодой и самый мощный — был отмечен среди всех этой честью: марка «ВА», как ор-ден, украшала его кабину, а на груди практиканта красовался значок «ГТО». Будь Анка философом, она нашла бы, что электровоз и комсомолец вообще разительно схожи между собой.

Один весь блистал глянцем обшивки, металлом рычагов и поручней, но об-шивка была неряшлива, покороблена, и лесенка под поручнями была заляпана грязными следами ног. Другой блистал белыми зубами, белым воротничком, чи-стой кожей лица и юношеским блеском глаз, но новый костюм был измят и за-капан, а пальцы под ногтями и ободок воротничка были черны. Оба — машина и человек — красноречиво подтвержда-ли, даже видом своим, чей-то синтети-ческий тезис, и Анка вдруг вспомни-ла — чей.

— Слушай, — сказала она, — Жор-жоладзе... он начальник политотде-ла, да?

— Канэчно, — сказал практикант.

Он не понял, что заключалось в этом неожиданном вопросе.

Да и Анка не могла бы точно об'яс-нить своей смутной мысли, соединявшей в себе и оправдание, и укор. Они —

комсомолец и электровоз — еще не оли-цетворяли сегодня социализма. Сегод-ня это были только молодость плюс электрификация. Вот почему этот чело-век, Жоржоладзе, требовал от обоих большего.

Часы над которой депо показывали двенадцать. На земле начинался но-вый день.

Партийность тока

Отправление предстояло в пять утра. Еще в полной темноте Анка и практи-кант добрались до депо. Было холодно, неотступно хотелось спать. Два элек-тровоза стояли перед входом на путях, неподвижные и темные, — только де-повской прожектор освещал их сверху и сбоку. На площадках машин двига-лись неясные фигуры людей. Подходя, Анка видела, как один из них полез куда-то выше и, освещенный до плеч прожектором, старался дотянуться ру-кой до крыши электровоза. Трудно бы-ло разглядеть, что он там делает. Вид-на была только лохматая голова с тор-чащим из-под кепки чубом. Вдруг человек быстро отдернул руку — и над крышей с легким треском распрямились тонкие длинные суставчатые коленья, похожие на ноги гигантской стрекозы. Анка была уже около электровоза, практикант подходил.

— Пантограф, — сказал он, видя, что Анка очарованно смотрит вверх.

Две металлические лыжи, вознесенные стрекозиными ногами, упруго и плавно покачивались в вышине, то прикасаясь к проводам, то бесшумно отделяясь от них. Секунда, две, три — покачиванье кончилось. Пантограф застыл над элек-тровозом, блестя в луче прожектора, эстетически четкий в стройном перепле-те рам. И сейчас же щелкнул где-то включатель, и в темной кабине элек-тровоза вспыхнул свет.

— Сделано как... красиво, — громким шопотом сказала Анка. — Совсем жи-вой...

Практикант искоса глянул на ее вос-хищенное лицо и молча полез наверх.

— Это кто там... ты, Петро? — не-громко позвал он со второй ступеньки.

Лохматая голова наклонилась к нему с площадки:

— Я.

По чубу и кепке Анка узнала — это был тот самый, который лазил сейчас на крышу электровоза. Практикант, стоя на лестнице, сгреб его за широченную штанину, словно готовясь одним рывком сбросить вниз:

— Ты что сейчас делал, кацо, а?

Голос его был ровен, вопрос прозвучал спокойно, почти добродушно, но Анка почувствовала, что сейчас что-то произойдет. Парень мотнул чубатой головой:

— Чего делал? Пантограф подымал.

— Канэчно, — подтвердил практикант, не выпуская штанины. — А как ты его подымал, кацо?

Парень шмыгнул носом и отвернул голову. Свет из окна кабины бил ему в затылок, и выражение лица его нельзя было разобрать в темноте.

— Больше не буду, — глухо сказал он. — Последний раз... Теперь уж, честное слово, последний...

Практикант поцокал языком и вздохнул.

— Тебя кто выдвинул в помощники машиниста — комсомол или не комсомол? Ты что, умереть торопишься?

Проползли секунды молчания. Анка прислушивалась, затаив дыхание. О чем это он говорит?

Практикант разжал руку, выгтащил из кармана книжку и, подставив ее удобнее к свету прожектора, неторопливо и тщательно стал писать. Парень молчал, молча ждала внизу Анка; только электровоз размеренно стучал компрессором, и внутри его подвывало что-то, отдаленно напоминая Анке фабрику, на которую она ходила с экскурсией в Тифлисе. Кончив, практикант отрывисто сказал:

— Поставим тебя на бюро. Пусть все знают, какое у тебя комсомольское слово. Опустит пантограф и подними опять.

Парень исчез. Практикант поднялся за ним.

В кабине щелкнуло, — окна ее опять стали темны. Затих и стук компрессора, и подвыванье внутри электровоза. В

тишине послышался легкий треск. Мягкий шум падения ухнул наверху. Анка вскинула голову: пантограф уже лежал на крыше, поблескивая лыжами, освобожденные провода качались над ним. И снова все стихло. Стали слышны отдаленные голоса в депо и гулкое звяканье молотков по металлу. Сухошавый старик пробегал мимо. Анка спросила у него время, он остановился и сказал.

— Франчук! — закричали из депо.

— Сейчас! — отозвался старик. Он щелкнул крышкой часов и стал старательно укладывать их в карман.

— Слушайте... так это вы Франчук? — изумленно проговорила Анка.

— Я... А что?

Анка смутилась.

— Вы... вы — ударник?

— А как же.

Старик смотрел выжидающе, и она робко сказала:

— Вы... комсомолец?

— Эге... — Старик с досадой махнул рукой. — Вам не того Франчука надо. То Володька, сын мой... Он и комсомолец, и электровозник, и все такое... А я — дежурный по депо.

Он заторопился. Анка осталась одна, стало скучно. Она ухватилась за поручни; но лесенка, отвесно спускаясь с площадки электровоза, нижней своей ступенькой едва доходила ей до подмышек.

Имело полный смысл выждать помощи сверху — под тем солидным предложением, что неудобно же лезть на электровоз без приглашения, если ты не машинист и не инженер и вообще имеешь к железнодорожной тяге только косвенное отношение в виде собственной тяги к учебе.

— Эх, вот если бы в трусиках...

Первые с выезда на курорт Анка категорически осудила свою модную юбку.

— Давай руку, — нагнулся практикант с площадки. Анка подняла глаза: он усмехался покровительственно. Анка прищурилась, отбежала, вздернула юбку и, тряхнув волосами, как птица, взлетела на ступеньку по всем правилам физкультурного прыжка в высоту. Где-то на боку предательски треснула ма-

терия, практикант, не успев посторо- ниться, дернул головой в сторону, как конь, — девушка была уже рядом с ним на площадке.

— Помощь не признаешь, кацо? — продолжая улыбаться, сказал практикант. — Напрасно, кацо, тогда индивидуалист будешь.

Анка поправляла юбку, глубоко дыша расширенными ноздрями, ей стало опять легко и весело с этим славным парнем.

— Ничего подобного, — задорно сказала она. — Просто мне не нравится помощь, когда ее предлагают сверху вниз.

С площадки темнота в долине казалась еще черней. Редкая линия электрических фонарей уходила по насыпи к далеким огням станции. Теперь было видно, что прожектора освещали только часть обширной площадки, лежавшей между вокзалом и электродепо; дальше был влажный мрак и одинокие светящиеся точки фонарей. Анка стояла на краю площадки, лицом к кабине электровоза. За темными ее окнами угадывался человек. Практикант постучал пальцем в стекло и крикнул что-то по-грузински. Тотчас центральное окно открылось, и Анка разглядела, что это было не окно, а дверь. Высокий человек вышел из кабины, молча поздоровался с практикантом и повернулся к девушке. Он стоял в тени, и Анка различала только бледное лицо над широкими плечами и густые свисающие усы.

— Вот, познакомьтесь, — сказал практикант. — Это вот комсомолка из Москвы, будет учиться на инженера. А это — товарищ Кикнадзе Александр Дмитриевич, лучший из наших старых машинистов.

— Старый — правда, лучший — не знаю, — гортанно и низко сказал машинист, осторожно пожимая руку Анки. Голос у него был глубокий и приятный, очевидно он улыбался, но от усов и темноты этого нельзя было видеть. Он заговорил с практикантом по-грузински, Анка с удовольствием прислушивалась к звукам непонятной речи, и ей казалось, что они так же далеки и в то же время близки звукам ее родного языка,

как шум горной речки — журчанью и плеску равнинной реки.

Машинист приоткрыл дверь кабины, оттуда послышалось напряженное дыхание ритмично работающего человека.

— Петро, скоро? — крикнул машинист внутрь.

— Готово! — отозвался откуда-то из глубины голос помощника, и почти сейчас же над крышей электровоза раздавалось характерное потрескивание: пантограф, распрямившись опять, поднимал лыжи к проводам.

— Ага-а... — сказала Анка, глядя вверх. — Значит, его можно поднимать не рукой, а пневматикой, да?

— Канэчно, — отозвался практикант. — Рукой совсем нельзя. Ток ударит, конец будет. От своей лени погибать может человек. Ему насосом работать лень, ему рук жалко, а жизни не жалко.

— Ах, вот что... — разочарованно протянула Анка. — За это вы его и ругали? Он же всегда успеет отдернуть руку! Или перчатки такие ему надеть — вот когда трамвайные провода чинят...

Практикант хмыкнул.

У нас тут инженер лекцию читал, — негромко проговорил он. — У него так вышло, что электрический ток — тоже партийный. Что ж, тогда можно и пантограф рукой поднять, верно, Кикнадзе? Своих не убьет...

В голосе практиканта звучала ирония. Машинист молча стоял рядом. Он смотрел на далекие огни станции, и опять Анке показалось, что он улыбался в темноте.

Дверь кабины открылась.

— Все в порядке, — сказал изнутри голос чубатого помощника. Машинист сунул руку в карман, большой циферблат засветился в его ладони.

— Скоро поедет, — проговорил он и пошел внутрь. Опять щелкнуло там, вспыхнули электролампы. Теперь Анке видна была с площадки почти вся внутренность кабины — блестящие стенки, какая-то искрящаяся обшивка потолка, сияющий металл рычагов. Она посмотрела на машиниста и нашла, что он вовсе не стар. Он стоял лицом к ней, что-то делая правой рукой на приборах, по-

мещенных в простенке между дверью и окном. Электrolампа освещала сверху его густые чуть седоватые волосы, тяжелый лоб и смуглые щеки, прорезанные глубокими складками от крыльев крупного прямого носа к углам рта. Сосредоточенно глядя перед собой, он прикасался к каким-то невидным Анке предметам, — каждый раз слышался щелкающий легкий звук, и в недрах громадной машины послушно и мощно возникали то шум, то гуденье, то воющий вихревой гул или равномерные перестуки работающих механизмов. Электровоз оживал, дрожа от неподвижного напряжения — и дрожь его возбуждающе и радостно передавалась девушке.

Полуоткрыв рот, крепко стиснув руки, она, не отрываясь, смотрела в окно кабины. Могучие силы природы, яростный напор стихий слышался ей в этих шумах. Вот загудело в глубине, — низко и ровно — тяжкий поток энергии, закованной в металл... Шевельнулись, двинулись, пошли гигантские мышцы — стальными коленями, блестящими от масла, как от пота, ворочаются где-то внутри — стучат напряженно и четко, готовые обратить в движение любую силу на земле... Щелк! — и замерли стучи. Затихает гуденье, словно иссякший водопад. Щелк! — взвыло в недрах бешеным вихрем, будто тысячи ветров ворвались в машину и рвутся все сразу вон... Щелк! — и мгновенно спадает вихрь, укрошенный, ослабевший в секунду до такой тишины, что слышит Анка стук своего сердца...

Машинист в кабине стоит неподвижно. Он кажется Анке всемогущим, это — командир стихий, движением руки рождающий и скрывающий невероятные силы... Лицо его нахмурено и спокойно. Вот он отнимает руку от приборов в простенке, трогает что-то внизу — резкое, оглушающее шипенье бьет Анке в уши. Оно растет, ширится, пронзающе-яростно шпарит в ушные раковины — вот сейчас, сейчас лопнут барабанные перепонки. Мгновенье — и вновь тишина. Шипенье прекращается внезапно, как началось. Влажный ветерок тянет над площадкой, перед яркими

окнами электровоза все чернее густеет мрак.

Девушка блестящими глазами смотрела на машиниста. Она стояла у окна, жадно заглядывая внутрь. Дверь в кабину открылась.

— Заходите, — сказал машинист. — Сейчас поедем.

Внутри было чисто и светло. Сяли под электричеством рычаги и приборы, глянцеви́то блестела краска, отражаясь в оконных стеклах зеркальными бликами. Только теперь Анка увидела позади машиниста — перед окном в правой стороне кабины — кожаное кресло с мягкой полукруглой спинкой.

«Как на пароходе» — подумала она.

Такое же кресло было и для помощника, перед окном слева; за ним виднелась открытая дверь; заглянув туда, Анка увидела узкий освещенный коридор. Чистый легкий воздух стоял в кабине, несмотря на тесноту: все было так пригнано, так экономно и разумно размещено, что кабина казалась даже просторной, хотя четыре человека заняли ее всю.

— Садитесь, — сказал девушке машинист. Но Анка уже выбрала себе место, она встала в уголок между стенками, за креслом машиниста, и улыбнулась довольно:

— Спасибо, здесь видней, и мешать не буду.

Машинист улыбнулся тоже — серьезно и мягко, чуть раздвинув густые усы. Так улыбался ей когда-то отец, если был вполне доволен ею.

— Учиться хотите?

Он встал у контроллера. Трубный густой звук прогудел снаружи, в кабине щелкнуло, за боковым окном бесшумно поплыла мачта: электровоз уже шел. Анка не заметила даже, когда и отчего он тронулся с места, и это было ее последнее изумление.

Все, что управляло этой необычайной машиной, все теперь видела она прямо перед собой, и все было понятно и просто.

Вот — контроллер, справа — рукоятки тормозов, повыше — Вестингауза, а этот, очевидно, Казанцева... В простенке — доска распределительного щита,

на ней белые диски. Это — манометры. Верхний, конечно, вольтметр — и красное поле для стрелки определяет пределы напряжения... Значит, минимум 1.500 вольт, максимум 3.750, а посредине — норма... Кажется, инженер говорил — 3.000. Справа этот, как его... которым измеряется скорость, — вон и предельная цифра — 65, значит, в час шестьдесят пять километров... Во втором ряду — амперметры, и если стрелка на левом дойдет до + 220...

Облокотившись на спинку кресла, Анка деловито разглядывала приборы. Все было знакомо, как в физическом кабинете школы, как на фабрике — у матери в цеху. Прищурившись, она читала надписи, вырезанные по металлу у кнопок включателей, и уже видела, что левый ряд кнопок распоряжается освещением всех частей машины, а правый — механизмами. Машинист уже не казался ей повелителем стихий. Он стоял вполоборота к ней — молчаливый пожилой грузин с широкими плечами и морщинистой шеей над чистым воротом рубахи. Какое строгое и доброе у него лицо. Наверное, у него много детей, и самая взрослая дочь даже старше ее, Анки...

Электровоз подходил к станции. Огни вокзала неслись навстречу из мрака, уныло запел рожок стрелочника, — машина, постукивая, перешла на четвертый путь. Темный силуэт выплыл в полумгле и встал перед окном электровоза. Анка узнала водонапорный кран. Машинист ушел на площадку, за ним прошел из коридора помощник, обтирая руки тряпицей. Практикант и Анка остались вдвоем.

— Опять, — сказала Анка. — Ну, почему мы встали? И давеча тоже тут стоял электровоз...

Практикант посмотрел в окно.

— Тут паровозы воду берут.

— Ну да, но ведь электровозу не надо воды? Слушайте, что это такое? Из-за того, что электровозов еще не хватает, так они должны ходить по паровозному графику? Неужели это правда?

— Правда...

Практиканту явно хотелось спать.

На площадке застучали шаги. Вошли машинист с помощником и еще один в военной форме. В кабине сразу стало тесно. Анка смутилась. Она почувствовала, что уши у нее краснеют, как всегда бывало в школе при выговорах перед всем коллективом. Протиснувшись между машинистом и военным, она встала опять за креслом, нахмутив брови и напряженно глядя на манометры, точно поглощенная их изучением.

— Поехали, — сказал военный.

Машинист взялся за контроллер, электровоз протрубил и пошел мимо станции. Справа, на соседнем пути потянулись опять огромные серые цистерны — три, семь, двенадцать... Анка считала двадцать и перестала считать.

Электровоз миновал цистерны, вышел на стрелку и тронулся назад.

— С нефтяным поедом? — спросил человек в военной форме. Машинист молча кивнул головой. Сидя без дела на его месте, практикант то следил за движениями машиниста, то выглядывал через окно назад, на приближающийся состав. Анка видела, что ему невольно хочется подсказывать, как это всегда делается на паровозах, на грузовиках и на всех очень тяжелых машинах, когда тот, кто управляет обратным движением, сам не видит его конечной цели. Но в то же время практикант почему-то явно удерживал в себе это естественное желание; он только все чаще и короче оглядывался то на руку машиниста, то в окно. Электровоз все медленней двигался назад. Машинист стоял у контроллера, не снимая ладони с рукоятки, чуть наклонив голову вбок, словно к чему-то прислушиваясь. Анка смотрела в окно. Ни один предмет не проплывал в темноте, и ей показалось, что движения уже нет. Но электровоз еще двигался. Громадная машина тяжело и осторожно поскрипывала обшивкой, как скрипит половицами или паркетом грузный человек, старающийся не разбудить спящего. Анка незаметно оглядела кабину: помощник и военный тоже молча смотрели на руку машиниста, и у обоих в глазах было такое же настороженное, прислушивающееся выражение.

Практикант уже не оглядывался; высунувшись в окно всей грудью, он теперь неотрывно смотрел назад — в изогнутой позе его стыло напряжение. Легко, едва слышно блякнули буферные тарелки. Электровоз чуть дрогнул и встал. Только теперь, отпустив рукоятку, машинист тоже выглянул в окно.

— Готово!! — прокричали снаружи.

Машинист выпрямился, военный посторонился перед ним, и он молча прошел через кабину в коридор, соединявший ее с другим концом электровоза.

— Сам и сцепку проверяет, — улыбаясь, тихо сказал военному помощник машиниста. Практикант услышал и обернулся от окна, выпуклые глаза его блестя.

— Мировой машинист! — восторженно проговорил он.

Анка думала то же самое. И, когда военный сказал негромко, что Кикнадзе безусловно опытный машинист, но что форсить все-таки не следует, потому что будет подражать молодежи, Анка даже прищурилась от двойной обиды.

— Это не форс, а искусство, дорогой товарищ, а молодежь не обезьяна... Если хотите, так нашу молодежь больше следует крыть за недостаточную склонность к заимствованию у стариков, а не наоборот...

Отпор получился вполне достойным краснознаменного комсомола, хотя Анка конечно не произнесла его вслух. Она только посмотрела на военного товарища с предельной выразительностью, и было очень досадно, что он и этого, кажется, тоже не заметил.

В это время вернулся машинист.

— Какой состав? — спросил военный.

— Тридцать две.

— Везет тебе. Кикнадзе... — военный усмехнулся и почему-то подмигнул Анке. — И что такое, как твоя смена — всегда этикие составы попадают, а? Нет, чтобы полегче, или там сухогрузных бы нацепляли, — раз Кикнадзе, значит, тяни две тысячи тонн, и никаких...

Машинист сдержанно улыбался в усы.

— Ничего, вытянем. За нас не бойся, кацо. Работать трудней — отдыхать веселей...

Стоя у контроллера, он опять сосредоточенно проверял управление — включал поочередно кнопки освещения, пробовал вентилятор и тормоза. Опять шипело и завывало в машине, послушно рождалось четкое выстукивание компрессора, — электровоз работал, как часы.

— Держи, хозяин! — раздалось под окном. Кикнадзе высунул руку и принял жезл.

Разговоры в кабине прекратились, стало тихо. Машинист протрубил сиреной и чутко прислушался: далеко позади, в самом хвосте состава низко и густо отозвалась («...толкач!» — поняла Анка) сирена другого электровоза. Еще не замер во мраке ее звук, — машинист двинул рукоятку, — поезд мягко и плавно тронулся с места.

Ни толчка, ни рывка назад...

Анка вздохнула от восхищения. Две тысячи тонн металла и нефти в громадах, растянутых на треть километра, сцепленных неуклюжими тяжелыми крюками, одновременно сдвинулись и пошли, словно пара велосипедных колес. Электровоз уводил их из долины, ровно и мощно стремясь вперед. Анка смотрела на машиниста, на колеблющиеся стрелки манометров, на темные стрелы мачт, все быстрее возникающих из мрака навстречу яркой полосе света, которую нес перед собой электровоз... Там, за окнами, отовсюду нависала сурамская ночь. Долина отступала, мигая огнями. Невидимые во тьме горы придвигались к насыпи медленно, как века. «Толкач» несся в хвосте, почти не помогая: его роль возобновлялась дальше — там, где отроги хребта уже вплотную теснили трассу, где все выше и круче выпирала насыпь, сжатая с обеих сторон скалистыми об'ятями.

Стрелка левого амперметра качнулась, под'ем возрстал.

В освещенном экране бокового окна все ближе, все тесней вырастали обрывы гор. Каменные утесы, растрескавшиеся глыбы тысячелетних нагромождений, отвесные стены, заросшие ку-

старником, торчащие полувывороченными корнями деревьев, — они подступали к насыпи, нависали над самым поездом, пронеслись перед окном так близко, что Анке казалось, — вот протянуть руку, и ударят по пальцам колючие сучья кустов...

Электровоз гудел компрессором, как аэроплан, набирающий высоту. Помощник машиниста и военный, стоя в левом крыле кабины, разговаривали громкими напряженными голосами, но Анка от гула не могла разобрать ни одного слова. Но вот машинист выключил вентилятор, и Анка услышала жесткий говор военного:

— ... раз так, нечего и хвалиться. Нечего кричать об успехе... Успех — это значит сто процентов успеха, а не семьдесят восемь. Пора понять — нет плохих учеников, есть только плохие учителя...

Анка прислушалась. В школе она знала немало плохих учеников. Вот Гелий Дудкин, Ирка Шмакова — они кончали вместе с нею, и Гелий как-раз так и оправдывался, вина не себя, а учителей...

Военный говорил:

— ... если на курсы выбрано тридцать восемь лучших паровозных машинистов, стало быть, вы должны из них сделать тридцать восемь таких же лучших электровозников.

— Тридцать сделали, — сказал помощник.

— А восемь где? Скажешь, срезались на экзамене, — без тебя знаю. Но почему срезались именно эти, а не другие?

— По неспособности, почему... Во-первых, четверо...

— Знаю, сами обратно на паровоз запросились. Ну, и что же? Я слышал даже, как один из них под пьяную лавочку охаял всю электрификацию перевала. За это я ему на собрании рассказал басню про лисицу и виноград.

— Ну?

— Ну, и ребята лишили его звания ударника. Так это о чем говорит? Что он, неспособный, по-твоему? Ничего подобного! Просто такого на электровозные курсы рано было посылать. Парень — далеко не из лучших, стало

быть, ошибка тех, кто его выбирал и выдвигал. Четыре таких ошибки — вот тебе и эти четыре «скептика»...

Анка слушала, делая вид, что смотрит в темноту. Ветренным холодком высоты тянуло с гор в окно. Поезд все поднимался. Правда, Ирка Шмакова тоже вот такая. Про алгебру всегда говорила — точь-в-точь, как лисица про виноград...

— Нет, кацо, дело в нас самих, — говорил военный. — Вот ты про вторую четверку скажи... Что с ней сделали? Ну, те сами попятались. А эти? Ведь прямо зубами ребята цеплялись, ни в какую не хотели назад, на паровоз, — это же надо ценить, кацо, это надо понимать! Когда рабочий парень так за науку хватается, наше дело тянуть, вытягивать всеми силами, а ведь тут к тому же молодые партийцы. Да еще какие... Коля Кикадзе, Саша Икашвили... Хачидзе Евгений, Дмитрий Гачичиладзе... На подбор люди, кацо! Прямо с экзамена пошли требовать, чтобы дали им еще полтора месяца учиться — и все шесть недель только их и видели, что на электровозе да в депо... Кино забыли, Тифлис забыли, один, говорят, даже бриться перестал... Ты только подумай — лучшие машинисты, премированный народ, об них и в газете, об них и на собрании — портреты, грамоты там, путевки разные, ну, плохо ли таким на паровозе? И вот — не хотят обратно! Опять стали учениками, провалились и все-таки не отступают, вот что пойми! Ведь они на паровозе по четыреста выработывают, а то и пятьсот в месяц, — и все-таки сами предпочитают получать 250, лишь бы быть практикантом на электровозе... Нет, таких людей никаким экзаменом не отпугнешь! Вот, Гачичиладзе уже выдержал, и остальные трое через месяц бы выдержали, ручаюсь, — так нет! Загоняют ребят обратно на паровозы...

Электровоз протрубил. Трехзвучный призыв сирены возник в горах — эхом дремлющим ясным голосом отозвалось из мрака, и полетели, понеслись далеко-далеко ночные протяжные трубы, словно за каждой горой, за каждым склоном хребта шел в море парход-

Впереди, совсем близко, мигали в черноте огни.

— Лихи, — сказал практикант, обирачиваясь к Анке. Он опять сидел без дела — машинист сам взялся за контроллер и тормоз.

Поезд плавно подошел к станции, постоял недолго и плавно двинулся дальше; все совершалось так, словно это был не громоздкий нефтяной состав, а легкий пассажирский поезд.

Опять сигналом позвал электровоз толкача. Тот ответил настороженным спокойным басом, и опять изумительно согласно оба тронули с места, и две тысячи тонн металла и нефти потянулись в темную высь.

Анка знала, что это последние километры до вершины под'ема: следующая станция была уже за перевалом.

Вверху, внизу, по сторонам за боковыми окнами — всюду мерцали и прятались огни.

«Неужели это все — электричество? — подумалось радостно. — Какая же глушь тут раньше была...»

Горы словно раздвинулись. В высоте над вершинами угадывалось темное близкое небо, но так мешал смотреть наружу яркий свет в кабине, и от него так слитно чернело все за окном, что невольно и незаметно закрывались глаза, и никак нельзя было разобрать — огни ли, звезды ли мерцают там наверху. Вдруг огни пропали, и сразу стало тесней. Не было видно скалистых стен; но Анка чувствовала, что они — тут, рядом — из окна опять потянуло холодом, электровоз шел тише и весь гудел.

— Спать хочешь, кацо? — сказали у нее над головой. Голос звучал отдаленно, как через вату.

— Нет, — хотела сказать Анка, поднимая голову, но губы не разомкнулись, голова не поднялась, и она поняла, что не «нет», а «да». Ей казалось, что поезд идет назад. Внезапно опять затрубила сирена — резко и мощно, как никогда. Анка вздрогнула и открыла глаза.

— Что это?

Толкач позади отозвался также необычно: словно около уха прогудел его низкий голос, и эхо мгновенно и густо отдало оба звука, колыхая их над са-

мым поездом, как невидимые черные облака. «Как в ущелье», — мелькнуло у Анки. Торопливо просунулась она через плечо практиканта, сырой холод охватил лицо и шею, — перед ней почти вплотную к насыпи ползла гора.

— Туннель скоро, — сказал практикант. Он тоже высовывался в окно, облокотясь на нижнюю раму. Ночной ветер шевелил его жесткие волосы.

Темнота медленно растворялась в мутной сероватой мгле. Даже неопытному глазу Анки заметен был под'ем. Камни, кусты, кривые корявые деревья, набегавшие на свет кабины, — все цеплялось и лезло куда-то вверх. Рельсовый путь уходил непрерывным поворотом. Поезд медленно поднимался вокруг горы.

Скоро туннель...

Придерживая треплющиеся волосы, Анка напряженно смотрела вперед. Ничего — ни огней, ни силуэта горных вершин в небе, ни самого неба... Мгла. Ветер и мгла. Опять протрубили друг другу электровозы, передний — певуче-протяжно, как гигантская волторна, толкач — низким и медленным органическим строем, словно адажио в духовом оркестре, взятое одними басами.

Анка тронула плечо практиканта:

— Слушайте, почему у них такие разные сирены?

— Нация разный и голос разный, — отозвался практикант. Показалось, он улыбнулся в темноту. — У нашего голос рабочий, а у того... То — американский электровоз, а этот в СССР делали...

Темные громады цистерн ползли в гору, смутно чернея над насыпью. Далеко-далеко, совсем не сзади, а справа и словно внизу, то светили, то прятались круглые глаза «толкача». Электropоезд шел почти бесшумно — и все-таки был отчетливо слышен в тишине. Казалось, горы и ночь напряженно следят за продвигом двух машин, затаив все звуки, какие еще доносит жизнь на высоту почти двух тысяч метров.

— Красота... — вздохнула всей грудью Анка.

— Ц-ц... мировые машины... — тихо заговорил практикант. — Такой под'ем на весь Советский Союз нету, кацо.

Пассажирский поезд, и то два паровоза нада, а на этот — и три мало, четыре часто берут. И то разрыв бывает, кацо...

Устав стоять, Анка села на кресло в левой стороне кабины. Глаза ее закрылись, голова прислонилась к раме. Нефтеналивный ночной поезд уносил ее в бесконечность, в мыслях стало легко и ясно, и все увиделось по-новому, как с высоты, все показалось необычайным, словно не в тысячный, а в первый раз шли электровозы на Сурам.

... Вот он идет и гудит над ущельями и скалами, детище коломенских рабочих и московского завода «Динамо». Стучит компрессор, как тысячи их слитых сердец, столько воздуха втягивают вентиляторы, что хватало бы на тысячи человеческих легких, и страшно подумать — сколько тысяч дружных людей понадобилось бы на такой груз, чтобы перетащить его через эти горы! Громаден груз. Непрерывен и крут подъем. Но много силы в электровозе!

Вот идут они двое, «Сурам советский» и «Дженераль электрик», — одна из тех американских машин, которые привезены сюда из-за океана два года назад, как диковина, и которых мы не будем больше привозить никогда, потому что научились делать еще лучшие у себя. Идут, соединив через медные провода русский революционный размах и американскую деловитость, идут — и контактная сеть напрягает их током в три тысячи вольт, как дружеским рукопожатием великанов. Идут и переключаются сигналами, чтобы враз, чтобы вместе, чтобы одновременно пускать в ход свою тяговую силу:

— Тру-у-у... — призывно трубит один.

— Тро-о-о-ом... — гудящим органическим басом отвечает другой. И оттого, что так дружно, четко и точно сопрягаются их тяговые усилия — верной становится целостность поезда, надежными — сцепленья вагонов и ничтожной — гибельная опасность разрыва...

Ночной ветер задувает в кабину на поворотах. Он врывается в окно и треплет волосы Анки. Круглый локоть ее совсем лег на раму окна, голова лежит на локте.

— Проснись, кацо, — сказал над головой Анки жесткий голос военного. Но опять она услышала его, как через вату. Все увиденное и пережитое за один замечательный день кружилось и путалось в голове. А электровоз, поднимаясь все выше, увозил ее в прекрасное будущее, и это был уже не сон одной комсомолки, а явь молодой страны, строящей новую жизнь.

Не на один Сурам, — и на Москву, и на Чусовую, и на Ленинград, и на Кандалакшу — в самых разных областях и краях Советского Союза уже тянутся электромачты над рельсами железных дорог — и Северной, и Пермской, и Октябрьской, и Мурманской, и других — на одних уже двигая электровозы, на других — электровагоны, на третьих — еще только размечая будущие подстанции на планах и чертежах.

Пусть на всем земном шаре, кроме СССР, люди продолжают только мечтать о широкой электрификации железных дорог или обманывать себя и других враньем о ее ненужности.

Где существует капитализм, там третьего решения нет и не может быть. Только той стране выгодно электрифицировать железные дороги, где эта выгода решается во всем народнохозяйственном масштабе любой области или края, а не в масштабе интересов какой-нибудь акционерной кампании. Только там выгодно двигать поезда током с электростанций, где этими же электростанциями освещаются близлежащие города, питаются соседние с дорогой заводы и фабрики. Это очень легко решается в стране социализма. Это немислимо ни в одной капиталистической стране.

Тульская комсомолка дремала в кабине электровоза. Грузинский коммунист с украинцем-помощником вел электровоз на перевал. Электроток тек в проводах. Он тоже не был беспартийным, несмотря на иронические сомнения практиканта. Он был выгоден большевистскому поезду, — он, убыточный многим фашистским поездам. Он явно сочувствовал побеждающему коммунизму.

Совесть электромашиниста

— Туннель, — громко сказали над ухом, и Анка очнулась. Человек в военной форме стоял около машиниста. Электровоз шел и трубил. Во всех окнах кабины опять глухо чернела ночь, даже в самой кабине стало как будто темней. Но эта была совсем другая ночь: она дышала затхлой, промозглой сыростью — не ветер с гор, а подземный холод тек мимо окна. Мутножелтая точка возникла издали; она приближалась, расплываясь неясным пятном, туманно светясь во мраке, за ней другая, третья: туннельные электролампы. В неживом их свете Анка увидела сырой каменный свод, — глубокие швы бороздили кладку, крупная капля выступала на стене, как холодный пот. Внезапно впереди, словно в тумане, протянулась огненная нить; это был поворот — теперь туннель лежал перед поездом во всю длину, пронизанный рельсами и линией ламп — тремя бесконечными прямыми. Но как тускло, как темно... Кабина, в самом деле, тоже была в полутьме — все лампы выключены, только щит с манометрами как будто освещен изнутри. Анка хотела было спросить об этом машиниста, но поняла сама: так виднее было вести электровоз. Станный звук, похожий на сигнал, рождался и замер.

— Звонок? — вопросительно сказал военный. Машинист молча наклонил голову.

— Значит, дальше без толкача... — проговорил военный, помолчав. Это было тоже полувопросом или мыслью вслух, и опять машинист кивнул, не оборачиваясь. Спокойная поза его приметно изменилась. Он стоял, наклонившись вперед, вытянув правую руку. Только один его глаз, зоркий и круглый, как у ястреба, был виден Анке сбоку, и этот глаз напряженно следил за амперметром мотора. Что-то произошло и с электровозом. Он уже не полз, он шел по туннелю, швы на стенах и туманные пятна ламп проплывали быстрее, уже далеко до самого конца круглился трубой свод — было так, будто поезд внутри гигантского пушечного ствола, и дуло орудия, наведенное,

быть может, на Марс, вдруг наклонилось, и поезд покатился вниз.

Перевал был взят. Где-то позади, по ту сторону хребта, спускался обратно «толкач». Впереди засветлело, — выход мчался навстречу, там уже не было ночи, там были небо и простор!

Машинист отрывисто и громко сказал что-то помощнику и опять застыл глазом на амперметре. Помощник исчез в коридоре.

Военный переместился еще ближе к машинисту и оглянулся на Анку, как бы приглашая ее занять место для наблюдения.

— Вот сейчас и будет рекуперация, — сказал он своим жестким голосом. Глаза его блеснули улыбкой, и по этой улыбке стало понятно, что он — тоже грузин. Анка встала с ним рядом. Только теперь она заметила, что на петлицах его гимнастерки нет знаков отличия, — лишь следы их были видны на сукне. Девушка увидела также, что он строен и худощав, что у него бледно-смуглое лицо с тяжеловатой строгой линией носа и рта и красивым крутым подбородком. Он внимательно следил за стрелкой амперметра и за работой машиниста, приподняв густые черные брови, почти сросшиеся над переносицей.

... и черная чайка твоих бровей летит на меня в упор —

вспомнилось Анке. Конечно, это был тоже грузин, но почему-то выбритый очень плохо, несмотря на явно молодые годы.

Практикант, сидевший на месте машиниста, тоже смотрел, не отрываясь, за движениями учителя. Глаза у него сверкали, мальчишеское лицо розовело от волнения.

Стрелка амперметра, колеблясь, двигалась влево, к рубежу белого и красного полей. Машинист левой рукой работал контроллером, но уже не нижней, а верхней рукояткой; правая рука его в напряженной готовности держала тормоз. Поезд шел все быстрее, выход светлел, стремительно близясь навстречу, — и вдруг тормоз пронзительно зашипел. Стрелка дрогнула, замерла, шипенье выросло, оборвалось и опять возникло, осторожно нарастая в тишине

кабины. Электровоз мчался почти бесшумно — замер стук компрессора, не слышно было вентиляторов, — так замирает сердце и захватывает дыхание у бегущего под гору человека. Машинист стоял неподвижно, попережнему чуть наклонясь вперед, руки его попеременно и коротко, едва заметно двигали рукоятками. Эти руки, контроллер и тормоз, ползущая стрелка и зоркий глаз над ней — все жило сейчас какой-то общей слитной жизнью — человек всей душой, всеми нервами словно впаялся в несущуюся массу металла, хитроумно и тяжело слаженную из тысячи частей, — и от этого разрасталась невидимая Анке гигантская игра сил, понятная и подвластная только ему, хозяину машины, и, может быть, этому небритому человеку в военной форме. Туннель кончался, стены летели мимо, лампы мелькали вверху бледными язычками, электровоз затрубил победно и яростно, как вырвавшийся на волю зверь.

Конец, конец!

Свет ударил в глаза. Бледноголубым океаном сиял простор, весь из ветра и высоты, — зелень, склоны, козы и крыши стремглав разбегались в стороны. Электровоз летел прямо в небо, направляемый усатым человеком навстречу заре. Буйная радость жизни пахнула Анке в лицо. Ее бросило опять к окну. Зажмурясь, она жадно глотала ветер, пока не занемели зубы, потом сразу распахнула глаза. Еще не было ни дня, ни утра, был только свет. Слабо розовели далекие вершины. Внизу облаками стался туман. Зеленые и рыжие склоны кружились перед насыпью, торжественным хороводом встречая рождение солнца. Поезд постепенно сдерживал ход. Анка оглянулась: гора медленно и бесшумно, как во сне, падала назад. Последние цистерны сбежали от туннеля, «толкача» не было. Вокруг под деревьями мелькали крыши, кружение склонов совершалось все медленней, мачты электропередачи опять были тут. Они тоже кружились вдоль насыпи, поворачивали, вели к площадке, к зданиям — и встали.

— Ципи, — сказал жесткий голос военного.

На станции он вышел, закурил и стал поодаль от электровоза. Молоденький смазчик подбежал к нему, подал грязную пятерню и чистый самодельный пакет, плотно набитый свежими газетами. Подошли еще двое, издали ухмыляясь военному, как старому знакомому, потом слез и приблизился старик-машинист с товарного паровоза, стоявшего на запасном пути, — каждому что-то нужно было от военного, и ему что-то нужно было от каждого из них, и каждый закуривал из пачки, которую военный так и держал открытой, механическим движением подставляя ее всем.

Рысцой подскочил дежурный по станции, протискался в середину и стал жаловаться, яростно действуя руками, глазами и голосом. Военный и ему дал папироску, выслушал, пожал руку и сказал вдогонку:

— Если послезавтра не сделаешь, арестую, судить будем...

Анка из кабины расслышала только конец фразы и улыбнулась, как шутке; но никто не смеялся около военного, и дежурный по станции пробежал мимо с таким видом, словно ему только-что сообщили о крушении. Военный стоял в кучке железнодорожников, расспрашивая и куря, усмехаясь и хмурясь. Никаких карандашей и блокнотов не было у него в руках, только выражение лица, небритого и изжелта-бледного, беспрестанно менялось, словно отражая быструю смену обступавших его мыслей и фактов, желаний и дел. Ему принесли зачем-то обломок вагонного сцепного крюка, и он внимательно осматривал его, в то же время следя и прислушиваясь к руготне тех, кто принес. Две девушки в железнодорожной форме пробежали мимо с пакетиками в руках. Одна остановилась и через головы людей протянула военному пакетик, смеясь и требуя, чтобы он взял, — он тоже улыбнулся ей и вынул конфетку из пакетика, не выпуская из рук обломка. Стрелочники, кондуктора, сцепщики вагонов — все приветствовали его, проходя мимо, и многих он подзывал сам, окликая по именам. Когда электровоз протрубил отправление, он оглянулся с таким видом, как будто еще колебался —

ехать ему дальше или нет, быстро поговорил еще с одним из окружающих его железнодорожников, сунул другому оставшиеся в пачке папиросы, уже на ходу ловко прыгнул на электровоз и вошел в кабину.

— Встречный опаздывает, — сказал он машинисту.

— Ничего, — отвечал машинист. Он опять стоял наготове, зорко следя за стрелкой амперметра, короткая усмешка дрогнула у него под усами:

— Ничего, мы его подтянем...

Это была, очевидно, удачная шутка; но Анка не поняла его слов и увидела только, что они очень понравились военному.

— Ага, правильно... Подтяни, пожалуйста, кацо, побольше его подтяни.

Военный посмотрел на Анку, как бы приглашая ее разделить предстоящее удовольствие, и, видимо прочитав на ее лице смущенное непонимание, повернулся к ней.

— Опять рекуперация будет, — сказал он с довольной улыбкой. — Знаешь рекуперацию, кацо? Ага, сейчас объясню.

И, разжав ладонь, протянул конфету, полученную на станции. Анка хотела отказать, вежливо поблагодарить и намекнуть с достоинством, что она уже не маленькая. Но конфета была слишком хороша, в пышной, прозрачной бумажке, большая, может быть, даже шоколадная...

— Спасибо, — сказала Анка, любезно и небрежно, как взрослая, откусила кусочек и, не удержавшись, тут же отправила в рот всю, покраснев от смущения.

Электровоз, пройдя станционную площадку, уже шел вниз. Впереди развивался уклон, такой же явственный и непрерывный, как до туннеля — подъем. По склонам громадных гор, то блистая под нависшей скалой, то пропадая в ущелье, вился бесконечными изворотами рельсовый путь. Уже сияли солнцем вершины хребта и голубое грузинское небо, но самого солнца еще не было: где-то за перевалом катилось оно вверх, не поспевая за электропоездом. Он стремился под уклон, выгибая по насыпи круглый хвост, длинный и суставчатый — по числу цистерн, он

летел все быстрее и предупреждающе трубил на поворотах...

В кабине покачивало. Военный говорил, Анка слушала, от изумления забыв конфету во рту.

Так вот оно, незаметное искусство рекуперации, гордость электровозных машинистов, высшее достижение электрификации транспорта!

До трех тысяч вольт поднято напряжение тока в контактной сети, чтобы вести электропоезда через Сурам. Если ниже 1.500 вольт упадет оно, электровоз встанет, как мертвая громада металла. Попрежнему будет гореть электрический свет и на Рионе, и на Сураме, попрежнему будут бегать трамваи в Тифлисе, — электровоз будет неподвижно стоять, потому что сдвинуть его может только сила такого напряжения, которое четверо мощнее напряжения в трамвайной сети и вдесятеро мощнее, чем в осветительной сети самых больших городов.

Огромную силу тока тянут из проводов электропоезда!

Но вот кончен подъем, взят Сурамский хребет, начинается спуск под уклон. Электропоезд движется вниз, он не берет уже тока из проводов, он идет силою собственной тяжести, и машинист только сдерживает тормозами его ускользящий бег.

И тут начинается рекуперация.

Колеса электровоза, трение их о рельсы, вся система машины сама становится производителем энергии, — она не только не берет тока из сети, она сама начинает давать ток в сеть...

— Это... это чудесно!.. — проговорила Анка. Глаза ее были широко раскрыты, она смотрела то на машиниста, то на движущиеся губы военного. В окнах мелькали мимо деревья и мачты. Впереди, открывая дорогу поезду, стремительно уносилась вправо лесисто-рыжая гора. Электровоз летел за ней, скользя по самому склону, — все тридцать две цистерны сами гнали его теперь, превратившись из пружа в живой, огромный, лавиной катящийся вес. Это был уже не электровоз — это была мчащаяся электростанция, налету заряжавшая провода двигательной силой.

Все теперь было понятно Анке. Стихия инерции, взъяренная громадным уклоном пути в двух тысячах тонн металла и нефти, бушевала сейчас в недрах электровоза, и эту стихию держал двумя рукоятками молчаливый усатый машинист. Контроллер и тормоз в его руках попеременно командовали этим потоком сил, и лишь в искуснейшем, хладнокровнейшем сочетании управления заключалась победа над стихией.

Нельзя было совладать с нею одной правой рукой, — тормоз принял бы на себя всю мощь инерции, и электропоезд спустился бы вниз, как всякий обыкновенный паровой поезд, как грузовик, как простая колхозная телега, не создав и не передав в провода ни одного ампера электричества.

Нельзя было совладать со стихией и одной левой рукой, — промадная сила разбега, не удерживаемая тормозом, вся ударила бы внутрь электровоза и пережгла бы его передаточную систему, убив драгоценную машину и опять-таки ни капли энергии не вернув в контактную сеть.

Машинист стоял у приборов, чуть прищурив глаза на манометры, — он их видел все сразу, он видел и путь впереди, и вершины гор, и небо, горячее от солнца, — он видел все, и руки его коротко и четко двигали то правой, то левой рукояткой, а поезд все мчался и мчался вперед...

— Молити, — произнес военный.

Вдалеке, в зеленых купах на склоне, показались постройки. Уклон смягчался. Завиднелась станционная площадка. Анка вздохнула всей грудью, как будто это ей предстоял отдых от напряжения. Конфета все еще была за щекой, она с наслаждением перевернула ее языком и уже спокойно, удовлетворенно и весело стала смотреть, как поезд подходит к станции.

Остановились. Машинист вынул чистый белый платок, высморкался и, расправляя усы, посмотрел на военного, потом на Анку:

— Хороша машина, — убежденно и весело сказал он. — Совесть имеет, верно? Советскому государству долг отдает, какой еще машины надо? —

Усы у него шевелились, глаза смеялись. Анка восторженно смотрела на него.

— Это не машина, — сказала она неожиданно, — это вы сделали!

— Мы вместе, вместе, — проговорил машинист, тщательно вытирая усы платком и продолжая улыбаться глазами. Он пошлепал ладонью по гладкой рукоятке контроллера. Он и сам имел вид человека, с трудом и с честью отдавшего труднейший и почетнейший долг, долг социалистической совести. Военный подождал, пока он кончит сморкаться, протянул ему руку и крепко, с уважением пожал ее.

— Будь здоров, спасибо тебе, — просто сказал он. Потом попрощался с Анкой и слез с электровоза.

— Кто это? — спросила Анка.

— Это? — удивленно произнес машинист: — Это, кацо, наш политотдел.

Проверив, как всегда, кнопки и рычаги управления, он вышел на площадку и тоже спустился с электровоза, разминая руки и поглядывая вперед.

— Что, красиво ехали, верно?

Анка обернулась: это сказал практикант. Она совсем забыла о нем, а он сидел все там же, на месте машиниста, и смотрел на нее торжествующим взглядом.

— Да, очень красиво! — искренно ответила она. — Слушайте, ведь это действительно страшно трудная штука... рекуперация?

— Канэчно... — сказал практикант. — Электровоз можно испортить, в ремонт пойдет, много денег пропадет, много работы пропадет.

Анка помолчала.

— Но ведь если не делать рекуперации...

— А разве все делают? — Практикант мотнул головой и поцокал языком с оттенком презрительного осуждения: — Который не имеет — обязательно боится, а который боится — никогда рекуперацию не сделает.

— Значит... он тоже мог бы не делать? — спросила Анка. Поднятый подбородок ее показывал на машиниста, стоявшего невдалеке от электровоза.

— Канэчно, — сказал практикант. — Каждый раз кто проверит? Никто не проверит. Только он без рекуперации никогда не ездит. Он коммунист, он по совести делает... Мировой машинист!

Анка промолчала. Она подумала, что кроме совести тут надобно еще уменье, но вдруг простая и ясная мысль блеснула у нее. «У кого есть совесть, у того будет и уменье» — радостно сказала она себе. Эта мысль показалась ей таким замечательным открытием, что захотелось сейчас же сказать ее вслух, чтобы и практикант удивился и обрадовался вместе с ней.

Но машинист уже поднимался на площадку электровоза. Грубный звук раздался впереди. Из-за поворота пути, на зеленом фоне склона, Анка увидела характерные очертания электровоза.

— Встречный, — сказал машинист. И вдруг строгое лицо его все осветилось улыбкой, и, кивнув на идущий поезд, уже не скрывая спокойной и счастливой гордости победителя, он проговорил:

— Вот этому, кацо, оттого, что мы рекуперацию делали, на полперегона бесплатной энергии хватило. Мы ему помогли; сами с'ехали и его подняли, чтобы он государственный ток не трагил...

Девушка молча качнула головой. Она поняла и почувствовала сразу слишком много, чтобы отвечать словами. Она смотрела на встречный поезд, тянувшийся мимо нескончаемой вереницей запломбированных товарных вагонов, и думала о человеческой совести и машинной мощи, которые вместе могут творить чудеса.

2. ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК СТАЛИНА

М. Ромм

(Окончание *)

VII

Чередой бездумных, беззаботных, солнечных дней вспоминается мне сейчас то время, которое мы прожили в ледниковом лагере в ожидании приезда Николая Петровича.

Рано утром нас будил голос старшего Харлампиева:

— Усумбайке, чай бар¹⁾?)

Повар Усумбай наливает пиалу чая и ставит ее на стол, импровизированный из вьючных ящиков. Харлампиев, с чалмой из полотенца на голове, с маленьким зеленым зонтиком, вылезает из своей палатки и садится пить чай. Это — единственный мрачный человек в нашем лагере. Со дня гибели Николаева и болезни сына у него разыгралась неврастения, и он не принимает участия в работе.

Через несколько минут из палаток появляются бородатые фигуры в трусиках.

После завтрака мы надеваем башмаки и штормовые костюмы, берем кошки и ледорубы и расходимся группами на тренировку.

Лагерь пустеет.

К обеду мы возвращаемся, полные впечатлений. Особенно благодарный материал для бесед и обсуждений дают альпинистические подвиги Каплана, этого несправимого горожанина, умудряющегося скользить и падать на самых ровных местах.

Говорят, японцы рекомендуют во время еды много смеяться. Я не знаю, верно ли это, но мы во всяком случае в полной мере следовали этому рецепту.

После обеда мы снова предаемся отдыху и dolce far niente: пишем дневники и письма, читаем Пушкина или Маяковского, принимаем солнечные ванны на больших плоских камнях, разбираем вещи, ремонтируем обмундирование, фотографируем.

А после ужина, когда стемнеет, центром лагерной жизни становится палатка

*) См. «Новый мир» кн. 2 с. г.

1) Чай бар — чай есть.

кинооператора Каплана. К ней стекаются фотолюбители с пленками и светонепроницаемыми мешками. Каплан составляет таинственные специи — провячительные и закрепительные, — и в красном полумраке палатки кипит работа.

Всходит луна. Величественно и холодно голубеет громада пика Сталина. Лагерь засыпает. Грохот камнепадов нарушает иногда наш сон. Мы поворачиваемся на спину, чтобы ориентироваться, откуда идет камнепад. И если он идет со склона Орджоникидзе, у подножья которого стоят наши палатки, мы прислушиваемся к нему до тех пор, пока стремительный полет камней не осядет в рыхлой осыпи и не смолкнет тяжелый гул.

Таким представляется мне сейчас это время. Но вот я беру дневник и перечитываю его — страницу за страницей. И тогда эти десять дней встают передо мною, полные интересных и значительных событий, и смерть маленького круглолицего киргиза Джамбая Ирале ложится на них тенью подлинной трагедии.

Откуда это противоречие? Очевидно, тогда, в величавом и грозном окружении скал и ледников, в суровом ритме трудной и опасной экспедиции, в борьбе за достижение вершины, в борьбе, где не могло быть отступления и где каждый из нас заранее был готов ко всему, мы воспринимали события легко и просто...

А положение было, в сущности говоря, далеко не легким и не простым. Трагическая смерть Николаева и болезнь обоих Харлампиевых вывели из строя нашу подготовительную группу в самом начале работы. Дальнейшую подготовку пришлось взять на себя нашим штурмовикам, лучшим альпинистам, чьи силы следовало беречь для восхождения.

Николаев погиб 30 июля. 31-го заболел Гок Харлампиев. 3 августа трое штурмовиков — Аболаков, Гетье и Гушин — с носильщиками Ураимом, Керимом, Нишаном и Зекиром поднялись в лагерь «5.600», чтобы продолжать обработку ребра.

4 августа был взят и обработан третий жандарм. Аболаков шел первым,

за ним, тщательно страхуя его, шли Гушин и Гетье. Работа была очень опасна. Жандармы были трудны не только своей крутизной и километровыми кручами, разверзавшимися по обе стороны, но и предательской ломкостью скал. Каждый камень, каждая опора, какой бы надежной она ни казалась, могла обломиться, выскользнуть, покатиться вниз. Гушин и Гетье, не отрываясь, следили за каждым движением Аболакова, готовясь удержать его на веревке в случае падения.

Несмотря на весь его опыт и осторожность, им нередко приходилось уклоняться от камней, сыпавшихся из-под его рук и ног.

Трудности, встреченные при обработке третьего жандарма, показали, что вряд ли удастся при восхождении пройти ребро в один день. Надо было установить на нем промежуточный лагерь. Но найти место для лагеря было нелегко. На скалах не было ровных площадок, фирн был слишком крут. В конце концов решили поставить лагерь на широком краю подгорной трещины между вторым и третьим жандармом на высоте 5.900 м. Здесь вырубили во льду площадку. 5 августа послали к месту нового лагеря носильщиков с палатками и запасами продовольствия.

Один из носильщиков — Зекир — заболел горной болезнью и вернулся с полдороги. Ураим Керим и Нишан, разделив между собой его груз, донесли поклажу до места и вернулись в лагерь «5.600».

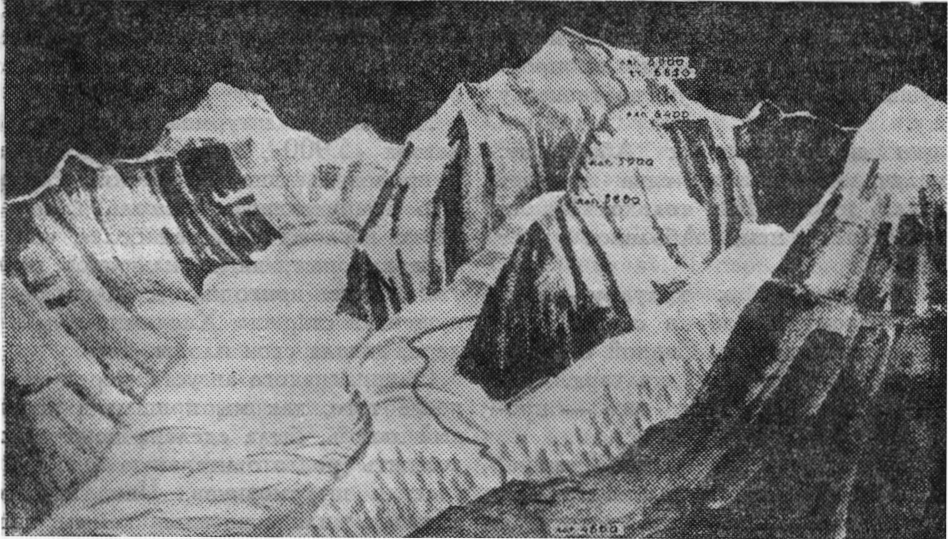
Вечером с карнизов мульды скатилась гигантская лавина. Сотни тысяч тонн снега обрушились вниз. Лавина прошла по большому глетчеру, по которому лежал путь из ледникового лагеря в лагерь «5.600». Она засыпала на глетчере все трещины на протяжении 10 км. Снежная пыль долетела до ледникового лагеря, ударом воздуха едва не снесло палатки в лагере «5.600».

На другой день установили лагерь «5.900». Аболаков, Гетье и Гушин пошли выше и приступили к обработке четвертого жандарма. Ураим Керим и Нишан, больные горной болезнью, остались в палатках на «5.600».

7 августа носильщики были отправлены вниз, в ледниковый лагерь. Альпинисты закончили обработку четвертого жандарма и подошли к основанию пятого. Пятый жандарм казался неприступным. Отвесной кручей ломких скал загораживал он проход по ребру.

каждую впадину, каждую щель, каждую неровность. Бесполезно!

Но альпинисты не сдаются. Со всех сторон они ощупывают скалу руками. И вот намечается едва заметный траверс по массиву наискось направо. Он ведет к правой стороне скалы и скрывается



Пик Сталина и маршрут штурмовой группы 29-го отряда ТПЭ

8 августа с утра альпинисты приступили к штурму пятого жандарма. От исхода штурма зависела судьба всей экспедиции, всего восхождения.

Аболаков, как всегда, шел первым. С огромным трудом он отвоевывал у отвесных скал каждый метр пути. И, отвоевав, закреплял: вбивал крюки и протягивал веревки. Неотступно следя за каждым его движением, тщательно страхуя, лезли за ним Гушин и Гетье.

Взят первый отвес — маленькая площадка, на которой можно отдохнуть. Но дальше пути нет. Неужели прошлогодний диагноз Горбунова и Гетье был ошибочен? Неужели немецкие альпинисты из советско-германской памирской экспедиции 1928 г., считавшие пик Сталина с востока неприступным, окажутся правы? Неужели придется отступить?

Альпинисты сидят на площадке, изучая скалистый отвес, преграждающий путь. Они разглядывают каждый выступ,

за ее выпуклостью. Что дальше, не видно. Нужно попытаться.

Аболаков лезет по жандарму, как муха по стене, уходя вверх и вправо. Уже не над ребром висит он в воздухе, а над километровой фирновой кручей, над северной гранью ребра. Наложив веревку, к которой привязан Аболаков, на выступ скалы, Гушин выдает ее понемногу, ровно настолько, чтобы не стеснять движения Аболакова. За Гушиным, укрепившись в самом устойчивом положении, дополнительно страхует Аболакова Гетье.

Аболаков скрывается за выступом скалы. Некоторое время слышится лишь шум падающих камней и удары молотка по вгоняемому в скалу крюкам. Очевидно, Аболаков нашел какую-то площадку или маленький выступ, на котором можно закрепить. Потом веревка натягивается. Слышен голос Аболакова:

— Лезь!

Гушин начинает под'ем. Сверху, пропустив веревку в кольцо вбитого в скалу крюка, его страхует Аболаков, снизу, наложив веревку на выступ скалы, — Гетье. Гушин привязал к поясу вторую веревку. Она будет наглухо прикреплена по ходу траверса к крюкам, вбитым в скалу. Таким образом, в дальнейшем альпинисты смогут подниматься и спускаться на двойной страховке: связавшись между собой и накинув карабин, закрепленный на прочном кушаке, на протянутую по траверсу веревку.

Гушин поднимается к Аболакову. На маленьком выступе едва хватает места для двоих. Как только Гушин закрепляется на нем, Аболаков идет дальше.

Траверс выводит к кулуару — отвесному, узкому жолобу в скале. Аболаков начинает под'ем. Спинай он упирается в одну сторону кулуара, ногами — в другую. Под ним — пропасть.

Он снова скрывается из глаз Гушина. Проходит несколько томительных минут. И затем до слуха Гушина доносится радостный крик:

— Ура! Проход найден, жандарм взят!

Аболаков закрепляется наверху кулуара. Теперь Гетье поднимается к Гушину, потом Гушин преодолевает кулуар, оказывается рядом с Аболаковым. Затем, на двойной страховке, поднимается Гетье. Дальнейший путь по пятому жандарму нетруден.

Изумительное скальное мастерство Аболакова одержало 8 августа великолепную победу. Путь для восхождения был открыт.

С верхушки пятого жандарма альпинисты проследили в бинокль дорогу по шестому жандарму и выход с него на фирн. От обработки шестого жандарма пришлось отказаться. Шесть дней пробыли штурмовики на высоте 6.000 м. делая труднейшую и опасную работу. Они были утомлены, движения потеряли точность, камни все чаще срывались вниз из-под их ног и рук. Кроме того, кончился запас веревок.

9 августа Аболаков, Гетье и Гушин спустились в ледниковый лагерь. Они

вернулись туда за час до нашего прихода.

Работа, сделанная ими на ребре, была огромна. И все же она не могла возместить недостаточного количества носильщиков и их непригодности к переноске грузов на большой высоте. Подготовка не была закончена. Шестой жандарм не был обработан, лагери на 6.400 м. над ребром и на 7.000 м. на фирне не были поставлены, в лагерях «5.600», «5.900» было мало продовольствия.

Предстояло штурмовать вершину из лагеря «5.900», неся с собой палатки и продовольствие для верхних лагерей. Это значительно понижало шансы на успех восхождения, тем более, что, как показал опыт, на носильщиков рассчитывать не приходилось. Ошибка, допущенная старшим Харлампиевым в Кударе, давала свои плоды.

Одиннадцатого августа, через два дня после того, как мы пришли в ледниковый лагерь, была сделана попытка продолжить подготовительную работу без участия штурмовиков. Цак, Маслов и Шиянов ушли с носильщиками в лагерь «5.600». Они должны были форсировать ребро и поставить лагерь «6.400» или, в крайнем случае, забросить палатки и продукты к пятому жандарму, до того места, где ребро было оборудовано веревками и вбитыми в скалы крючьями.

Они скрылись за валом морены, отделявшим наш лагерь от гряды сераков, куда спускался ледник Сталина, и через час девять черных точек, выбравшись из лабиринта трещин, стали подниматься по леднику и исчезли за его поворотом.

На другой день к вечеру мы увидели носильщиков, спускавшихся по леднику. Первые четверо быстро шли вниз. Последние двое отставали. В бинокль мы разглядели, что один из них тащил другого по снегу. От волочившегося тела на снегу оставался ясный след. Мы пошли навстречу. Оказалось, что заболел киргиз Джамбай и что его ведет вниз Зекир. Джамбая тряс тяжелый, залихватый кашель, и непрерывно рвало густой белой слизью. Мы донесли его до лагеря, уложили в спальный мешок, тепло укрыли. К сожалению, доктор был

наверху, и мы не знали, чем прекратить кашель. Пульс больного был слаб и быстр, и ночью я давал ему кофеин.

На следующий день мы пошли с Капланом на глетчер. Мы решили подняться до 5.000 м. След от тела бедного Джамбая помогает нам найти путь через хаос глубоких трещин в нижней части ледника. Потом ледник становится отложе и ровнее. Мы поднимаемся медленно, шаг за шагом. Легкие с трудом выкачивают из разреженного воздуха кислород. Стрелка анероида ползет понемногу вверх. 4.800... 4.900... Итти становится все труднее. За поворотом ледника раскрывается невидимая из нашего лагеря гигантская мульда пика Сталина. Огромные снежные карнизы свисают с вершинных гребней, сотни тысяч тонн лавинного материала готовы низвергнуться вниз. Позади уходит вдаль ощеренный сераками ледник Сталина. Бивачный сереет моренными буграми, и гряда гор на правом краю Федченко замыкает горизонт. Над этим изумительно четким макетом высокогорного пейзажа лиловет безмерно легкое, прозрачное небо.

4.950... 5.000... Цель достигнута. Мы проходим «на всякий случай» еще несколько десятков метров и делаем привал, — втыкаем в снег ледорубы, подстилаем штормовки, садимся.

На скале, в шестистах метрах под нами, вырисовывается контур палатки. Возле нее расхаживает человек. Это — наш лагерь «5.600».

Неподалеку внезапно возникает как бы тяжелое гудение грузовика, заканчивающееся глухим ударом, похожим на выстрел из тяжелого орудия. Идет камнепад. Большие камни летят откуда-то сверху, падая на крутой фирновый склон. В воздухе они не видны. На фирновом склоне они поднимают облачка снежной пыли, задерживаясь в своем полете.

Клубы густого тумана ползут вниз. Мы приступаем к спуску...

Вечером сверху пришли Цак, Шиянов и доктор. Они ничего не сделали, не смогли добраться даже до лагеря «5.900». Им помешали туман и болезнь носильщиков.

VIII

Маленький Джамбай лежит весь в компрессах. У него катаральное воспаление легких. Он лежит тихо — доктор сумел остановить ужасный кашель, не смолкавший двое суток. Он тяжело дышит, — на высоте 4.600 м. и здоровые легкие с трудом справляются со своим делом. Я стараюсь найти его пульс, он почти неуловим. Уже два раза доктор впрыскивал ему камфару.

Носильщики сидят вокруг Джамбая. Они недружелюбно смотрят на нас, людей, которые едят свинину и неизвестно зачем стремятся проникнуть к вершинам гор, во владения злых духов. Эти злые духи уже сбросили со скалы одного из «начальников». Теперь гибнет ни в чем неповинный Джамбай Ирале.

Настоящей работы с носильщиками в отряде не велось. Никто не разъяснил им смысла и цели восхождения, никто не вникал в их настроения и нужды. Это конечно была большая ошибка. Было совершенно ясно, что победа дастся нелегко и что будут часы и дни, которые потребуют не только от альпинистов, но и от носильщиков самоотверженности и героизма.

Доктор подходит со шприцем к палатке Джамбая. Он берет его руку, ищет пульс. Потом он поднимается и делает жест, который всем понятен. Маленький Джамбай умер. Носильщики плачут. Мы даем им вкладыш для спального мешка, и они делают из него саван для Джамбая.

На другой день на морене, отделяющей наш лагерь от сераков, появляется круглая, коренастая фигура Белова. Спальный мешок с привьюченными сверху палатками придает ему сходство с верблюдом. Он подходит к нам, садится, прислоняется спиной к камню, с трудом освобождается от мешка.

— Здорово, Белов, — кричит Гок Харлампиев, присяжный юморист отряда. — А мы тебе тут невесту нашли. Из московских.

Белов смущенно ухмыляется. Как-то, в минуту откровенности, он имел осторожность поделиться с Гоком Харлампиевым своей мечтой: приехать в Москву, найти себе хорошую девушку и же-

ниться. С тех пор наши альпинисты не дают ему проходу.

Вслед за Беловым появляются Рынков и Шибшов, а за ними и Волков. Иван Георгиевич закончил с'емку ледника Сталина от впадения его в Бивачный и до нашего лагеря. Теперь он будет снимать цирк между пиками Сталина и Орджоникидзе.

Приход группы Волкова как нельзя кстати. Шибшов хорошо говорит по-киргизски. Он будет служить нам переводчиком в наших беседах с носильщиками.

Мы рассказываемся в кружок на камнях — пятеро носильщиков, Гетье, Шибшов и я. Сначала ведет опрос Гетье. Он спрашивает носильщиков об их нуждах и недовольствах. Жалоб нет. Они только беспокоятся об одном: по договору они наняты на один месяц. Месяц уже истек, а конец работы еще далеко. Будут ли им платить? Гетье успокаивает их. Само собою понятно, что договор будет продлен и, кроме того, они будут премированы. Премии будут конечно разные, в зависимости от высоты, которую каждый из них достигнет с грузом при штурме пика.

Я рассказываю им о целях и задачах восхождения, объясняю, почему так важно установить радиостанцию на вершине пика Сталина. Я говорю о том, что рабочие в Москве и Ленинграде и такие же, как они, крестьяне во всех концах Советского Союза следят по газетам за восхождением, что я даю телеграммы в главную, самую большую газету, что я буду писать об экспедиции книгу, и в этой книге напишу о каждом из них.

Носильщики слушают внимательно — и таджик Нишан из кишлака Кандау, молодой, стройный, черноглазый, с орлиным профилем, и таджик Ураим Керим из кишлака Сартала, круглолицый, всегда улыбающийся и весело подмигивающий, и красивый, с энергичным волевым лицом и диким взглядом темных глаз, киргиз Зекир Прен из кишлака Мёк, и его земляк — толстолицый, добродушный лентяй, киргиз Ураим Ташпек, и киргиз Абдурахман из Алтын-Мазара, маленький, худой и подвижной, с хитрыми бегающими раскосыми глазами. «Они слушают внимательно, и их тесный

мир, ограниченный родным кишлаком и окрестными джайляу¹⁾, начинает расширяться. Неожиданно они чувствуют себя связанными какими-то нитями с далекой Москвой, о которой слышали столько чудесного. Непонятная до сих пор затея «начальников» — лезть на гору, где нет ничего, даже кивков, где снег, лед и «тяжелый» воздух, — представляется им в совершенно новом свете. А то, что о них будут писать, что их имена появятся в газетах и книгах, производит настоящий фурор.

Ураим Керим и Нишан вскакивают на ноги.

— Мы пойдем высоко-высоко, туда же, куда пойдут «начальники», — говорят они в один голос.

Эти безвестные крестьяне далеких горных кишлаков, отрезанных от мира головоломными оврингами и висячими мостами, никогда вероятно не слышавшие слова «ударник», дают обет ударничества.

Ураим Ташпек, прозванный за частые симуляции Ураим-«голова болит» и Абдурахман молчат. Эти двое всегда категорически отказывались подниматься выше «5.600», ссылаясь на головную болезнь.

Молчит и Зекир Прен. Глаза его горят, он напряженно думает о чем-то. Я уже давно наблюдаю за этим человеком. Умный и властный, он умеет подчинить остальных носильщиков своему влиянию, хотя старшим среди них назначен Ураим Керим. И я знаю, что Зекир пока — не наш друг. Он — на распутии. Оковы древних заветов корана и крепкие родовые связи, незримо ведущие за границу, в Китай, куда бежали старшины его рода, еще тяготуют над ним. В его взгляде я нередко читал отчужденность и презрение, особенно когда кто-нибудь из нас — в семье не без урода — говорил с ним начальнически и резко. Но стоило похлопать его по плечу, побеседовать с ним дружески, и — хотя приходилось объясняться жестами больше, чем словами, — Зекир Прен показывал сверкающий оскал своей улыбки. В нем не было наивной непосредственности Нишана и Ураима Ке-

¹⁾ Джайляу — летние пастбища.

рима, не было и уклончивой и расчетливой хитрости Абдрахмана. Он был прямой и цельный человек, Зекир Прен, и он стоял на распутьи: одна дорога вела в эмиграцию или в басмаческую шайку, другой путь, трудный и долгий, вел к учебе, к КУТВ, к Москве.

Я знал, что этого смелого и сильного человека можно завербовать на нашу сторону теперь же, сделав его сознательным и равноправным участником тяжелой и опасной работы. И тогда именно от него можно было бы ждать в критические минуты восхождения подлинного геройства.

В сущности, начало уже положено беседой: Зекир заинтересован, захвачен. Ночью, в тишине палатки, он будет думать уже не о том, что урусы нарушают заветы корана. Другие, новые и необычайные, мысли будут мешать ему спать.

Через два дня, чтобы окончательно сгладить впечатление от смерти Джамбая, мы устраиваем спортивный праздник: расчищаем от камней небольшую площадку возле лагеря и организуем комические эстафеты, цыганскую борьбу, перетягивание каната. Носильщики с увлечением и азартом участвуют в соревнованиях. Победители получают призы — печенье, конфеты, шоколад. Наши гимнасты — Шиянов, Гок Харлампиев и Аболаков — демонстрируют приемы акробатики. При наиболее эффектных номерах носильщики ахают от восхищения. Маленький Абдрахман обнаруживает недюжинный темперамент: он пытается тут же повторить трудные сальто, каскады и кульбиты и забавно кувыркается на разостланных спальных мешках.

Праздник закончился волейболом. Этот своеобразный волейбольный матч на высоте Монблана был разыгран за отсутствием мяча большим туго надутым резиновым мешком, служившим одному из нас подушкой...



День за днем проходил в ожидании приезда Николая Петровича с радиостанцией. День за днем мы упустили лучшее для восхождения время. Пре-

красная солнечная и безветренная погода могла испортиться. Могли наступить туманы, ветры и холода. Кроме того, продовольствие и топливо были на исходе. Нам пришлось уже собирать разбросанные вокруг лагеря обрывки бумаги, этикетки с консервных банок, ненужные куски дерева. Таким образом, нам удалось запастись топливом еще на три дня.

Деятнадцатого августа мы устраиваем совещание — решаем, что на другой день все, кроме Аболакова, Гетье, Гущина, Цака, Каплана и меня, отправятся в подгорный лагерь, где было много продовольствия и топлива. Шиянов и Шибшов должны были пройти дальше, к базовому лагерю, и установить связь с Горбуновым.

Двадцатого утром наши товарищи уходят. Они надевают рюкзаки со спальными мешками. Гок Харлампиев трубит в горн, и маленький отряд отправляется в путь. Вскоре он исчезает в буграх морены.

В лагере сразу становится пусто и тихо. Мы приводим лагерь в порядок, чистим походные кухоньки и кастрюли, варим обед.

После обеда Гушин идет с биноклем на большие скалы рядом с лагерем. Вскоре мы слышим его голос:

— Идут, идут!

На тропике, идущей по склону горы, на правой стороне ледника Сталина, различаем маленькие фигурки людей и лошадей. Слышны ругады горна.

Наши товарищи встретили караван с Николаем Петровичем и Дудиным и вернулись вместе с ними в лагерь.

Задержка объяснялась просто: детали радиостанции, которых ждал Горбунов, не могли быть доставлены из Алтын-Мазара в базовый лагерь из-за высокой воды в Саук-Сае и Сельдаре.

Итак, мы все в сборе. Еще день-два на последние приготовления, и начнется восхождение...

Лучи утреннего солнца пробивают полы палатки. Я просыпаюсь, вылезая из спального мешка, одеваюсь и выхожу наружу.

Гигантский массив пика Сталина сверкает белизной своих фирновых граней. Чернеет скалистое ребро. Завтра наши товарищи уходят на штурм. Завтра ма-

ленькая горсточка смельчаков начнет атаку этой неприступной крепости. Я думаю о том, что восхождение недостаточно подготовлено, что борьба будет трудной и опасной. Я невольно ищу глазами второй жандарм, с которого сорвался Николаев. Перевожу взгляд на фирновый склон, по которому он скатился вниз, смотрю на маленький холм из каменных плит возле нашего лагеря, разукрашенный пестрыми тряпочками. Это — мазар¹⁾, где похоронен Джамбай. И я снова возвращаюсь к мысли, которая преследовала меня последние дни, — отговорить Николая Петровича от участия в восхождении.

Мы все считали, что ему не следует идти на вершину. В сорок лет не совершают альпинистических подвигов. Риск достаточно велик и для тех, кто вступает в борьбу с горой в расцвете сил и молодости. Да и сам Горбунов не был в себе уверен. Слишком часто и упорно перелистывал он у себя в палатке иностранные руководства по альпинизму, тщательно изучая все способы страховки...

Лагерь еще спит. Но вот распахиваются полы палатки, и из нее вылезает Николай Петрович. Он присаживается на корточки и списывает показания минимального термометра, укрепленного на камнях. Потом он подходит ко мне. Мы стоим рядом, смотрим на гору и думаем об одном и том же.

Я начинаю разговор, пуская в ход все свое красноречие, я указываю на то, что участие Николая Петровича разобьет прекрасно «сыгравшуюся» при подготовке ребра веревку — Аболакова, Гетье и Гущина — и вызовет полную перетасовку.

Николай Петрович слушает молча. Он колеблется. Видно, что он уже не раз думал обо всем этом. Потом он говорит, мягко и смущенно улыбаясь:

— Пожалуй, мне все-таки надо идти. Могут встретиться огромные трудности. Без меня могут не «дожать» вершину. А вершина должна быть взята во что бы то ни стало. Это ведь не спортивное восхождение, а научное задание, — задание правительства.

Я замолкаю и не спорю. В глубине души я сознаю, что он прав. Быть может, ему даже не надо идти на самую вершину. Но в верхнем лагере, откуда начнется последний штурм, ему надо быть.

Днем было солнечное затмение. Луна наплывала на солнечный диск, образуя в нем полукруглую вмятину. Становилось не по-вечернему темно. Мир странно потускнел. Бессильные лучи перестали греть. Стало холодно.

Горбунов в широкой альпийской куртке и тибетейке сидел на камнях, поджав под себя ноги, и смотрел сквозь две пары дымчатых очков на солнечный диск. Каждые две минуты он раскручивал в воздухе термометр-пращ¹⁾ и записывал температуру.

На небольшом отдалении от Николая Петровича полукругом сидели носильщики и с почтением смотрели на него. Он казался им очевидно каким-то волшебником. В глубине души они подозревали, что именно он-то и устроил затмение солнца. В своей тибетейке и очках он, на самом деле, был похож на добродушного мага.

Затмение окончилось. Мы сидим в палатке Николая Петровича, разрабатывая во всех подробностях план штурма. Проверяем по списку количество продовольствия в лагерях «5.600» и «5.900».

— Детская порция, — недовольно говорит Николай Петрович.

Действительно, продовольствия в верхние лагеря успели занести мало.

Долго обсуждаем детали восхождения. Шесть альпинистов, разбитых на две веревки, пойдут на штурм вершины. Первая веревка — Аболаков, Гущин, Шиянов. Вторая веревка — Горбунов, Гетье и Цак.

Обе веревки действуют в строгом согласовании по точно разработанному календарному плану. Первая веревка с тремя лучшими носильщиками выходит 22 августа и поднимается в лагерь «5.600». 23-го первая веревка поднимается с носильщиками по скалистому ребру к шестому жандарму, оборудует его веревками и веревочными лестницами

¹⁾ Прибор, показывающий температуру воздуха, независимо от влияния солнечных лучей.

¹⁾ Могила.

и возвращается в лагерь «5.900». Вторая веревка поднимается в лагерь «5.600». 24-го первая веревка форсирует скалистое ребро и ставит лагерь «6.400», после чего носильщики снова спускаются в лагерь «5.900», куда приходит вторая веревка. 25-го вторая веревка поднимается с носильщиками, несущими станцию в лагерь «6.400», где ее ожидает первая веревка. 26-го составляется комбинированная группа из альпинистов, лучше всего акклиматизировавшихся на высоте. Эта группа с носильщиками продолжает восхождение и устанавливает последний лагерь на высоте 7.000 м. 27-го — штурм вершины, установка радиостанций и спуск на «6.400». 28-го — спуск на «5.900», 29-го — возвращение в ледниковый лагерь.

Два узких места было в этом плане: носильщики, до сих пор ни разу не поднявшиеся по ребру, должны были форсировать его трижды — 23-го, 24-го и 25-го. Если бы они не сумели этого сделать, если бы их снова устрасила крутизна пятого жандарма, если бы они заболели на высоте, восхождение было бы сорвано, так как станция, палатки для верхних лагерей и продукты не были бы занесены вверх. И с уходом шестерых штурмовиков вниз не оставалось ни одной пары альпинистов (а по ребру нельзя подниматься не связанными), которая могла бы в случае нужды оказать помощь верхней группе.

Однако другого выхода не было. План был напряженным, напряженность эта была неизбежной: штурмовой группе приходилось при восхождении восполнять пробелы подготовки — оборудовать шестой жандарм, ставить два верхних лагеря и разрешать одновременно две задачи: штурм вершины и установку радиостанции.

Совещание окончено. План сообщен всей группе. Лагерь преобразуется. Миновали дни подготовки и ожидания. Начинаются дни штурма.

Штурмовики принимаются за последние приготовления: мажут жиром башмаки, пригоняют кошки, отбирают вещи, стараясь ничего не забыть и не взять ничего лишнего, пишут письма. Гетье распределяет кладь носильщикам.

Широкая физиономия Шиянова сияет: он намечался в подготовительную группу и до последней минуты не был уверен, что пойдет на вершину. Сегодняшний день — один из счастливейших в его жизни.

IX

Аболаков и Гушин стоят с туго набитыми рюкзаками за спиной, с ледорубами в руках, с веревкой через плечо. Их физиономии густо смазаны белой ланолиновой мазью, предохраняющей от ожогов ультрафиолетовых лучей.

Их непрерывно фотографируют. Потом они трогаются в путь вместе с тремя лучшими носильщиками — Зекиром, Нисаном и Ураимом-таджиком.

Шиянов не идет с ними — фортуна повернулась к молодому альпинисту спиной: за вчерашним ужином попалась банка не совсем свежих консервов, — и Шиянов сидит у своей палатки, бледный и томный, а доктор пичкает его касторкой. Шиянов выйдет завтра со второй веревкой и догонит своих товарищей 25-го на «6.400». Пока же он в огорчении заваливается спать.

Доктор Маслов, кинооператор Каплан, Гок Харлампиев и я провожаем Аболакова и Гушина. Мы перебираемся через вал морены и входим в сераки. Причудливый мир ледяных башен и пирамид окружает нас. Путь идет зигзагами. Он размечен красными язычками маркировочных листов, заложённых в маленькие туры из камней. Без них было бы нетрудно заблудиться. Мы протискиваемся между сераками, прыгаем через ручьи, текущие в голубых ледяных руслах. Кое-где удар ледорубом выкалывает в скользкой стене ступеньку, помогая миновать трудное место.

Сераки кончились, — перепрыгиваем по камням через широкий ручей, отделяющий их от языка глетчера, вытекающего из мульды пика Сталина. Испещренный трещинами, он вздымается перед нами крутым полушарием.

Здесь мы надеваем кошки. Их острые металлические шипы вонзаются в твердый фирн, и мы, как мухи по стене, поднимаемся по крутому склону глетчера.

Мируем лабиринт трещин в нижней части языка и выходим на более отлогую и ровную среднюю часть. Идем медленно, — разреженный воздух дает себя чувствовать.

На высоте 5.100 м. ледник круто поворачивает направо. Раскрывается гигантская мульда, из которой он вытекает. С верхних ее краев свисают огромные глыбы фирна. Отсюда начинается лавинный участок глетчера.

Здесь мы прощаемся со штурмовиками. Крепкое товарищеское рукопожатие, пожелание успеха. Аболаков и Гушин продолжают под'ем. Они уходят все дальше. Вскоре они кажутся небольшими темными точками на белом просторе глетчера.

Мы спускаемся в лагерь. Там находим разработанный Горбуновым план разведки новых перевалов, которую мы, остающиеся, должны сделать за те дни, когда штурмовики будут совершать восхождение.

Мы должны подняться по ледопаду между пиками Ворошилова и Калинина и перевалить на ту сторону, в таинственную долину Люли-Джюли, куда не ступала нога человека. Мы можем найти там цветущий склон, спадающий к реке Мук-Су, можем найти и неожиданный узел горных цепей. Мы должны во всяком случае пробиться к Мук-Су, перейти ее и выйти к Алтын-Мазару.

Я отказываюсь от участия в этом увлекательном походе в страну неизвестного. Я не хочу уходить из ледникового лагеря. Я считаю нужным быть возможно ближе к полю битвы: кто знает, быть может, наступит момент, когда понадобится моя помощь. И мы решаем, что доктор, Каплан и я останемся в ледниковом.

На другой день уходит вторая группа — Николай Петрович, Гетье, Цак и Шиянов. Каплан и я провозжаем их до «5.600». Мы снова поднимаемся по глетчеру до поворота и идем дальше. Ледник покрыт большими глыбами снега и льда — остатками прежних лавин. Разделяемся на две группы и идем на далеком расстоянии друг от друга — так больше вероятности, что в случае лавины уцелеет хоть одна группа.

Взгляд невольно обращается к тысячечонным массам фирна, свисающим с верхнего края мульды. У всех одна мысль: пойдет лавина или не пойдет? Доберемся ли мы благополучно до лагеря «5.600» или будем сметены снежным шквалом? Правда, до сих пор большие лавины обычно шли ночью и рано утром. Днем были только маленькие обвалы, не достигавшие ледника. Но нет правила без исключения.

Мы хотели бы скорее миновать опасный участок. Но идти быстро нельзя: стрелка анероида уже давно перевалила за 5.000 м. И мы идем очень медленно, делая остановку после каждого шага.

Полтора часа мы преодолеваем лавинный участок. Потом осторожно огибаем две большие трещины и поворачиваем направо. Пересекаем ледник, выходим к его краю и переходим на наклонный ледяной карниз, идущий вдоль отвесных скал. Здесь мы — в относительной безопасности от лавин. Но передвигаться надо очень осторожно: карниз покат и обрывается вниз к леднику на несколько десятков метров.

Вскоре мы подходим к крутой, скалистой стене. Наверху, в двухстах метрах над нами, — лагерь «5.600». Начинаем под'ем. Скалы почти отвесны, но не трудны: уступы расположены удобно. И все же под'ем требует огромных усилий. Высота все больше дает себя чувствовать. После каждого шага приходится останавливаться и переводить дыхание.

И вот наконец мы у цели. Мы стоим на небольшой каменистой площадке у основания скалистого ребра. С одной стороны — обрыв, по которому мы только-что взобрались. С другой стороны площадка переходит в небольшое фирновое поле. В нескольких метрах от нас по нему проходит едва заметная темная линия — признак, что дальше весь фирн висит над обрывом, образуя навес. По фирну нельзя ходить: один неосторожный шаг — и, обрушив карниз, скатишься вниз по отвесной километровой круче.

Мы — у начала страшного, скалистого ребра. Снежный гребень, шириной в ладонь, круто поднимается от лагеря к первому жандарму. За ним, отделенные один от другого такими же снежными

переходами, чернеют крутые скалы второго, третьего, четвертого и пятого жандармов. Пятый и шестой снизу сливаются в один сплошной скалистый массив. Похожие на змей, свисают с жандармов закрепленные на них веревки. Подгорная трещина под третьим жандармом, где стоят две палатки лагеря «5.900», кажется небольшой темной полоской, шрамом на фирне.

Северная стена, огромная, отвесная, темносерая, с белыми прожилками снега, идет от пика Сталина к пику Орджоникидзе. С другой стороны раскрывается цирк между пиком Сталина и пиком Молотова. К востоку уходит вдаль ледник Сталина, сереет морена ледника Бивачного и замыкает горизонт скалистый хребет на правом берегу ледника Федченко.

Три палатки на каменной площадке кажутся такими маленькими, затерянными в мире скал и фирна.

Гетье и Цак приготавливают чай. Мы все едим с аппетитом, ни у кого нет и признаков горной болезни. А между тем мы — на высоте Эльбруса.

Солнце склоняется к западу. Половина мульды и ледник — уже в тени. Нам надо уходить вниз. Иначе темнота застанет нас в пути.

Мы прощаемся со штурмовиками, стараясь запечатлеть в памяти их лица. И мне вспоминается: много лет тому назад так же прощались с нами, уезжавшими на фронт, родные и друзья, бодрыми улыбками и крепкими рукопожатиями скрывая неотвязную мысль: придется ли увидеться вновь.

Спускаемся по скалам, проходим по карнизу, быстро минуем лавинный участок и выходим на поворот ледника. Останавливаемся, пораженные величавой красотой вечера. Солнце скрылось за южным ребром пика Сталина. Небо над далекими скалистыми хребтами у ледника Федченко ярко розовеет в закатных лучах. Голубизна ночи легла на крутые, покрытые снежными сбросами, стены цирка Молотова, гряда сераков ледника Орджоникидзе плавным поворотом спускается вниз.

Не хочется уходить. Стоим молча. Раздается знакомый гул. Две лавины

одновременно идут со стен цирка. Они скатываются вниз. Облака снежной пыли еще долго стоят в воздухе.

Спускаемся с глетчера и, в сумерках, пересекаем сераки. Темнота надвигается внезапно и быстро. Из лагеря выходят нас встречать. Кто-то размахивает фонарем, стоя на валу морены. Пламя фонаря чертит желтые узоры на черном пологие ночи...

На другой день в лагерь спустился Ураим-«голова болит» и Абдурахман. Они принесли записку от Николая Петровича и Гетье.

«Пребываем пока на «5.600», — писал Николай Петрович. — Через час около полудня выходим на «5.900». Первая веревка начала дальнейший подъем из «5.900» в 9 ч. 30 м. Сейчас одолели уже 4-й жандарм. Смотреть на них в бинокль страшно».

Гетье предлагал доктору подняться 26 августа на «5.600», забрав с собой возможно больше продуктов и ожидать там возвращения штурмовой группы.

Мы читаем записки и вскоре видим на снежнике между 4-м и 5-м жандармами две маленькие точки: Аболаков и Гушин поднимаются по ребру. Через несколько времени на этом же снежнике показываются трое носильщиков.

Дудин и Харлампиевы уходят в подгорный лагерь. Они забирают с собой Абдурахмана. Дудин и Гок будут штурмовать отсюда перевал Ворошилова, пытаюсь проникнуть в долину Люли-Джюли. Харлампиев-старший пойдет вниз, в базовый лагерь. В ледниковом остаемся Каплан, доктор и я с поваром Елдашом и Ураимом-«голова болит».

На скалах склона Орджоникидзе, метрах в трехстах над лагерем, мы устраиваем наблюдательный пункт и тщательно обшариваем отсюда восьмикратным цесисом восточное ребро.

К вечеру мы видим, как к «5.900» спускаются трое носильщиков и туда же поднимается снизу вторая веревка.

Программа третьего дня восхождения очевидно выполнена.

Двадцать пятого августа утром никакого движения на горе не было видно. И в этот день я решил попытаться поймав на кинолентку лавину. Я уже давно вел об этом разговор с Капланом.

В цирке Молотова лавины шли почти каждый день. Надо было пройти с киноаппаратом на ледник в середину этого цирка и провести там несколько часов в ожидании. Игра стоила свеч. Хорошо заснятая лавина представляла бы собой «мировой» кадр. Я считал, что мы почти не подвергались при этом риску: днем шли небольшие лавины, останавливавшиеся почти у самого подножья стен. Еще не было случая, чтобы они захватили середину цирка.

Капкан отказывался идти. У этого кинооператора, привыкшего работать в павильоне, не было того, что мы называли «экспедиционным чутьем». Он не всегда понимал, что именно в экспедиции представляет настоящий интерес. Кроме того, он не был охотником до лишних прогулок по трудным местам. Он умел с большим искусством обосновать теоретически свое нежелание сделать несколько лишних километров для хорошего кадра. Он аргументировал обычно «фотогеничностью» и «кинематографичностью».

— Лавина, — говорил он в ответ на мои неоднократные настояния, и его лицо, обросшее рыжеватой бородой, принимало ироническое выражение, — мне не нужна обыкновенная лавина на белом фоне. На экране это не играет. Гигантская лавина на черном фоне с боковым освещением — вот что мне нужно. Можете вы мне ее представить?

Кроме того, Капкан убеждал меня, что в задуманном им плане кинохроники восхождения лавину некуда монтировать.

Но сегодня Капкан оказался наредкость сговорчивым. Стояла прекрасная тихая погода. Горы были спокойны. Вчера не было ни одной лавины. Можно было рассчитывать, что и сегодня будет безлавинный день. Была возможность уступить моим домогательствам и доказать мне, насколько бессмысленна и безнадёжна затеянная мною «охота на лавины».

Мы отправились в путь — Капкан, доктор, Ураим-«голова болит» и я. Мы взвалили себе на спины треногу и аппарат и стали пробираться по серакам. Мы вышли на ледник. Обходя трещины, мы

прошли вглубь. Мы выбрали удобное место между двумя трещинами в самом центре цирка.

Капкан установил стив, укрепив на нем аппарат. Щеточкой прочистил телеобъектив и навинтил его на место. Стояла безветренная тишина. Ярко светило солнце. Выражая всем своим видом полнейшее презрение к моей затее, Капкан нагнулся, чтобы проверить экспозицию. И в это самое мгновение страшный грохот прокатился по цирку. На южном ребре пика Сталина справа и впереди нас показались клубы снега и, захватывая сверху вниз все километровое ребро, пошла гигантская лавина на черном фоне с боковым освещением.

Тысячелетний вал фирна и льда, скатившись с ребра, шел перед нами поперек цирка. Высоко вверх вскидывались клубящиеся клочья снежной пыли, образуя облако.

Капкан, забыв опасность, впился в окуляр и, не отрываясь, крутил ручку киноаппарата; доктор быстро щелкал затвором своего «тессара», бросая мне назад кассеты со снятыми пластинками.

Лавина покатила поперек всего цирка, отразилась от противоположной стены и, внезапно изменив направление, пошла вниз по глетчеру. Она неслась на нас со скоростью и грохотом экспресса. Я с тревогой стал прикидывать, дойдет ли лавина до нас, или не дойдет. Капкан и доктор продолжали снимать.

Страшный снеговой вал неотвратимо приближался. Снежное облако гигантским серым крылом закрыло солнце. Еще мгновение — и лавина должна снести нас в трещину. Смешно и бесполезно было бы пытаться спастись бегством. Капкан продолжал вертеть ручку аппарата, доктор продолжал щелкать затвором...

С каждой секундой ослабевала мощь лавины. Трещины глетчера поглощали снег, он распылялся и поднимался вверх легким облаком. Положение все же было критическим...

Метрах в тридцати лавина остановила свой стремительный бег. Нас обдало холодным вихрем и снежной пылью.

В восторге от удачной «охоты» мы прыгали, кричали, награждали друг дру-

га тумакнами. Совпадение было действительно необычайным. Никогда еще не бывало днем такой гигантской лавины. И эта единственная за двое суток лавина пошла в ту самую минуту, когда мы приготавливались к с'емке.

Вернувшись в лагерь, мы не нашли обеда. Елдаш, наш повар, увидя лавину, решил, что готовить обед больше не для кого...

На другой день доктор с Ураимом-«голова болит» ушел в лагерь «5.600», где он должен был ждать возвращения штурмовиков. К вечеру Ураим-«голова болит» вернулся обратно. Он принес записки от доктора и от Горбунова. Записка Горбунова из лагеря «5.900» была помечена 26-м числом. В ней сообщалось, что Нишан и Ураим Керим трижды, а Зекир Прен дважды форсировали ребро и занесли станцию на «6.400», что Гуштин поранил себе руку и что вторая группа покидает лагерь «5.900» и поднимается на «6.400».

Записка была доставлена в лагерь «5.600» заболевшим Зекиром.

Доктор просил прислать для отправки в верхние лагери консервы, масло, крупу, керосин.

Итак, первое из «узких мест» плана удалось благополучно миновать: носильщики форсировали ребро.

Восхождение, хотя и с опозданием на один день против плана, продолжалось.

Х

Ледниковый лагерь представлял собой в эти дни как бы ближний тыл большой битвы. Сверху, с горы, приходили носильщики и приносили с собою записки от штурмовиков, поднимавшихся по ребру, и от доктора, сидевшего в лагере «5.600». Из этих записок мы вкратце узнавали о всех перипетиях восхождения.

Кроме того, мы продолжали тщательно следить за горой с нашего наблюдательного пункта на скалах пика Орджоникидзе.

27-го вечером спустился в ледниковый лагерь Зекир — первый, выбывший из строя участник восхождения. Печать большой усталости и нечеловеческих на-

пряжений лежала на всем его облике. И была в нем большая внутренняя перемена. Это был уже не прежний, враждебно к нам относившийся Зекир Прен, это был наш верный союзник в трудной и опасной борьбе с горой. Он был увлечен и захвачен восхождением. Охрипшим голосом рассказывал он нашему повару Елдашу о всех его подробностях. При первой возможности он хотел итти снова наверх — нести штурмовикам продукты.

На другой день, такой же усталый и измученный, охрипший, с распухшей шеей, пришел Ураим Керим и принес последнюю записку Горбунова, написанную 27 августа в лагере «6.400». Записка была воплем о продуктах. И вместе с тем доктор сообщал, что и Нишан, спустившийся в лагерь «5.600», заболел, и что отправить продовольствие в верхние лагери не с кем.

Таково было положение. Самый трудный этап восхождения был пройден, — удалось преодолеть скалистое ребро и поднять по нему самописец. И теперь, когда цель была так близка, недостаток продовольствия мог вырвать у нас из рук победу.

Мы были бессильны помочь делу. Ураим-«голова болит» каждый день ходил в лагерь «5.600» с грузом продовольствия. Но, как и раньше, он не соглашался подняться выше. Зекир и Ураим Керим стремились итти наверх, но они были больны. Я тщательно лечил их по письменным указаниям доктора.

Ураиму Кериму надо было ставить компрессы. Я приступаю к этому непривычному для меня делу и накладываю ему на горло мокрую тряпку, клеенку, вату и собираюсь бинтовать. И вдруг Ураим Керим, наш лучший носильщик, отважный скалолаз, начинает плакать. Вата, клеенка и бинт привели его к выводу, что он тяжело и неизлечимо болен. Я успокаиваю его и заканчиваю наложение компресса.

Уже два дня на горе никого не видно. Мы неотступно продолжаем наблюдение в бинокль.

И 29-го мы видим на фирне над ребром всех шестерых штурмовиков. Свя-

занные попарно, они поднимаются в направлении к вершине. С удивительной четкостью выделяются их силуэты на белом фоне фирна. Они медленно идут к месту, где был намечен последний лагерь, и скрываются за покатым выступом фирнового поля. Итак, не дождав-шись продуктов, они продолжали восхождение с тем ограниченным запасом, который у них был. Завтра они будут штурмовать вершину...

Я пытаюсь выяснить у Ураима, куда был занесен самописец. Я рисую плау горы, размечаю лагери и передаю ему карандаш. Он внимательно смотрит на план и уверенно тычет карандашом в ледник Орджоникидзе, находящийся на одном уровне с нашим лагерем. Мы хочем. Елдаш падает с камня, на кот-ром он сидел, и катается по земле в не-удержимом припадке смеха.

Был ясный, холодный вечер. Легкие облака плыли в лунном свете над пиком Сталина. Я сидел у своей палатки и думал о тех шестерых, которые там, наверху, проводили свою последнюю ночь перед штурмом вершины. Как я им завидовал! Они устали, им трудно ды-шать, им не спастись в спальных меш-ках от жестокого мороза, но все это пустяки, — легкая цена за большую победу. Будущее показало, что за по-беду пришлось заплатить дорогой це-но.

На другой день туман окутал гору. Тревога за судьбу штурмовиков охва-тила нас. Туман в горах опаснее лавин и камнепадов. Он фантастически меняет очертания предметов. В туман легко сбиться с пути и в хорошо знакомых местах. Туман надо пережить, отси-живаться в палатках. Но для этого нужно иметь достаточно продуктов. И мы понимали, что наши товарищи на-верху оказались в страшной ловушке.

Зекир и Ураим Керим, полубольные, пошли на «5.600» с продуктами. К ве-черу оттуда вернулся Ураим Ташпек. Он принес записку от доктора. Нишан все еще был болен, и раньше 31-го нельзя было послать носильщиков на-верх.

Вечером из подгорного лагеря пришел наш караван. С ним прибыл Маслаев,

студент одного из ленинградских вту-зов, радист, помощник проф. Молчано-ва. Он приехал, чтобы помочь нам на-ладить работу самописца. Маслаев пере-правлялся через реки вместе с группой художника Котова, состоявшей из трех человек. Один из спутников Котова, художник Зеленский, при переправе погиб.

Предвидя необходимость организации спасательной партии, я послал Дудину с караваном записку, прося его вместе с Гокком Харлампиевым подняться в лед-никовый. Они пришли на другой же день.

Погода становилась все хуже.

Мы послали на «5.600» Абдурахмана и Ураима-«голова болит» с новым гру-зом продуктов и с указанием доктору во что бы то ни стало заставить носиль-щиков подняться по ребру и занести продовольствие в верхние лагери.

В ночь с первого на второе сентября разыгрался шторм. Порывы бури нес-лись с грохотом по серакам ледопада Орджоникидзе. Полы палаток надува-лись парусом.

Шторм разогнал туман, и утром 2 сентября пик Сталина наконец рас-крылся. Сверкая свежее-выпавшим сне-гом, окутанный дымкой снежных смер-чей, он снова вычерчивал свой мощный контур на голубом полотне неба. Буря продолжала свирепствовать. Было ясно, что штурмовики попрежнему должны были отсиживаться в палатках.

После обеда мы, к нашему удивлению, увидели на леднике пять человек, спу-скавшихся в лагерь. Они скрылись в се-раках и вскоре показались на морене. В двух из них мы сразу же узнали штурмовиков. Мы узнали их не только по белым пуховым костюмам, — мы узнали их по походке. Шли люди, сло-менные страшной усталостью, шли, су-туло опираясь на ледорубы, медленно переставляя негнувшиеся ноги. У одного из них кисть левой руки была вся за-бинтована марлей. Когда они подошли ближе, мы разглядели Гушина и Ши-янова. Вместе с ними пришли Абдурах-ман и оба Ураима. Ураима Керима вели под руки: он был болен ледниковой сле-потой и ничего не видел.

Немногое удалось нам узнать от Гущина и Шиянова в этот вечер. Они валились с ног от усталости. Они успели только сообщить нам, что вместе с Цаком покинули остальных штурмовиков 30 августа в последнем лагере на высоте 6.900 м. Подробный рассказ был отложен до завтра.

Шиянов лег в мою палатку. Ночью он мучительно бредил. Он карабкался во сне по отвесным кручам.

— Держи веревку, — кричал он, — крепче, крепче. Ведь мы должны взять Эверест!

К утру ветер стих. Установилась спокойная солнечная погода. Блокада тумана и шторма была снята. Можно было приступить к оказанию помощи верхней группе. Послав Маслаева и Абдурахмана на скалы для наблюдения за горой, мы устроили совещание. И прежде всего мы выслушали подробный рассказ Гущина и Шиянова.

Вот что мы узнали:

23 августа, на второй день восхождения, когда вторая веревка, выйдя из ледникового лагеря, поднималась на «5.600», Аболаков и Гущин с тремя носильщиками начали под'ем по ребру.

По плану они должны были, миновав лагерь «5.900», дойти до шестого жандарма, «обработать» его, оборудовать принесенными с собою веревочными лестницами и спуститься в лагерь «5.900». Эту задачу первой веревке выполнить не удалось. Поднявшись к лагерю «5.900», Аболаков и Гущин увидели, что передвижкой льда палатки перемещены и почти сползли в трещину. Пришлось вырубать для них во льду новое место. Это потребовало больше четырех часов ледорубной работы. Когда палатки установили вновь, было уже слишком поздно, чтобы подниматься к шестому жандарму. Пришлось заночевать на «5.900».

24-го Аболаков и Гущин с носильщиками пошли выше. Они миновали третий и четвертый жандармы и подошли к подножью пятого, который при подготовке восхождения едва не оказался непреодолимым даже для Аболакова, едва не положил конец попыткам форсировать ребро. Правда, теперь он был «обрабо-

тан» и итти по нем было гораздо легче, чем в первый раз, когда Аболаков прокладывал по нему путь. Но носильщики все же не решались начать под'ем. Лишь после долгих уговоров они тронулись в путь. Крутой и трудный под'ем привел их к первой площадке на пятом жандарме. Снова колебания: дорога «джуда яман»¹⁾. Пришлось оставить часть груза. Пошли дальше. На отвесной стене наискось вверх натянута закрепленная на вбитых в скалу крюках веревки. Альпинисты и носильщики перепопоясаны прочными кушаками, какие носят пожарные. У поясов — толстые металлические карабины. Аболаков и Гущин накидывают карабины на веревку и начинают под'ем на стену. Если сорвутся — упадут вниз до конца веревки и повиснут на карабине. Обдерутся, ушибутся, но не погибнут. Кроме того, они страхуют друг друга обычной веревкой.

Аболаков и Гущин поднимаются по отвесной стене. Веревка оттягивается под их тяжестью, отходит от скалы на полметра. Альпинисты, вися на ней над пропастью, с трудом преодолевают стену, достигают следующей площадки, откуда под'ем идет по веревочной лестнице.

Теперь очередь носильщиков. Но носильщики отказываются. Они не хотят рисковать жизнью. Они долго переговариваются — Аболаков и Гущин сверху, со стены, носильщики — снизу, с площадки. Потом носильщики вынимают из спинных мешков груз, складывают его на площадке и уходят вниз.

Аболаков и Гущин остаются вдвоем. Они решают продолжать восхождение. Но им надо сначала спуститься обратно на площадку, чтобы захватить с собою оставленные носильщиками палатки и коть немного продуктов. Спуск по веревке над пропастью и вторичный под'ем. Спинные мешки стали гораздо тяжелее, под'ем по веревке почти превышает человеческие силы.

И вот они снова на площадке над отвесной стеной. Дальше идет крутой сыпучий кулуар. Каждый шаг грозит обвалом. Особенно трудно Гущину, ко-

¹⁾ Очень плохая.

торый идет вторым: того и гляди, Аболаков сверху свалит камень. Кулуар взят. Трудный переход по узкому карнизу над кулуаром.

Здесь веревки и крюки кончились. Выше при подготовке не поднимались. Здесь Аболаков и Гушин идут впервые.

Снова крутой, почти отвесный кулуар. Под ним — бездонная пропасть. Аболаков начинает под'ем. Гушин, расставив ноги, закрепляется внизу и, наложив веревку на скалу, тщательно страхует Аболакова. Он следит за каждым его движением. Аболаков пробует каждый камень, каждый выступ, прежде чем опереться на них рукой или ногой. Он осторожен, он знает, какой опасности он подвергает Гушина, если обвалит на него камень. Но порода слишком рыхла. Сыплется все, за что ни возьмешься. И вот камень из-под ноги Аболакова летит вниз, увлекает за собою еще несколько камней. Прилинув к скале, Аболаков замер недвижно. Он видит, как Гушин, стараясь уклониться от сыплющихся на него камней, прячет голову под выступ скалы. Он видит, как один из камней начисто перебивает связывающую их веревку. Оба без страховки висят над пропастью. Потом он слышит крик — большой камень упал Гушину на левую руку, которой он держался за скалу. Обливаясь кровью, Гушин несколько мгновений балансирует над кручей, почти теряя сознание от боли. Наконец ему удается восстановить равновесие. Аболаков быстро спускается к нему, надежным узлом связывает перебитую веревку, закрепляет ее за выступ скалы. Потом приступает к перевязке. На левой ладони Гушина — большая рана, ладонь и указательный палец рассечены до кости, из раны лезет желтая соединительная ткань. Скалы кругом залиты кровью.

Аболаков накладывает повязку, туго ее затягивает. Кровь не унимается, повязка промокает.

Надо скорее спускаться вниз, в ледниковый лагерь, к доктору.

Спускаться? А что будет дальше? Спускаться можно только вдвоем с Аболаковым, так же, как и итти вверх Аболаков может только вдвоем с Гушиным.

Спускаться — это значит, что первая веревка отказывается от восхождения, не выполнив ни одной из возложенных на нее задач, даже не установив лагерь на «6.400». Но без первой веревки не пойдет и вторая. Спускаться — значит сорвать восхождение.

И Гушин с перевязанной*рукой, с промокающей от крови повязкой идет дальше.

Преодолен кулуар. Подошли к шестому жандарму. Труднейший траверс над снежным кулуаром. Узкий карниз с крутым наклоном: камни, покрытые тонким слоем льда. Не держат кошки, нельзя рубить ступени. Сорваться — километровая пропасть. Страховка бесполезна — веревку не за что закрепить. Сорвется один — потянет за собою другого. Связаны на жизнь и на смерть.

Дошли до середины карниза. Вбили в стену крюк, привязали веревку. Второй группе итти будет легче.

Карниз привел к небольшой скалистой площадке. До верха шестого жандарма, до фирна осталось несколько десятков метров. Но Гушин изнемог. Он не в состоянии итти дальше. Да и темно. Надо ночевать.

Палатки поставить нельзя — нет места для закрепления растяжек. Можно только лечь рядом, тесно прижавшись друг к другу.

Аболаков вбивает в скалу два крюка. Привязывает к ним себя и Гушина, чтобы ночью не скатиться вниз. Расстилает на площадке палатку. Альпинисты влезают в нее, укладываются.

Аболаков засыпает. Гушин не может спать, — слишком сильно болит рука.

Среди ночи Гушин будит Аболакова. Рука распухла, повязка врезалась в живую ткань. Аболаков с трудом разрезает ножницами твердый от засохшей крови бинт, меняет повязку.

Утром преодолевают последние метры шестого жандарма и входят на его вершину. Узкий длинный фирновый гребень, местами острый, образует переход с ребра на гигантские фирновые поля вершинного массива.

У начала гребня — маленькая площадка. На ней Аболаков и Гушин устанавливают две палатки — лагерь «6.400».

Страшное ребро форсировано. Они — на его верхней грани. С одной стороны — обрыв в цирк Сталина, в мульду, откуда идут лавины. С другой стороны — отвесный склон к ледопаду Орджоникидзе.

Они уже выше почти всех окружающих вершин. Они смотрят сверху вниз на сахарную голову пика Орджоникидзе, у подножья которого разбит ледниковый лагерь. Лавины, всегда шедшие сверху, рождаются теперь где-то внизу под ними. Через северную стену видны вершины Дарваза, лежащие к западу от хребта Академии наук, по ту сторону метеорологического рубежа.

Весь мир — ниже их. И только вершина пика Сталина вздымается над ними больше чем на километр. Закрывая половину горизонта, поднимается вверх мягкими уступами, сверкающими на солнце перекатами, огромный массив ее безграничных фирновых полей.

И здесь, на маленькой скалистой площадке, куда никогда не ступала нога человека, где неверный шаг означает падение в бездонную пропасть, продолжается будничная обиход людской жизни.

Аболаков собирает в кастрюлю снег для чая, ставит ее на маленькую кухоньку, зажигает под ней белые кирпичики сухого спирта. Они горят едва видимым голубоватым пламенем. Снег тает, на дне кастрюльки остается несколько чайных ложек воды. Кастрюлю вторично набивают снегом. Для того, чтобы добыть две кружки горячего чая, приходится затратить около часа.

После чая Аболаков хочет спуститься к подножью пятого жандарма, чтобы занести наверх часть оставленного носильщиками груза. Но от этого пришлось отказаться, — Гушин был слишком измучен.

Лежа в спальных мешках, отдыхали от напряжений вчерашнего дня, наблюдали, как с движением солнца по небу менялись сверкающие краски необозримой панорамы, прислушивались к мертвой тишине ледяной пустыни, лишь изредка нарушавшейся отдаленным гулом лавин и камнепадов.

И вдруг, вскоре после обеда, — услышали людские голоса. Внизу на скалах кто-то переговаривался. Все ближе и ближе, и в траверсе шестого жандарма над снежным кулуаром показываются фигуры Зекира, Нишана и Ураима Керима. Они преодолели ребро! Они идут медленно и осторожно, эти природные скалолазы. Они несут тяжелый груз в спинных мешках и останавливаются на каждом шагу.

Аболаков радостно приветствует их, спускается им навстречу и сквозь брезент спинных мешков прощупывает гладкий алюминий радиостанции.

Ура! Станция миновала ребро, восхождение не сорвано, восхождение продолжается!

Аболаков prepares носильщикам пищу. Носильщики наспех закусывают. Они спешат: «большой начальник» приказал им еще сегодня вернуться в лагерь «5.900». Они надевают пустые мешки, берут написанную Аболаковым записку и быстро спускаются вниз. Они исчезают в скалах шестого жандарма. Где-то внизу теряются последние отзвуки их голосов. Тишина снова окутывает лагерь.

Вечером носильщики вернулись на «5.900», где их ждала вторая веревка — Горбунов, Гетье, Цак и Шиянов.

Итак, станция была наверху. Но один из носильщиков — Зекир Прен — выбыл из строя. Острые ревматические боли свели его коленные суставы, он с трудом передвигался на полусогнутых ногах. Его пришлось отправить вниз.

На другой день вторая веревка с Нишаном и Ураимом Керимом пошла вверх. Нишан и Ураим Керим вторично форсировали ребро.

Уже стемнело, когда группа поднялась к лагерю «6.400». Аболаков дважды спускался по шестому жандарму, помогая сначала Цаку и Шиянову, затем — Горбунову и Гетье. Не доходя нескольких десятков метров до лагеря, Горбунов оставил на скалах свой рюкзак. Аболакову в полной темноте пришлось в третий раз спуститься за ним по скалам.

Самая трудная часть пути — скалистое ребро — осталась позади. Все альпинисты, станция, оборудование для по-

следнего лагеря и продукты были наверху. Но продуктов было очень мало. Их могло хватить только в том случае, если бы удалось закончить восхождение без всяких непредвиденных задержек. На это, однако, нельзя было рассчитывать. Стрелка анероида беспокойно металась по шкале, предсказывая неустойчивую погоду. Можно было опасаться тумана и шторма.

Николай Петрович еще накануне взял на учет все продукты и ограничил порции. Альпинисты были переведены на голодный паек. Вечером 26-го после трудного под'ема на ребро они получили по несколько ложек манной каши и чай с галетами.

Сказывались недостатки подготовительной работы, вызванные малым числом носильщиков и их непригодностью к пребыванию на больших высотах.

На другой день утром Нишан и Ураим Керим, страдавшие горной болезнью, пошли вниз. Последние носильщики выбрались из строя.

Аболаков и Гушин взвалили на себя двухпудовую радиостанцию и понесли ее вверх. На 6.400 м., где каждый грамм кажется килограммом, а килограмм — пудом, это был настоящий подвиг силы и выносливости. Осторожно, связанные веревкой, шли они по острому фирновому гребню. Каждый внимательно следил за товарищем. Если бы один из них сорвался с гребня, другой должен был бы тотчас же прыгать вниз на противоположную сторону. И затем, повиснув на веревке над пропастью с двух сторон гребня, они должны были бы снова взобраться наверх.

Миновав гребень, Аболаков и Гушин поднялись по фирновым полям до высоты 6.900 м., оставили там радиостанцию, наметили место для последнего лагеря и вернулись на «6.400».

28 августа Гетье и Цак спустились к пятому жандарму за продуктами, оставленными там носильщиками 24-го, и снова поднялись на «6.400». Горбунов и Шиянов сделали попытку пройти туда, где Аболаков и Гушин оставили станцию, и установить последний лагерь.

Но Шиянов, все еще не оправившийся от отравления, почувствовал себя плохо, и им пришлось вернуться.

29 августа альпинисты покинули, наконец, лагерь «6.400». Связавшись попарно, они осторожно миновали фирновый гребень и начали под'ем по фирновым полям. К вечеру они достигли места последнего лагеря. Две маленьких палатки возникли в белой беспредельности фирновой пустыни.

А между тем по плану в этот же самый день, 29-го августа, альпинисты, закончив восхождение, должны были вернуться в ледниковый лагерь...

XI

Вершина была близка. Всего на шестьсот метров надо было подняться по снежным перекатам фирновых полей, чтобы ступить на высочайшую точку СССР, чтобы вписать славную страницу в историю советской науки и советского альпинизма...

И все же трое из шести вынуждены были отступить. Уже шесть дней прошло с тех пор, как Гушину разбило камнем руку. Рука чудовищно распухла и сильно болела. Гушин почти не спал. Шиянов так и не оправился от отравления консервами. У Цака шекельтоны оказались слишком тесными: ногам было холодно, и их легко было отморозить.

Гушин, Шиянов и Цак решили спуститься.

Маленькая подробность: Шиянов пришел к этому решению ночью. И утром, незаметно для товарищей, он не принял участия в трапезе, чтобы сэкономить продукты для тех, кто продолжал восхождение.

А экономить продукты было необходимо: предсказание анероида начало исполняться. У вершины клубился туман.

Уходящие вниз видали, как Аболаков с одной частью радиостанции в спинном мешке стал медленно подниматься в направлении к вершине. Вслед за ним двинулся в путь Горбунов. Последним шел Гетье, несший вторую часть радиостанции. Он сгибался под непосильной тяжестью и каждые 10—15 шагов в изнеможении падал в снег.

Туман спускался все ниже, и вскоре фигуры трех штурмовиков расплылись в нем неясными силуэтами.

Гущин, Цак и Шиянов вскоре достигли лагеря «6.400». Здесь для уходящих вниз были оставлены одна банка консервов, девять кубиков «Магги», шесть галет, четыре куса сахара, четыре леденца и пачка сухого спирта. Пока готовили еду, Гущин корчился на полу палатки от нестерпимой боли. Шиянов согрел воду, промыл ему рану и переменял повязку. Шиянов тоже чувствовал себя слабым. Он и Гущин решили ночевать на «6.400».

Между тем Цак должен был спускаться дальше. Он получил задание — как можно скорее добраться до нижних лагерей и вновь подняться с носильщиками наверх на «6.400» или «6.900», чтобы доставить штурмовикам продовольствие. Медлить нельзя было ни минуты. Погода портилась, и штурмовики остались наверху на голодном пайке.

Как было поступить? Как спуститься по скалистому ребру одному, когда и на веревке с опытным товарищем спуск был труден и опасен?

Выручили старые навыки.

Есть альпинисты, ходящие по горам в одиночку. Они любят оставаться лицом к лицу с величавым миром вершин и ледников. Ради этого они готовы подвергаться лишнему риску и лишним опасностям (ходить в одиночку много труднее и опаснее, чем ходить вдвоем или втроем.).

Хождение «в одиночку» сурово осуждается законами альпинизма. В Швейцарии и Тироле, где широко организовано спасательное дело, где колонны опытных проводников немедленно выходят на розыски альпинистов, задержавшихся в горах дольше предположенного срока, не разыскивают пропавших одиночек: человек, нарушающий неписанный кодекс альпинизма, должен рассчитывать только на самого себя.

Цак, австрийский рабочий, коммунист, у себя на родине был альпинистом-одиночкой. Много глетчеров прошел он один, без товарищей, осторожно прощупывая впереди себя ледорубом снег,

много вершин в Альпах и Тироле он взял, не связанный ни с кем веревкой. И теперь он не отступил перед труднейшей задачей — одному спуститься по скалистому ребру. Он надел спинной мешок, взял ледоруб и исчез в скалах шестого жандарма. Поздно вечером он достиг двух палаток на краю трещины на фирновом обрыве — лагеря «5.900». Одинокий огонек походной кухни зажегся в одной из них...

31-го с утра начался снегопад. Снег валил густыми хлопьями. Он занес скалы, скрыл неровности, выступы, ступени, удесятерил опасность спуска. Шиянов и Гущин чувствовали себя больными и слабыми. Но надо было спускаться: в лагере оставался только однодневный неприкосновенный запас продуктов для верхней группы.

Гущин с больной рукой шел первым. Шиянов тщательно страховал его. Утром, перед выходом, они выпили по чашке бульона. Они начали спуск по шестому жандарму. Подошли к наклонному ледяному карнизу над снежным кулуаром. Шиянов, закрепив веревку за выступ скалы, принял устойчивое положение. Гущин, осторожно выбирая веревку, шаг за шагом продвигался по карнизу.

Шиянов следил за каждым движением своего товарища, балансировавшего над пропастью. Потом внезапная слабость охватила его. Организм, ослабленный отравлением и пятидневным недоеданием, не выдержал напряжения. Ледяной карниз над пропастью, Гущин, осторожно перебирающийся по нему, — все это куда-то исчезло, расплылось, смешалось и затуманилось.

Но Шиянов быстро очнулся. Гущин стоял в 15 метрах от него на середине карниза и сильными ударами молотка вгонял в скалу крюк. Больной рукой он захватил канат, которым был связан с Шияновым.

Шиянов похолодел от ужаса: жизнь Гущина зависела от его внимания, силы и быстроты, а он позволил себе забыться.

Гущин вбил крюк и накинул на него веревку. Теперь он мог хоть отчасти страховать Шиянова, который шел к не-

му по карнизу. У крюка Шиянов осгновился, и Гушин снова пошел вперед. Пройдя карниз, он перебрался на скалы и стал дожидаться Шиянова. Самое трудное место было преодолено. Альпинисты продолжали спуск по шестому жандарму. За весь день с'ели три галеты. К вечеру дошли до маленькой площадки на пятом жандарме. Здесь Шиянов вбил в скалу крюк, привязал себя и Гушина к нему веревкой и растелил спальные мешки. Потом он снял с Гушина тяжелые, окованные сталью башмаки и положил их в спальный мешок, чтобы они за ночь не замерзли. Альпинисты уместились на площадке только до колен. Ноги свисали вниз, в пропасть.

Снег перестал. Ветер гнал по небу разорванные тучи. Где-то внизу взошла луна, — она медленно карабкалась вверх по небосклону, ныряя в быстро несущиеся обрывки облаков. Их тени бежали по мерцающему серебру фирновых полей.

Гушин и Шиянов, лежа в спальных мешках, следили за фантастической игрой света и тени. Они забыли и безмерную усталость, и опасности предстоявшего на другой день спуска. Ночь затопляла их потоком тревожной и причудливой красоты. Были те мгновения, которые навсегда порождают в альпинистах тягу в горы.

Потом тучи сгустились, — снова пошел снег. Большие хлопья запорошили спальные мешки с неясными очертаниями двух человеческих фигур...

Альпинисты проснулись рано утром. Не хотелось вставать. Надвигалось то страшное состояние апатии и безволия, которое в горах опаснее лавин и трещин

— Пойдем, Юра, — сказал Гушин, собрав последние силы. — За нас никто вниз не пойдет.

Шиянов вылез из мешка и помог вылезти Гушину. Он надел ему башмаки. И перед тем, как тронуться в путь, запасливый Гушин вынул из кармана галету, которую он сберег. Маленький белый квадратик был драгоценностью. Шиянов разломил его на две равные части.

С огромным трудом, держась за ступеньки одной рукой, опустилс я Гушин

по веревочной лестнице, которая восемь дней тому назад испугала носильщиков. Пятый жандарм был преодолен, — еще одна ступень к спасению пройдена.

Гушин, как и раньше, шел впереди, разгребая снег ногами. Иногда он, сидя, с'езжал по заснеженным скалам. Шиянов страховал его и затем, без страховки, спускался сам.

Когда подошли к третьему жандарму, началась вьюга. Миновали третий жандарм, с помощью закрепленной веревки стали спускаться по крутому снежнику к лагерю «5.900».

До лагеря добрались в темноте. И тут неожиданно кончились все испытания: в лагере были Цак, Нишан и Ураим Керим. Носильщики пришли сюда еще утром, чтобы итти с Цаком на помощь верхней группе. Но туман, снегопад и вьюга остановили их.

Носильщики сняли с Гушина и Шиянова башмаки и оледенелые, твердые, как броня, костюмы. Цак приготовил ужин и чай.

Начавшаяся вечером вьюга перешла ночью в шторм. Шторм разогнал туман. Утром горы, одетые в сверкающий покров свежее-выпавшего снега, четко вычерчивали свои контуры на синеве безоблачного неба. Но на вершинных гребнях стояли «флажки» — полотнища снежной пыли, свидетельствовавшие о продолжающемся урагане.

Шторм бушевал и на ребре, грозя сорвать в пропасть всякого, кто рискнет выйти из палатки. Цак с носильщиками снова вынуждены были отказаться от попытки подняться в верхние лагеря. Впрочем, Ураим Керим и при хорошей погоде не смог бы итти вверх: накануне он поднимался без очков, не зная, что рассеянный туманом свет еще опаснее солнечных лучей. Сегодня он ослеп и испытывал сильную резь в глазах.

Когда ветер немного стих, Шиянов, Гушин и Ураим Керим начали спуск в лагерь «5.600». Цак и Нишан остались на «5.900», чтобы при первой возможности итти наверх. Однако, вскоре и Нишан спустился на «5.600», говоря, что у него болит нога.

В лагере «5.600» уже 7 дней находился доктор Маслов. И здесь впервые.

за 9 дней после ранения, Гушину была оказана медицинская помощь. Доктор очистил рану, извлек оттуда мелкие камни, расширил выход для гноя.

Затем Гушин, Шиянов и Ураим Керим с Ураимом-«голова болит» и Абдурахманом, находившимися в лагере «5.700», начали спуск в ледниковый лагерь.

Мы выслушали рассказ наших товарищей, обсудили все возможности, все варианты. Больше всего мы боялись, что штурмовики, ушедшие 30 августа к вершине без спальных мешков, не учтут своевременно опасности тумана. Найти в тумане фирновых полей две маленькие палатки было почти невозможно. Заночевать в снегу без спальных мешков значило замерзнуть наверняка.

Но и в том случае, если бы они 30-го вернулись в лагерь, их положение было бы несомненно очень тяжелым. Мы сопоставили количество имевшегося у штурмовиков продовольствия с длинной вереницей дней непогоды и пришли к выводу, что сегодня, 3-го сентября, — последний день, когда можно надеяться увидеть штурмовиков на фирне спускающимися вниз из лагеря «6.900». В противном случае надо было считаться с возможностью гибели группы. Не успели мы занести в протокол наше решение, как со скал спустился Абдурахман с запиской Маслаева. На записке был нарисован пик Сталина и наверху, там, где должен был находиться лагерь «6.900», поставлен крестик. «Здесь сидит или стоит человек» — писал Маслаев.

Итак, по крайней мере один из штурмовиков благополучно пережил шторм. Надо было спешить с помощью, надо было как можно скорее доставить наверх продовольствие. Мы неотступно следили в бинокль за горой: несмотря на хорошую погоду, никто не поднимался по ребру от лагеря «5.600». Очевидно, доктору не удавалось заставить носильщиков пойти в верхние лагеря. Поэтому Дудин и Гок Харлампиев с Абдурахманом после обеда начали под'ем к «5.600».

Вскоре после их ухода Маслаев сообщил со скал, что он видит двух человек, поднимающихся от лагеря «6.900» в направлении к вершине.

Мы были изумлены. Неужели наши товарищи, пережив дни страшного шторма, продолжали восхождение при полном отсутствии продуктов?

4 сентября с утра мы следили за горой. Мы видели, как две маленькие черные фигурки стали подниматься по ребру от лагеря «5.600». Нишан и Зекир шли наверх с продовольствием для штурмовиков. Мы видели, как они прошли второй жандарм и подошли к трещине, где находился лагерь «5.900», как через 10 минут уже не две, а три фигурки продолжали под'ем: Цак присоединился к носильщикам. Они миновали третий жандарм, показались на снежнике между третьим и четвертым. Прошли четвертый и стали подходить к пятому. Исчезли в скалах пятого жандарма...

Весь день мы следили в бинокль за ребром. Мы боялись увидеть на нем спускающихся вниз носильщиков. Это значило бы, что они не сумели подняться в лагерь «6.400».

До вечера ребро оставалось безлюдным. Носильщики дошли. Помощь была подана.

Не слишком ли поздно?

Ближайшие дни должны были дать на это ответ.

Гушин и Шиянов отлеживались в палатке. Шиянов спал день и ночь, Гушин мучился с рукой. Она распухла чудовищно. Из раны шел желтый гной вперемежку с маленькими камешками. Ураим Керим с чайным отваром на глазах лежал в своем маленьком шустере. Зрение постепенно к нему возвращалось.

Маслаев установил возле своей палатки антенну и устроил радиопередвижку. Несколько раз в день он посылал в эфир мои сообщения о ходе штурма.

Вечером он провел нам в палатки наушники. Лежа в спальных мешках, мы «ловили» Москву. Сквозь свист, треск и визг в эфире прорывались иногда отрывки концерта и фразы из речей.

На другой день утром я послал Абдурахмана на «5.600» за доктором, прося его спуститься в ледниковый. Гушину становилось все хуже, можно было опасаться осложнений.

В ожидании доктора мы с Капланом отправились на наблюдательный пункт на скалы. Мы видели, как два человека спустились с третьего жандарма в лагерь «5.900». Это, очевидно, вернулись носильщики, поднявшиеся накануне с Цаком в верхние лагеря. Маслаев сменил нас на скалах. Мы спустились в лагерь. Вскоре с «5.600» пришел доктор. Он осунулся, похудел. С жадностью набросился на еду. Потом занялся рукой Гушина.

К вечеру с «5.600» спустились Абдурахман и Зекир. Зекир шел, пошатываясь от усталости. Лицо его почернело, левая щека при падении была поранена о камни. Но он радостно и победно улыбался, протягивая мне маленький клочок бумаги.

Это была записка Цака Дудину. Она начиналась словами:

«Только мы поднялись на «6.400», как туда спустились Николай Петрович, Гетье и Аболаков. Станция поставлена, вершина взята».

Со странным чувством смотрел я на этот серый клочок бумаги, положивший конец всем нашим тревогам и опасениям, возвестивший славную победу штурмовой группы.

Как-то неожиданно легко и быстро обрывал он нашу борьбу за вершину. Восхождение было окончено, оставалось возвращение назад. Нам предстоял трудный путь по ледникам, через реки, по Алайской долине. И все же казалось, что экспедиция была окончена.

Победа далась не легко. Цак сообщал, что Аболаков заболел ледниковой слепотой, у Гетье — нелады с сердцем, у Николая Петровича обморожены пальцы на руках и ногах. Поэтому спуститься они сумеют только завтра.

Но все это не пугало: штурмовики были живы, и это было главное. Ведь в последние дни каждый из нас в глубине души опасался их гибели.

Хотелось получить ответ на десятки вопросов, узнать поскорее подробности восхождения: все ли трое достигли вершины, в каком месте поставлена станция? Приходилось запастись терпением.

Мы начали готовиться к встрече штурмовиков. Надо было прежде всего

позаботиться о хорошем питании для них. Я послал Зекира в подгорный лагерь, где находился наш караван. Я наказал ему прислать на другой день с одним из караванщиков киичьего мяса. Остальной караван должен был притти в ледниковый лагерь 7-го. Я рассчитывал, что 8-го мы все пойдем вниз.

6-го с утра доктор, Каплан, Маслаев и все носильщики стали собираться на «5.600» — навстречу штурмовикам. Надо было помочь им при спуске и принести вниз оборудование лагерей «5.900» и «5.600». Маслаев захватил с собой метеорологический самописец, который решено было установить на «5.600». Елдаш и я остались в ледниковом, чтобы приготовить все для встречи победителей. Наши «инвалиды» — Шиянов и Гушин — также не покинули своих палаток.

Я послал с Ураимом Керимом Горбуну письмо. Он его должен был получить в лагере «5.900».

«Поздравляю вас с замечательной победой, — писал я. — Но не демобилизуйтесь преждевременно. Помните, что и на последних двух жандармах можно погибнуть».

Опасности в горах принято делить на объективные и субъективные. К последним относятся опасности, зависящие от самих альпинистов: переутомление, неопытность, неосторожность, болезнь. Одна из самых больших субъективных опасностей заключается в ослаблении внимания после того, как преодолены наибольшие трудности. Много мастеров альпинизма погибло на сравнительно легких местах при спуске вниз после труднейших и опаснейших восхождений. Эту опасность я и хотел предотвратить своей запиской.

К вечеру я увидел, как носильщики поднялись по ребру в лагерь «5.900». Позже на снежнике между четвертым и третьим жандармом показалась первая двойка штурмовиков, медленно спускавшаяся вниз. Из «5.900» ей навстречу вышли носильщики. Уже стало темнеть, когда вторая двойка штурмовиков начала спуск по снежнику к лагерю «5.900».

В ночь из подгорного приехал караванщик Талуб-хан с киичиной.

7-го с утра мы начали готовиться к встрече. После десятидневной голодовки штурмовики должны были найти в ледниковом хороший обед. Мы с Елдашем варили, жарили, пекли.

Около часа дня штурмовики начали спуск из лагеря «5.900» к лагерю «5.600». В ледниковом их можно было ждать к вечеру.



Уже начинает темнеть, когда на леднике показываются черные фигурки спускающихся вниз штурмовиков и возвращающихся вместе с ними Дудина, Гока, Маслаева, Каплана, доктора и носильщиков. Они идут тремя группами. Последняя группа движется очень медленно. Никак не удается разглядеть в бинокль, сколько в ней человек — трое или четверо.

Первым на морене показывается Аболаков. В походке этого железного сибиряка нет и следа утомления. Он идет, как всегда, — скоро и споро, слегка переваливаясь с ноги на ногу, словно таежный медвежонок. Только кожа на скулах потемнела от мороза и шторма.

Через полчаса приходит с носильщиками Николай Петрович. Ему больно ступать отмороженными ногами, вокруг глаз легли синяки усталости, но идет он бодро. Он добирается до своей палатки и ложится. Мы снимаем с ног его башмаки: холодные, безжизненные, побелевшие пальцы забинтованы, бинты окровавлены.

Он сообщает первые подробности. Он достиг середины вершины гребня, до его высшей южной точки дошел только Аболаков.

Потом я иду с Абдурахманом и Ураимом Керимом навстречу Гетье. Уже темно. Абдурахман с поразительной уверенностью находит дорогу в сераках. Гетье, Дудина, Гока и доктора мы встречаем в конце сераков, перед выходом на ледник. Гок и доктор ведут Гетье под руки. Поэтому-то я и не мог определить в бинокль численность последней группы. Гетье еле передвигает ноги. Когда он видит меня, он бросается

мне на шею. По его широкому лицу текут слезы.

Мы идем к лагерю. Доводим Гетье до палатки, раздеваем его, укладываем в спальный мешок.

Потом мы рассаживаемся у костра на вьючных ящиках и слушаем Аболакова. Он начинает рассказ о восхождении, рассказывает скупо, коротко и через несколько минут замолкает.

— Не теперь, — говорит он. — Когда-нибудь потом. Пусть хоть немного улягутся впечатления. Тогда мы расскажем подробнее.

XII

Это «когда-нибудь» наступило не скоро.

Мы вернулись в Ош. Сентябрь был на исходе. Стояла благодатная южная осень. Поля были покрыты снегом созревшего хлопка. Спелые гроздья винограда просвечивали янтарем.

Мы жили на базе ТПЭ и отдыхали после трехмесячного похода. На базе было спокойно и тихо. Все отряды памирского направления, кроме двух, оставшихся на зимовку, закончили свою работу. Начальники отрядов сидели по палаткам и строчили отчеты. Они готовились к заключительной конференции в Сталинабаде.

Со всех концов Таджикистана на имя Горбунова приходили телеграммы:

— В районе Карадага отряд Ионина обнаружил большой оловоносный район.

— Партия Соболевского открыла ценнейшее месторождение оптического флюорита с невиданными по размеру и качеству кристаллами.

— Найдено месторождение висмута, с избытком покрывающее потребности СССР.

— Подтверждено промышленное значение карадагских полиметаллических руд.

— Найдены вольфрам и радий.

Николай Петрович не мог ходить. В отмороженных пальцах ног шел процесс сухой гангрены. Мы с утра выносили его в сад на соломенный шезлонг. И здесь он работал: выслушивал доклады, писал приказы и письма, вел совещания.

И однажды, в солнечный знойный день, Николай Петрович, Аболаков и Гетье рассказали нам подробно о восхождении.

30 августа, когда Гушин, Цак и Шиянов начали спуск из лагеря «6.900», Аболаков, Горбунов и Гетье направились к вершине. Аболаков и Гетье несли в спинных мешках разобранную на две части радиостанцию. Под тяжестью непосильной ноши Гетье каждые десять-пятнадцать шагов останавливался и в изнеможении падал в снег. Разреженность воздуха и пятидневное недоедание ослабили его. Через полчаса Горбунов переложил станцию в свой рюкзак. Она оказалась слишком тяжелой и для него. Было ясно, что дотащить радиостанцию до вершины не удастся. Нехватало Гушина с его силой и тренированностью. Вдвоем с Аболаковым они, может быть, и справились бы с этой задачей.

Надо было возвращаться. Надо было возвращаться и потому, что туман сгущался, и становилось все труднее найти лагерь. А заблудиться и заночевать в снегу без спальных мешков — значило наверняка замерзнуть: температура ночью падала до 25° ниже нуля.

Штурмовики вернулись в лагерь. Недалеко от него, на высоте 6.850 м. они нашли участок твердого фирна и здесь установили радиостанцию.

Утром 31-го туман сгустился. Минимальный термометр показывал ночную температуру — 45° мороза. Начиналась вьюга. Надо было отсиживаться в палатках. Гетье чувствовал себя плохо — сказалось чрезмерное напряжение предыдущих дней.

Николай Петрович, рискуя заблудиться в снежном буране, с утра отправился проверить работу радиостанции. Она не работала. Горбунов с огромным трудом перенес ее к лагерю. Здесь, в палатке, на двадцатиградусном морозе, он разобрал ее.

Оказалось, что разошлись контакты. Исправив повреждения, Николай Петрович и Аболаков вновь собрали станцию, установив ее возле лагеря.

К вечеру усилилась метель. Сухая снежная пыль проникала сквозь щели наглухо зашнурованных палаток, ско-

плялась на полу и в углах маленькими сугробами.

Гетье становилось все хуже. Сердце билось лихорадочно. Ночью начались мучительные спазмы сердечной рвоты. Большой лежал недвижно в спальном мешке, обливая желчью себя и Горбунова.

1 сентября погода еще ухудшилась. Усилились снегопад и вьюга. Палатки и спальные мешки покрылись слоем инея. Гетье не принимал ни пищи, ни питья: глоток воды немедленно вызывал приступ рвоты.

В ночь на 2 сентября разразился шторм — страшный, неуправляемый шторм горных вершин. Ветер гнал по фирновым полям облака снежной пыли, обрушивая их на две маленькие палатки, затерянные в ледяной пустыне. Снежные смерчи крутились вокруг них в яростном вихре, снег ложился на них сугробами. Под тяжестью его пластов сломались стойки в палатке, где спали Гетье и Горбунов. Ни тот, ни другой не могли пошевелиться. Аболаков сумел укрепить палатку ледорубом и спинным мешком. Утром он прорыл проход в сугробе, вышел наружу и крышкой от походной кухни откопал своих товарищей.

Туман разошелся, ярко светило солнце. Близкая, но недосыгаемая, сверкала свежее-выпавшим снегом вершина пика Сталина. В продолжавшемся шторме на ней бешено крутились облака снежной пыли. Безграничная панорама горных вершин, скрытая двухдневным туманом, снова раскрылась перед альпинистами.

Ветер продолжал наматывать сугробы на палатки. Днем снова пришлось разгребать снег.

Горбунов и Аболаков разделили скудный рацион дневного пайка. Продовольствие было на исходе. Оставалась одна банка рыбных консервов и одна плитка шоколада.

Гетье попрежнему недвижно лежал в палатке. Рвота утихла, но возобновлялась при малейшей попытке принять пищу или выпить глоток воды. Мертвенная бледность легла на заострившееся лицо больного. Аболаков и Николай Петрович опасались рокового исхода.

3 сентября шторм, наконец, стих, — наступила ясная, безветренная погода.

Гора, казалось, разжала страшный кулак, в который захватила трех смельчаков. Показав весь грозный арсенал своей обороны, она открыла им путь к отступлению.

О том, чтобы итти на вершину, нечего было и думать. Аболаков и Николай Петрович ослабели от восьмидневного недоедания и долгого пребывания на огромной высоте. Гетье безжизненно лежал в палатке. Надо было воспользоваться хорошей погодой и как можно скорее итти вниз.

Вторичное наступление тумана и шторма означало бы верную гибель от голода и истощения.

Но Горбунов решил иначе. Еще внизу, в ледниковом лагере, он предвидел возможность такого положения, когда понадобится нечеловеческое усилие воли, чтобы «дожать» вершину. Поэтому-то он и принял участие в восхождении.

Он прекрасно понимал, с каким риском, с какой опасностью была связана попытка взять вершину. Но не это смущало его. Он не решился оставить на целый день тяжелобольного Гетье. Он боялся по возвращении найти в палатке труп.

Он подсел к Гетье. Осторожно и тихо оң спросил его, согласен ли он «отпустить» его с Аболаковым на вершину. Гетье не возражал. Этот человек, уже два дня борющийся со смертью, согласился еще на сутки отсрочить спуск вниз, где ждала его помощь врача.

Горбунов и Аболаков с трудом одели штормовые костюмы. Костюмы превратились в ледяные брони. Потом пришлось ждать, пока солнце поднимется выше и станет немного теплее.

Снарядившись в путь, Аболаков и Николай Петрович поставили возле Гетье кастрюлю со снегом и сухой спирт, чтобы больной мог согреть себе воду.

Последний штурм начался. Медленно, шаг за шагом, поднимались альпинисты по отлогим перекатам фирновых полей. Медленно, деление за делением, двигалась стрелка анероида. 7.000, 7.050, 7.100.

Подшли к широкой трещине. Удалось найти переход. На другом краю начался крутой под'ем по обледенелому

фирну. Пришлось связаться и итти, тщательно страхуя друг друга. Крутизна склона на огромной высоте в 7.100 м. была почти непреодолима.

Потом путь стал легче. В течение двух часов шли белой пустыней фирновых полей, останавливаясь каждые 10 — 15 шагов. 7.150, 7.200, 7.250...

С трудом перешли вторую трещину. Попадались участки рыхлого снега. Аболаков, шедший первым, протапывал дорогу.

Солнце уже перешло зенит и клонилось к западу, а вершина все еще была далека. Надо было спешить. Развязались. Аболаков пошел быстрее. Горбунов, старавшийся заснять «лейкой» все моменты восхождения, стал отставать.

Расстояние между альпинистами увеличивалось. 7.300, 7.350... Страшная разреженность воздуха сковывает движения, лишает сил, мутит разум. Небо над сверкающим фирном кажется темно-фиолетовым.

Горбунов смотрит вслед удаляющемуся Аболакову и вдруг видит рядом с ним... самого себя. Он проводит рукой по темным очкам, защищающим глаза от слепящего света, — галлюцинация не исчезает. Он попрежнему видит самого себя, шагающего рядом с Аболаковым.

Затем страшная мысль мелькает в его голове: уже поздно, они не успеют дойти до вершины. Горбунов кричит Аболакову, чтобы тот не шел дальше: надо вырыть в снегу пещеру, переночевать в ней и завтра продолжать восхождение.

Только глубочайшее, еще не изученное наукой действие высоты на психику человека могло породить такую бредовую мысль. Ночевать в снегу без спальных мешков на высоте 7.350 м. — значило через полчаса уснуть навсегда...

Аболаков не слышит или притворяется, что не слышит. Вершина близка. Она влечет неудержимо. Ничто больше не может остановить Аболакова — ни надвигающаяся темнота, ни признаки вновь начинающейся вьюги. Он идет вперед. 7.400, 7.450. Он уже на вершинном гребне. Еще несколько десятков метров по гребню к югу, к его

наивысшей точке, и цель достигнута. Но силы изменяют Аболакову. Он задыхается. Он падает в снег. Тяжкие молоты стучат в висках. Рот раскрыт, как у рыбы, вытасненной из воды. Кислорода нехватает, он задыхается...

Отлежавшись, Аболаков попробовал встать. Встать не удалось. Удалось подняться на четвереньки. И на четвереньках, шаг за шагом, преодолевает Аболаков последние метры пути.

Аболаков стоит на вершине. Памир, величайший горный узел мира, лежит под ним грандиозным макетом глетчеров и хребтов, уходящих вдаль, за границы Китая, Индии и Афганистана. Сверху, с птичьего полета, видна грандиозная свита пика Сталина.

Мощным снежным шатром, ближе всех других вершин, высится невдалеке пик Евгении Корженевской. Недвижно текут широкие, расчерченные черными полосами срединных морен ледники Федченко и Турамус.

Темнофиолетовое небо пылает на западе неярким пожаром заката. Розовые блики ложатся на вершины гор. Восточные склоны покрыты холодной голубизной вечерних теней, с востока надвигается легкая пелена облаков. Озаренная лучами заходящего солнца фигура Аболакова бросает на них гигантскую тень. Чудовишный двойник рождается в облаках. Аболаков поднимает кверху руку — двойник в точности повторяет его движение. Километровый человеческий силуэт в облаках жестикулирует...

Аболаков вынул походный альбом. Замерзшими пальцами он сделал наброски окружающих вершин и ледников.

Северный склон вершинного гребня оказался скалистым. Аболаков сложил из камней маленький тур и вложил в него консервную банку с запиской о восхождении. Потом он последний раз окинул взглядом безграничную панораму и начал спускаться.

На склоне вершинного гребня он встретил Горбунова, шедшего вверх.

Блики лунного света лежали на фирновых полях, когда победители вершины вернулись в лагерь.

Гетье, считавший, что они заблудились или замерзли, услышал шуршание снега под окованными сталью шкельтонами и голос Горбунова:

— Вершина взята! Ноги целы!

Но когда сняли шкельтоны, оказалось, что у Горбунова пальцы ног отморожены. Аболаков несколько часов оттирал их снегом. Оттирания не помогли.

На другой день утром приступили к спуску. С трудом подняли на ноги Гетье, у которого возобновилась рвота. Горбунов и Аболаков отнесли станцию на твердый фирн и снова установили ее там. После этого, поддерживая под руки Гетье, стали спускаться к лагерю «6.400». Каждый несколько шагов Гетье садился в снег. Горбунов, переминаясь на отмороженных ногах, терпеливо ждал, пока он сможет идти дальше.

Подошли к узкому фирновому гребню, в конце которого стояли палатки лагеря «6.400». Связались веревкой. Гетье шел первым. Шатаясь от слабости, балансировал он на снежном лезвие над пропастью. Следя за каждым его движением, шел за ним Аболаков, готовый, в случае падения Гетье, прыгнуть на противоположную сторону.

Так можно было дойти до лагеря «6.400». Но было не ясно, что делать дальше. Спуск по скалистому ребру был неразрешимой задачей. Аболаков мог страховать на нем одного из своих больных товарищей, но не обоих сразу.

И тут произошло одно из тех совпадений, которые в жизни человеческой случаются чаще, чем принято думать: подойдя к палаткам, увидели возле них людей. За полчаса до прихода штурмовиков в лагерь поднялись Цак, Нишан и Зекир с продовольствием и медикаментами. Помощь пришла вовремя, штурмовики были спасены.

Следующий день пришлось провести в лагере «6.400». Аболаков, бывший накануне в слишком светлых очках, ослеп.

6 сентября спустились в лагерь «6.900». 7-го вернулись в ледниковый лагерь.

Наука и жизнь

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Е. Львов

1. Съезд советских астрономов

В Москве 20 — 25 января с. г. работал Всесоюзный астрономо-геодезический съезд, — первый в истории науки астрономический съезд, собравшийся в условиях развернутой социалистической стройки.

Астрономия и социализм...

Ответить на вопрос о том, в какой мере связаны между собою эти две великие сущности, значит прежде всего ответить: в какой мере астрономия есть чисто «небесная» наука. Действительно ли это так? Так ли далеко удалены «звезды», удалена наука о небе, ее инструментарий, ее кадры и теоретический гений от насковзь земного дела, каким является дело социализма, дело борьбы за счастье человечества здесь на земле?

В XV—XVI вв. ранняя астрономия помогала мореплаванню торговой буржуазии налаживать навигационные измерения по видимым, кажущимся движениям светил.

Шагнув далеко вперед, нынешняя наука о небе углубляется во внутренние строение планет, звезд и туманностей. Но, спрашивается, какой непосредственный интерес, какое значение для земной тактики имеют эти работы? Какую пользу может принести, скажем, спектрографирование переменной звезды или спиральной туманности?

Еще сравнительно недавно на эту проблему трудно было дать вполне удовлетворительный ответ.

Ирония Толстого, обращенная по адресу астрономов, «считающих звезды, которые все равно нельзя «счесть», могла казаться и уместной, и убедительной для тех, кого можно было убедить.

Между тем уже в 1893 г. Вильям Рамзай находит на солнце новый газ гелий, который через 7 лет разыскивают на земле. И — еще через 20 лет — наполняют им дирижабли. На протяжении тех же десятилетий выясняется, что солнце шлет на землю потоки электронов, влияющих на прием и передачу радиоволн. Выясняется, что по всем направлениям из мирового пространства, не переставая ни на секунду, падает дождь космических лучей. Обнаруживается, что эти лучи, пронизывая растения, животных и человека, непосредственно влияют на жизнь, на здоровье и эволюцию органических существ. Подтверждается и вырисовывается в новом свете тот факт, что энергия солнца есть двигатель всего того, что движется, меняется, развивается на земле. Познать механизм процессов, происходящих на солнечной поверхности и в солнечных недрах, значит познать механизм земной погоды, проникнуть в динамику почвенных и геологических явлений, наблюдать атомы и атомные ядра в тех условиях чудовищных давлений и сверхвысоких температур, которые недоступны ни в какой земной лаборатории.

Познать солнце, в итоге, значит вооружить сельское хозяйство, агрономию, метеорологию, медицину, зоологию, ботанику, наконец физику и развивающуюся на базе физики технику строящегося социализма бесчисленными сведениями, относящимися к их кровным, деловым, земным запросам.

Но солнце — только одна из миллиардов звезд, и изучать солнце нельзя иначе, как в связи со строением и развитием других звезд.

Изучение же последних немислимо без исследования всех прочих космических объектов: туманностей, звездных куч, роев и т. д., образующих эволюционный ряд, одним из звеньев которого являются звезды.

Так протягиваются прочные прямые нити от «земли» к «небу», так связывается в единую, всеобщую материальную связь то, что на земле, и то, что вне земли.

И, наконец, когда эта связь вчерне постигнута, когда картина мира как целого схвачена в ее основных чертах, тогда революционное мировоззрение рабочего класса, тогда материалистическая диалектика, оплодотворяющая астрономию, получает от нее обратно новые просторы, новые данные для обобщений, новые иллюстрации к общим законам изменения материи, открытым и разработанным Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным.

Штурм неба, мы видим, быть может, в еще большей степени, чем штурм атома, является в переживаемые дни кровным делом социализма, кровным делом пролетарской революции и Советской страны.

Общий ход этого штурма, начавшегося 324 года назад, в дни пробы одного из первых телескопов, установленного Галилео Галилеем на городской площади Падуи, мы и напомним прежде всего.

2. Загадка „расширяющейся все-ленной“

Телескоп помог — на первых же порах — раздвинуть границы солнечного мира: телескоп дал возможность поймать в поле зрения седьмую, затем восьмую и

наконец 13 марта 1930 года девятую и самую далекую планету, названную Плутоном и схваченную на фотографическую пластинку молодым американцем Вилли Томбаутом в том самом месте неба, которое было заранее предвычислено Персивалем Ловеллом.

Телескоп — говорим мы — в соединении с фотографической пластинкой и с небесной механикой позволил окончательно распутать строение того клубка из 9 больших и свыше чем тысячи малых шаров¹⁾, который называется Солнечной системой и занимает район мирового пространства поперечником около $7\frac{1}{2}$ миллиардов километров. Этот район является непосредственными космическими окрестностями земли и обитающего на ней человечества.

Установив все это, найдя место земли в семье планет, надо было двигаться дальше. Надо было обратиться к исследованию того места, которое занимает само солнце и солнечная система в звездном океане вселенной. Нормальное зрение воспринимает не более с е м и т ы с я ч звезд на небе обоеих полушарий. Фотографическая пластинка, пристроенная к наиболее мощным телескопам, запечатлевает их с о т н и м и л л и о н о в. На-глаз размещение звезд кажется застывшим, взаимно-неподвижным. Спектроскоп вскрывает их быстрое поступательное движение по разным направлениям со скоростями, достигающими сотен километров в секунду.

Являясь пассажирами земли, мы — следовательно — не только однообразно кружимся вокруг солнца, но совершаем, одновременно и какой-то прямолинейный марш через мировое пространство. Траектория этого марша, как также известно, была намечена впервые в 1799 году В и л ь я м о м Гершелем в Англии.

Солнце, — установил Гершель, — прямолинейно несется со своими спутниками со скоростью около 30 км./сек. по направлению к созвездиям Лиры и Геркулеса, как рядовая, как одна из мириад звезд. Но является ли весь этот

¹⁾ Не считая 27 спутников планет и нескольких сотен периодических комет, обращающихся по сильно вытянутым орбитам вокруг солнца.

звездный конгломерат лишь хаосом шаров, беспорядочно движущихся и столь же беспорядочно разбросанных по мировому пространству?

Вторым историческим шагом астрономии, сделанным после шага первого, — после открытия в 1543 г. строения планетной системы Коперником, — и явилось выяснение общей картины той многомиллиардной федерации звезд, одним из сочленов которой является солнце. Этим шагом наука обязана упорному коллективному труду нескольких поколений исследователей, начиная от великого Гершеля и кончая Коптевым (1910) и шведами Линдбладом и Ортом (1920).

Выяснилось, что в этом большом звездном мире, в отличие от «малого мира» солнечной системы, нет центрального тела, нет гегемона, который бы доминировал над остальными телами, подобно тому, как солнце довлеет над планетами. Но все мириады звезд представляют собою децентрализованный, хотя и связанный взаимными силами тяготения, рой, имеющий — как оказалось — правильно очерченные контуры, напоминающие форму двустворчатой раковины. Большая ось этой раковины имеет протяжение, равное, по последним подсчетам доктора Слайфера (директора обсерватории в Аризоне, США) двум квинтиллионам (10¹⁸) километров. Малая ось примерно в четыре раза меньше. Территория звездной федерации, в которой участвует солнце, таким образом, приблизительно во столько же раз превосходит «малый» солнечный мир, во сколько раз диаметр этого последнего больше поперечника города Москвы. В такой же пропорции находится и сложность структуры обоих миров. Если Солнечная система представляет, как говорилось, конгломерат из нескольких сотен основных кусков, то «большой мир», по недавним работам Сирса, насчитывает около 30 миллиардов штук главных объектов. В состав этих последних включаются: 1) обычные, т.е. вполне сформировавшиеся, «взрослые» звезды разных размеров и разных степеней накала; 2) зародыши звезд, или так

называемые газовые туманности, представляющие собою облака холодных разреженных газов с постепенно сгущающейся и разогревающейся сердцевиной — ядром будущей звезды; 3) темные «звезды», т.е. остывшие и потухшие остатки прежних звезд, — остатки, не видимые, разумеется, ни в какой телескоп, но несомненно существующие, по всем данным.

Густота этого, имеющего форму раковины, роя оказывается столь незначительной, что уменьшает до крайности вероятность столкновений между его членами. Если — для наглядности — уменьшить территорию «большого мира» до размеров города Москвы, тогда отдельные звезды представляются пылинками, движущимися со скоростью 1 сантиметра в миллиард лет на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Человек в ясные ночи видит контур обода звездной раковины (в перспективе) над своей головой.

Это — Млечный путь.

Греческое название Млечного пути — «Галактика». От этого слова вся система из 30 миллиардов штук звезд, участником которой является солнце, называется «галактической системой», или просто «галактикой».

Последним по времени сведением о ее поведении является открытый недавно Шэпли факт поступательного движения, а также вращения всей чудовищной звездной раковины, взятой, как целое, вокруг оси в мировом пространстве.

Вместе с выходом из узкого солнечного района в галактический мир пассажиры земли становятся, таким образом, участниками еще двух новых космических движений: они не только вращаются вместе с землей, не только обходят вокруг солнца, но также несутся вместе с солнцем к созвездиям Лиры и Геркулеса, но и переносятся вместе с этими созвездиями, вместе со всем звездным роем, как целое, в новые края вселенной, а также поворачиваются вокруг его (роя) оси.

Что же дальше? Ограничивается ли мировое бытие, в его астрономическом разрезе, этим скоплением 30 миллиардов разгорающихся или потухающих (чтобы

начать новый цикл развития) солнц, — скоплением, растянувшимся на добрых два квинтальиона километров?

Может ли быть, чтобы за границами этого скопления было «пусто», чтобы вселенная кончалась на рубеже большого звездного мира?

Еще прежде чем поставить этот вопрос на решение оружием конкретных астрономических фактов, диалектический материализм дает нам решающий ответ на проблему. Материалистическая диалектика природы учит нас, как известно, что вселенная, т.е. составляющая ее материя, бесконечна — как во времени, так и в пространстве. Материалистическая диалектика, далее, показывает нам, что бесконечное мировое пространство ни на одном своем участке не является и принципиально не может являться «пустым» пространством.

В самом деле: само пространство есть не что иное, как одна из форм существования материи.

Пространство неотделимо от материи. И в частности факт непрерывности пространства представляет собою лишь отображение непрерывности самой материи.

Диалектический синтез прерывности и непрерывности вещества, как также известно, в черновых и предварительных чертах намечен в настоящее время физикой. Прерывная (и наиболее хорошо изученная) сторона бытия материи выражается, напомним, в факте концентрации электрического заряда и массы в дискретно расположенных малых объемах, называемых электронами, позитронами, нейтронами.

Непрерывность же материи находит себе проявление в существовании непрерывной и бесконечно простирающейся на всю вселенную среды эфира. Итак, промежутки между звездами и между блуждающими в межзвездном пространстве отдельными атомами — на самом деле — вовсе не являются «пустыми» промежутками, но — незамечаемым (пока!) для астрономов образом — заполнены эфиром. За пределами большого галактического мира простирается, следовательно, безбрежный океан эфира. Но всюду, где есть эфир, должны

быть и связанные с этим эфиром и составляющие с ним физическое единство электроны, позитроны, нейтроны. Всюду же, где имеются эти последние, должны возникать и тесные собрания больших количеств электронов, позитронов и нейтронов, — собрания, называемые планетами, звездами, туманностями.

Таким образом, уже один теоретико-познавательный анализ дальнейших путей развития астрономии непосредственно приводит к тому, что за границами галактической системы на тех или иных расстояниях от нее должны существовать другие галактики, столь же или даже еще более мощные, чем эта последняя.

Этот изумительный прогноз полностью и оправдался ходом истории.

Еще «отец» звездной астрономии Вильям Гершель-старший, рассматривая в построенный им 4-футовый (рекордный для начала XIX в.) телескоп те встречающиеся то здесь, то там среди звезд газоподобные светящиеся облачка, которые мы называли «туманностями», высказал предположение, что только часть из этих облачков представляет собою газовые туманности в собственном смысле слова. Только часть из них являются подлинными клубами светящегося газа — зародышами будущей звезды. Другая же часть туманных пятен, — писал Гершель, — может быть, представляет не что иное, как скопления десятков миллиардов звезд, в точности подобные системе Млечного пути, но закинутые на столь большие расстояния, что для земного наблюдателя они выглядят ничтожными каплями «тумана».

Так в уме нищего ганноверского музыканта¹⁾ впервые в истории науки мелькнула безгранично смелая мысль о

¹⁾ Вильям Гершель родился в 1738 г. в Ганновере, поступил на военную службу полковым гобоистом, дезертировал из армии в Англию, где занялся, самоучкою, шлифовкой стекол и сооружением зрительных труб большой мощности. Случайная находка седьмой планеты Урана преопределила его дальнейшую карьеру.

множественности млечных путей, о существовании некой «сверхселенной», в которой астрономический «большой мир» из 30 миллиардов звезд, рассыпанных по ночному небу, так же ничтожно мал, как атом внутри куска графита.

Эта гениальная догадка получила точное подтверждение в наше время.

В 1864 г. английский астроном Хеггинс впервые направил на туманные пятна телескоп, вооруженный на окулярном своем конце спектрографом, т.е. призмным устройством для фотографирования спектра света, испускаемого туманностями.

Напомним, что спектром называется разноцветная полоска, получаемая после разложения в призме смешанного (белого) света на составляющие его простые лучи семи цветов радуги. Каждому химическому элементу присущ свой набор одновременно испускаемых световых волн разной длины и, следовательно, свой набор цветов в спектре. При этом спектр, даваемый накаливаемыми газами или парами, нельзя спутать со спектром света, испускаемого горячей жидкостью или твердым телом. Первые (принадлежащие газам) спектры состоят из отдельно расположенных разноцветных линий, так что каждому простому веществу в газообразном состоянии соответствует комплект спектральных линий, соответствующих строго определенным длинам световых волн. Что же касается до жидкостей и твердых тел, то их спектр представляет радужную каемку с непрерывно переходящими друг в друга разноцветными участками.

Пользуясь этим именно способом «спектрального анализа», астрономы и имеют, как известно, возможность: 1) распознавать присутствие на удаленных светилах тех или иных веществ; 2) выяснять, в каком состоянии находятся эти вещества, — в твердо-жидком или газообразном.

Рассматривая полученные им фотографии спектров ряда туманностей, Хеггинс и мог констатировать поразительный факт, давно уже с нетерпением ожидавшийся астрономией.

В полном соответствии с предсказаниями Гершеля лишь часть исследованных туманностей обнаружила резко выраженный линейчатый спектр, подтвердив тем самым, что мы имеем здесь дело с действительными облаками газа, т.е. с рядовыми звездными зародышами, входящими в состав нашего «большого мира». Промер расстояний, в согласии со спектральными данными, показал, что туманности с газовым спектром находятся действительно в пределах галактики.

Не так обстояло дело с целым рядом других туманностей. Их спектр оказался четко обозначенным линейчатым, т.е. звездным, спектром. И, следовательно, светящиеся облачка эти расшифровались и впрямь как скопления звезд, как «большие миры» того же типа, что наша галактика.

О расстояниях их до земли — до поры до времени — нельзя было с определенностью ничего сказать. На превосходящую все известные пределы огромность расстояний намекало во всяком случае то обстоятельство, что значительная часть этих туманностей, даже при рассматривании в сверхмощные телескопы, не удалось разложить на отдельные зерна — звезды. Только в немногих случаях зернистое строение было вскрыто сильными инструментами еще во времена Гершеля.

В 1923 г., впервые в истории, доктору Эдвину Хеббл, работающему на крупнейшей в мире 100-дюймовой трубе, принадлежащей известной обсерватории на горе Вильсон (Калифорния, США), удалось измерить точные расстояния до пяти самых близких туманностей звездного типа.

Расстояния эти оказались достигающими 100 квадрилионов (10^{20}) километров.

Выход за пределы большого звездного мира был достигнут. Человечество совершило третий эпохиальный шаг в своей космологической экспансии. Оно проникло астрономическими инструментами не только за черту поверхности земли, не только за рубеж солнечной системы, но — теперь — и за грань того мира, который, как мы видели, сам состоит из полусотни миллиардов солнц.

Человечество вышло в ту астрономическую область, которая называется в настоящее время «большой вселенной» и в которой элементарными структурными единицами являются уже не планеты и не звезды, а скопления из миллиардов звезд галактики.

На протяжении десяти последних лет (1923—33) удалось выяснить существование около миллиона штук внегалактических туманностей (галактик), чьи размеры приближаются к размерам нашей галактики, а взаимные расстояния — примерно в тысячу раз больше по сравнению с их поперечником. Расстояния эти исчисляются, значит, секстамиллионами (10^{21}) километров.

Внегалактическая туманность с наибольшим измеренным пока (к 1 января 1934 г.) расстоянием, так называемая туманность в созвездии Льва, удалена от земли, по последнему подсчету Хейбла и его сотрудника Юмэсона, на десять секстидллионов километров.

Итак, три основные вехи, три границы раздвижения горизонта вселенной, — три этапа штурма неба на протяжении немногих столетий. Мир первый, планетный, — мир Коперника. Мир второй, звездный, — мир Гершеля. Мир третий, мир галактик или «большая вселенная», — можно назвать миром Хейбла и Шэпли, по именам наиболее потрудившихся над ее промерами современных американских астрономов.

Если размеры мира Коперника обозначить горошиной, тогда мир Гершеля вырастет уже до размеров Европы, а большая вселенная — в ее ныне разведанных пределах — как-раз уместится внутри орбиты самой далекой планеты — Плутона.

Другими словами, «большая вселенная» (в ее — повторяем — исследованных пока границах) так относится территориально к солнечному «миру Коперника», как этот последний — к горошине.

Еще одна параллель. Две атаки, ведомые сейчас одновременно двумя авангардными отрядами материалистического естествознания, — атомной физикой и внегалактической астроно-

мией, — привели к последовательному освоению следующих участков мирового бытия (берем их пространственную напряженность в кубических километрах):

10^{-54} (объем электрона); 10^{-51} (объем атомного ядра); 10^{-39} (объем атома); 10^{+27} (объем солнечной системы); 10^{+54} (объем галактики); 10^{+66} (объем «большой вселенной» в границах современной телескопии).

Размах экспансии в обе стороны — примерно одинаков. И нет конца ни в ту, ни в другую сторону. Электрон неисчерпаем вовнутрь, так же, как безгранична вширь вселенная. Будущее физики уходит вдаль по линии проникновения во все меньшие объемы материи. Будущее астрономии провидится, как неограниченная экспансия во все большие пространства, — экспансия, отнюдь не только сводящаяся к простому количественному расширению поля зрения мира. Ибо постепенное продвижение вглубь и вширь материи закономерно прерывается вехами качественных узлов, вехами, размечающими возникновение новых, качественно особых структурных единиц материи. Этапы экспансии, обозначенные последовательностью цифр: 10^{-54} , 10^{-51} , 10^{-39} , 10^{+27} , 10^{+54} , 10^{+66} — на самом деле разнятся между собой не только количественно. Но они фиксируют качественно различные структурные образования, именуемые: электрон, ядро, атом, солнце, галактика... и влево, и вправо путь ведет к новым структурным единицам: меньшим электрона и большим галактики.

Таким образом, не подлежит никакому сомнению, что так называемая «большая вселенная», понимаемая, как система галактик, сама по себе не является еще бесконечно протяженным собранием неограниченного числа галактик, но должна иметь определенные пределы, как обособленная структурная единица астрономического мира.

Что это значит? Это значит, что, подобно тому, как электроны и ядра собираются в атомы, а атомы сцеп-

ляются в звезды, а звезды соединяются в галактики, точно так же и галактики скучиваются в законченные структурные группы, которые — развивая предыдущую терминологию — придется называть «большими вселенными».

Сегодня, в 1934 году, астрономия действует еще, как мы видели, в пределах одной только «нашей» «большой вселенной», как некогда она действовала в более узких границах одного звездного мира и, еще раньше, в пределах мира планетного.

Границы даже этой одной «большой вселенной» — повторяем — еще не достигнуты. Освоенный космический объемом в 10^{66} кубических километров с его миллионами штук галактик не является еще, по всем признакам, законченным структурным целым. Ряд вполне надежных астрономических соображений дает возможность предполагать, что вся «большая вселенная», как единое космическое тело, простирается еще в десять раз дальше и насчитывает в своем составе примерно столько же галактик, столько звезд в одной галактике, т. е. несколько десятков миллиардов штук¹⁾.

Путь от секстиллионов ведет, таким образом, к септиллионам (10^{24}) километров. А дальше? Дальше, на неведомом расстоянии от нашей «большой вселенной», должны лежать новые, столь же неведомые «большие вселенные», чья определенная комбинация образует новую, высшую структурную единицу космоса — и так далее, без конца.

По этому бесконечному пути познания ведет астрономию диалектический материализм. По какому пути поведет и ведет ныне идеализм — к этому вопросу мы сейчас и перейдем.

¹⁾ Мы оставляем здесь в стороне тот факт, что внутри самой «большой вселенной», по последним (1931 г.) данным Хеббла и Юмэсона, имеет место группировка галактик по несколько десятков и сотен штук в промежуточные структурные образования, так называемые «острова галактик». В качестве сравнения: внутри атомных ядер, состоящих из нейтронов и протонов, тоже имеются промежуточные соединения частиц по несколько вместе — так называемые альфа-частицы и дейтоны.



Характернейшей особенностью переживаемого этапа событий на естественном-научном фронте является тесное сращивание и практическое сотрудничество двух «враждующих» на словах, но помогающих друг другу на деле методологий: механицизма и идеализма. Существенно, в частности, отметить, что на обоих флангах углубления науки внутрь материи — в электронной физике и во внегалактической астрономии — мы имеем дело, по сути, с одним и тем же тактическим приемом. Мы имеем дело с механическим усечением неисчерпаемости и бесконечности материи, с кастрацией физики и астрономии, втискиваемых в прокрустово ложе исчерываемой и якобы уже исчерпанной природы.

В микрофизике электрон объявляется «последней», дальше уже принципиально неразложимой и бесструктурной мельчайшей единицей вещества. Внутреннее строение электрона объявляется непознаваемым, и не потому, что проникнуть физике в эту «внутренность» по каким-либо соображениям практически невозможно, а потому, что самый факт существования частей объема электрона провозглашается утратившим реальную силу. Физическое бытие упреждается за порогом электрона. Объем электрона, равный 10^{-39} кубических сантиметров, объявляется «наименьшим возможным в природе объемом».

В астрономии — следуя такому же ходу мыслей — пространственная протяженность мира ограничивается, как мы увидим ниже, территорией «большой вселенной».

Мир объявляется конечным шароподобным телом, обладающим определенным объемом и соответственным «радиусом». Подобно тому, как на микрофизическом фланге природы «радиус электрона» фиксируется как последний предел дробления материи, подобно этому пределом экспансии в области макрокосмоса устанавливается «радиус мира».

Последствия и целевая установка обеих этих, взаимно дополняющих друг друга, диверсий ясны заранее.

В бесконечном и саморазвивающемся мире нет и не может быть, очевидно, места богу. Удобнее же всего пристроиться боженьке можно лишь около конечной, около ограниченной вселенной.

Как известно уже читателю¹⁾, отталкиваясь от «неразложимого» электрона в микрофизике, Вернеру Гейзенбергу и его школе удалось на самом деле развить систему математических выкладок, в результате которых каждый электрон и вся атомная материя в целом погрузилась в хаос полной беспричинности... «Не оказалось» налицо никаких физических причин для переходов электронов из одного состояния в другое! Что же следовало прямо отсюда? Подлинные материальные причины, влияющие на поведение каждого отдельного электрона в пространстве и во времени, находятся фактически внутри электронов. Поведение электронов детерминировано внутри этих последних. Теперь же, когда «внутренность» электрона была объявлена ликвидированной, когда заведомо «исчезли» тем самым из поля зрения исследования все материальные факторы, на этот электрон воздействующие, тогда единственной «причиной», в ведении которой оставался электрон, «оказался» господь бог...

Но тогда и в астрономии следовало ожидать подобного же казуса. Следовало ожидать, что ограничение размеров мира «радиусом», равным такому-то числу септиллионов километров, с наименьшим успехом должно привести к божественной «причине», регулирующей бытие ограниченной вселенной и звне.

Вот эта производственная программа церковного агитпропа в астрономии и выполнена ныне «на все сто процентов».

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 2, 1933 г. «Вопрос о причинности в современной физике».



Начало событий восходит к 1915 — 1916 гг., к моменту окончательного формирования общей теории относительности Эйнштейна, теории, крупнейшим объективно-материалистическим достижением которой является приведение в связь трех важнейших физических сущностей мира: пространства, времени и массы. Написанные Эйнштейном знаменитые уравнения (так называемые уравнения потенциалов тяготения) установили неразрывную зависимость строения пространства и хода течения времени в каждом данном участке мира от массы, т.е. от количества вещества, сосредоточенного в этом участке. Старая физика не знала ничего об этой зависимости. Старая физика рассматривала пространство и время в отрыве друг от друга и от вещества. Пространство классической физики представляло собою нечто вроде застылой и неизменной, повсюду выкрашенной в одну краску декорации, на фоне которой движутся материальные тела. Время в свою очередь входило в картину мира, как некие, помещенные за кулисами мировой сцены, мистические часы, отбивающие свои удары сразу для всех уголков вселенной. Новая физика должна была покончить с этим положением, ибо пространство и время не суть какие-нибудь самостоятельные и независимые (друг от друга и от вещества) сущности, но являются формами бытия материи. Пространство есть отражение непрерывности вещества. Время есть отражение факта беспрестанного движения, беспрестанного изменения материальных тел. Значит, нет и не может быть никакого единого и однородного «мирового пространства» и столь же единого «мирового времени». Но в зависимости от количественного и качественного изменения материи должны меняться от места к месту: структура пространства и закон течения времени. Еще иначе говоря: раз вселенная являет собою мозаику разнородных материальных тел, то этой мозаике должна соответствовать и

мозаика разнородных «пространств»¹⁾ и разнотекущих «времен». Так и вышло на самом деле.

Уравнения Эйнштейна дали искомый закон изменения структуры пространства и закон изменения хода времени в зависимости от распределения материальных масс. Выведенная из тех же уравнений новая формула для закона всемирного тяготения, более точная, чем прежняя формула Ньютона, получив полное подтверждение на опыте, непосредственно подтвердила и общую правильность сделанного Эйнштейном важного познавательного шага.

Если бы дело ограничилось только этим шагом, работа Эйнштейна безоговорочно вошла бы в историю материалистической физики. Но дело вышло не так. Уже на первой стадии исследования Эйнштейн дал своей теории резкий крен в сторону от объективной реальности. Он предпринял математическую операцию, заведомо искавшую реальный смысл его же собственных уравнений.

Разберем вкратце эту коренную для всего дальнейшего разворота событий проблему.

Внешний вид уравнений, полученных Эйнштейном и давших связь между строением пространства, ходом времени и распределением масс в разных точках мира, вид этих уравнений при ближайшем рассмотрении оказался таков, что входящая сюда величина времени чисто формально могла быть вычеркнута из уравнений и заменена «четвертым измерением»²⁾ пространства. Для этого достаточно было всего лишь одну комбинацию математических знач-

ков (выглядящую для примера так: — c^2t^2) заменить на бумаге другим математическим значком, другой буквой: x_4^2 (буква t означает время, значок x_4 — «четвертую координату» пространства).

О последствиях, к которым приведет эта вполне невинная, казалось бы, манипуляция, — ниже. Сейчас же важно указать лишь на полнейшую фиктивность подобной манипуляции с точки зрения критерия объективной материалистической реальности.

Механическая уравниловка пространства со временем — на самом деле — противозаконна прежде всего потому, что она смазывает различие пространства и времени, как двух качественно особых (хотя и находящихся в связи между собой) форм существования материи. Уравниловку эту пытаются однако затушевать и «обосновать» тем соображением, что, дескать, пространство и время всегда входят в описание физических событий вместе, но никогда порознь, что ни одно событие не происходит в пространстве без того, чтобы не происходить во времени и — наоборот. Отсюда делается окончательный вывод: что пространство само по себе и время само по себе должны потерять право на отдельное существование и быть заменены некоей единой «пространственно-временной непрерывностью» (сокращенно: «раум-цейт»), в которой пространство и время участвуют как четыре равноправные координаты.

На все это следует ответить так, что основной факт взаимосвязи пространства и времени, как форм бытия

¹⁾ Строение пространства определяется, напомним, внешним видом линии кратчайшего расстояния между двумя точками. В привычном (евклидовом) пространстве, с которым мы имеем дело на практике, такой линией является, как известно, прямая. В других же (не-евклидовых) районах мира — это будет кривая разных видов.

²⁾ «Измерениями», или «координатами», пространства называются те числа, которыми определяется положение любой точки по отношению к какой-либо точке, условно выбранной за начало отсчета («начало координат»). Так, например, то реальное пространство, в котором мы живем, имеет три измерения

(«высота», «ширина», и «глубина»), т.е. достаточно задать три числа, чтобы полностью определить положение точки. Что же касается до «пространств» с числом измерений, большим, чем 3, то они являются лишь математическими фикциями (представляющими, впрочем, косвенное отражение реальности в том смысле, что их построение отталкивается от реально существующего трехмерного пространства). Как чисто технический вычислительный прием, введение многомерных пространств иногда приносит определенные практические выводы, но о приписывании им какой-либо конкретной реальности не может, разумеется, идти и речи.

одной и той же материи, бесспорен, но требуется однако не фальсифицировать подлинный характер этой связи. Пространство, как говорилось, есть проявление материи, существенно связанное с самим ее субстратом (пространство есть «снимок» с непрерывности субстрата). Феномен же времени (дления) есть отражение факта непрерывного изменения материи. Пространство и время, следовательно, относятся друг к другу, как сама материя — к ее движению (энергии). Материя так же неотрывна от движения (энергии), как пространство неотрывно от времени. И — значит — «объединять» пространство и время в рамках «единой» непрерывности есть занятие того же порядка, что и «объединение» материи и энергии в единую «субстанцию». Усадить время рядом с пространством под общей математической крышей четырехмерной «непрерывности» — еще иначе говоря — равносильно тому, чтобы «спутать» движение материи с самой материей. Охотников на такую путаницу, как известно, всегда было достаточно и именно потому, что «синтез материи и энергии» на словах может означать, как это вскрыл Ленин, на деле только одно из двух: либо идеалистическую лживую дилляцию материи и сведение ее к голой энергии, т.-е. к голому движению; либо вычеркивание движения материи, т.-е. механистическое замораживание природы, превращаемой в мертвое царство, распростертое без движения и вне времени.

Итак, второй этап общей теории относительности Эйнштейна, при ближайшем его рассмотрении, характеризуется чисто фиктивным математическим построением (подменной единственно реального трехмерного¹⁾ пространства несуществующим пространством четырехмерным).

«Политика дальнего прицела», незримая сокрытая в этом построении, и реа-

¹⁾ Хотя и неевклидоваго в тех или иных своих частях.

лизуется в последующие годы с полным эффектом.

Четырехмерное мировое пространство — так, как оно возникло из переписанных на новый фасон уравнений Эйнштейна, — оказывается прежде всего конечным, замкнутым само в себе (наподобие поверхности шара) пространством. Мир оказывается — в результате соответствующих вычислений — четырехмерным шароподобным телом с «радиусом», равным 10^{23} километрам. «Радиус» этот как раз совпадает с размерами той «большой вселенной», которая вчерне обследована астрономами к сегодняшнему дню. Отсюда и «следует», что, кроме одной, ограниченной «большой вселенной», «ничего в мире нет».

Но самое главное остается впереди...

В 1927 г. на сцене международной космической физики появляется одна из колоритнейших личностей нашей эпохи: Monsieur l'Abbé («господин аббат», как его почтительно именуют бюллетени астрономических институтов Запада), Жорж Леметр, каноник кафедрального собора в Лувэне (Бельгия), занимающий там же университетскую кафедру физических и математических наук.

Достоверно известно, что «производственные планы» этой работы по совместительству разрабатываются и утверждаются ученым комитетом, функционирующим при святейшем престоле в Ватикане. Monsieur l'Abbé выступает не как вольный стрелок в науке. За ним стоит мощный аппарат церкви и государства. Действительно незаурядные математические способности аббата делают его, в глазах поклонников, поистине провиденциальной фигурой XX века. На самом деле: пойти в астрономию и в космическую физику для того, чтобы покорить их под ноги господни, — тут есть чем вдохновиться!

В одной Англии, на протяжении двух только (1932 — 33) лет, по подсчету журнала «Nature», вышло в свет 14 книг во славу отца Леметра, не считая многих десятков журнальных статей, поднимающих на щит его работы. Сам сэр Джемс Джинс, астроном его величества (N. M. Astronomer) и не-

сравненный мастер научно-популярных поэм в прозе, посвятил аббату очередную из таких поэм: «Таинственная вселенная». Роскошное издание джинсовой «Вселенной» распространяется на рождественских базарах (1933 г.) Лондона, Парижа и Берлина как благовидный святочный подарок. Если бы хоть на десятую долю с таким уменьем продвигались в массы достижения наших советских институтов и лабораторий!

Вернемся к Леметру. Принявшись в 1927 г. за уравнения четырехмерного мира, выведенные (см. выше) Эйнштейном из общей теории относительности, и подвергнув их новым, формальным математическим преобразованиям, Леметр (и еще раньше до него покойный ленинградский ученый А. А. Фридман) получает возможность рассматривать входящий в эти уравнения «радиус мира», как переменную величину. И, в частности, как величину, возрастающую со временем.

Раз так, раз «радиус вселенной» непрерывно увеличивается с течением времени, «значит», был момент, когда этот радиус равнялся нулю, объем же мира, соответственно, представлял собою точку, т.-е. не существовал вовсе. Этот первый «тезис» приводит, таким образом, к необходимости сотворения мира богом «из ничего». В дальнейшем на той же базе удастся высчитать и дату первого дня «творения»: около 2 миллиардов лет до рождества христового. В другом варианте вычислений вселенная «стартует» не от нуля, но начинает раздуваться от некоторого определенного постоянного радиуса. В этом последнем случае дело также не может очевидно обойтись без господина бога. Процессу расширения радиуса — на самом деле — не соответствует в уравнениях Леметра никакая физическая, реально учитываемая причина. Начало расширения, «старт» вселенной — опять немислим, следовательно, без божественного «первоначального толчка».

Известная уже нам сущность методологической передержки, скрывающейся в основе этой, с позволения сказать, «теории», настолько шита белыми нитками, что не заслуживала бы особого

внимания со стороны материалистической астрономии. Как подробно было разобрано выше, и четырехмерный «объем мира», и его «радиус», и «расширение» этого радиуса при ближайшем рассмотрении оказываются вычислительными фикциями, которым не соответствует никакая объективная реальность.

Гораздо серьезнее однако вопрос о том конкретном астрономическом материале, на который означенная теория пытается опереться и которым оно небезуспешно спекулирует в течение вот уже 5 с лишним лет. Речь идет о действительно наблюдающемся весьма странном факте: может быть, о наиболее замечательном открытии, когда-либо сделанном в истории астрономической науки.



Мы оставили астрономию на этапе промера расстояний до ряда внегалактических туманностей. Эти промеры были сделаны, напомним, доктором Шэпли (а также Хебблом и Юмсоном) и раздвинули границы видимого мира до 10^{22} километров. Одновременно с измерением расстояний названные ученые стали измерять и скорости, и направления движения галактик в пространстве. Оказалось, что все без исключения галактики удаляются, если смотреть с земли, в разные стороны по радиусам зрения, причем скорости удаления возрастают пропорционально продвижению от центра к периферии мира.

«Большая вселенная» действительно расширяется.

Явление происходит и впрямь по внешности так, как если бы двигались не сами туманности, а раздувалось мировое пространство, неся с собою галактики. Так наблюдателю, находящемуся внутри раздувающегося резинового мяча (с прозрачной оболочкой), показалось бы, что мухи, сидящие неподвижно в разных местах оболочки, удаляются друг от друга и от центра мяча, двигаясь по радиусам последнего.

Как если бы... От этого «если бы» и танцует с 1927 г. теория господина аббата, создавая полное впечатление, что легенда о существовании «радиуса мира» и о его «расширении» подтверждается конкретными астрономическими фактами.

Этой подрывной работе поповской агентуры внутри космологии и кладет в настоящее время предел советская астрономия.

3. Ленинград против Ватикана

Тонкая цепь методологических фальсификаций и подлогов, сплетенная идеологической реакцией вокруг загадки «расширяющейся вселенной», получает первый отпор там, где его и следовало ожидать. Вызов, брошенный воинствующим мракобесием, принимает молодое поколение советской науки. Два фронта, два мира стоят друг против друга, — классовая борьба кипит сейчас в галактической астрономии.

14 января 1932 г. на страницах главного органа европейской астрофизики «Zeitschrift für Astrophysik» появляется первая работа, «осмеливающаяся» (к негодованию некоторых читателей этого журнала) объяснять «расширение вселенной» и иначе, чем это делает поп Леметр.

Автор работы М. С. Эйгенсон, — молодой аспирант Академии наук СССР, теперь доцент ЛГУ. Работа эта кладет начало серии последующих замечательных исследований, в результате которых ленинградскому ученому удастся не только охватить в одной стройной концепции структуру роя галактик, но и найти возможное решение исторической загадки расползания роя.

В соответствии с реальной, диалектико-материалистической картиной мира теория т. Эйгенсона рассматривает бесконечное мировое пространство и в нем — законченный, состоящий из нескольких миллиардов галактик, остров: «большую вселенную». Вне этого острова может (и должно) существовать еще бесчисленное множество других островов. Последние находятся однако на столь

крупных расстояниях, что можно практически считать наш остров уединенным в «пустоте»¹⁾.

«Большая вселенная», еще иначе говоря, берется как единое и целостное космическое тело.

И подобно тому как солнечная система, взятая в целом, имеет свое самостоятельное движение в пространстве, подобно тому как федерация из 30 миллиардов солнц, называемая Млечным путем, также вращается и перемещается поступательно, — подобно этому, устанавливает М. С. Эйгенсон, и рой галактик: «большая вселенная» вращается, как единое целое.

Советский ученый намечает здесь, таким образом, итоговую черту целой главе материалистической астрономии: ранее бесформенная картина роя галактик оказывается расшифрованной, как новая, высшая (после солнечной системы и Млечного пути) структурная единица беспредельного космоса.

Что можно сказать однако по поводу размеров этого роя? Является ли неизменной территория, занимаемая «большой вселенной»?

В этом узлом пункте т. Эйгенсон и делает свой решающий шаг вперед.

Объем, занимаемый роем галактик, — констатирует ученый, — был бы постоянен в том, и только в том, случае, если сами галактики представляли бы собою нечто совершенно неизменное и, с другой стороны, если бы галактики находились в состоянии полной изоляции и отсутствия связей между собой.

Материалистическая диалектика природы, учащая рассматривать мир в изменении и во всеобщей связи всех вещей, заранее отвергает такую возможность.

Начнем с того, что все галактики, входящие в состав «большой вселенной», взаимодействуют силами тяготения.

Каждая галактика, далее, состоит из звезд. Звезды же беспрестанно ис-

¹⁾ Пустота понимается, как ясно, в смысле оголенности от очагов звездной материи, но не материи (эфира) вообще.

пускают в пространство энергию, а вместе с энергией и соответствующие порции своего вещества. Вещество выбрасывается с поверхности звезд как в виде частиц света (фотонов), так и частиц, образующих так называемые космические лучи. Количество вещества, т.-е. масса звезд, составляющих галактики, а следовательно, и масса самих галактик, в итоге безостановочно убывает. Галактики тают, как ледяные айсберги в теплом океане. Их вещество распыляется, разлетается в виде лучей всех сортов. В других районах безбрежного космического океана, далеко от острова нашей «большой вселенной», корпускулы опять должны медленно собираться в звезды, звезды — в галактики, галактики — в рои галактик, и так — вечным круговоротом — без конца...

Но что должно происходить с одной нашей «большой вселенной» в результате «таяния» входящих в ее состав галактик.

Силы тяготения, взаимодействующие между телами, как известно, пропорциональны их массам. Массы же галактик непрерывно уменьшаются. Значит, должен непрерывно слабнуть и эффект притяжения между галактиками. Если ослаблять обручи, стягивающие туго набитую бочку, она начинает раздаваться. «Большая вселенная» есть «бочка», набитая галактиками и стянутая обручами сил тяготения. По мере уменьшения этих сил (сил сцепления между галактиками) галактики должны расходиться друг от друга и от центра «бочки». Другое сравнение: если раскупорить на открытом месте банку с газом, куча беспорядочно движущихся газовых молекул, не стесняемая более стенками, начнет разлетаться во все стороны: газ станет расширяться. То же самое произойдет, если нет никаких «стенок», но силы сцепления между «молекулами» прогрессивно убывают.

«Расширение вселенной», с этой точки зрения, есть не что иное, как хорошо знакомое физикам расширение газоподобного облачка материи. Нет нужды,

что каждая «частица» «газа» здесь — величиной с Млечный путь.

Скорости расхождения галактик, — как показывает дальнейший математический расчет М. Эйгенсона, — должны возрастать по мере их удаления от центра роя. Это легко понять. В самом деле: чем дальше находится галактика от центральной зоны «большой вселенной», тем слабее, с самого начала, сцепление, связывающее ее со всем остальным роем. Ведь всемирное тяготение пропорционально массе притягивающих тел и, кроме того, оно быстро убывает с расстоянием. Так что, когда галактика находится в центральной зоне роя, когда она погружена тем самым в гущу других галактик, тогда на нее действует на более близком расстоянии большая совокупная масса, чем когда она (галактика) расположена на периферии.

Значит, периферические галактики, по мере «таяния» их массы, должны отходить друг от друга с большей скоростью, чем центральные. Как показал в частности т. Эйгенсон, скорости расхождения галактик должны возрастать в точной пропорции по мере их удаления от центра роя. Наша галактика, т.-е. та система звезд, сочленами которой являются солнце и земля — по счастливой случайности — находятся (как это известно уже давно астрономам) как раз в центральной зоне «большой вселенной». Благодаря именно этому обстоятельству человечество и имеет возможность наблюдать спектакль расхождения галактик, — спектакль, открытый в 1927 г. доктором Хабблом и получающий теперь теоретическое объяснение со стороны советской науки...

Таков был первый шаг ленинградского ученого.

За этим шагом, после ряда промежуточных набросков, за последние дни последовал новый, решающий успех. Развивая свой математический анализ, т. Эйгенсон вычисляет так называемый «коэффициент экспансии», т.-е. число, показывающее, во сколько раз должна (теоретически) нарастать скорость галактик при удалении их на единицу

расстояния от земной поверхности. Остается сравнить этот результат с данными опыта.

Вычисленный теоретически М. С. Эйгенсоном коэффициент оказывается равен (в условных единицах) 2. Соответствующее же число, фактически получаемое из сравнения реальных скоростей галактик, есть 1,8. Наилучшее, блестящее совпадение!

После получения этой цифры (только-что опубликованной в «Циркуляре астрономической обсерватории ЛГУ»), теория советского астронома может считаться значительно укрепившейся, а поповская спекуляция Леметра — все более теряющей свою последнюю конкретно-астрономическую зацепку.

Победа достигнута.

Знамя воинствующего материализма, знамя советской науки реет над астрономией, — над той областью материалистического естествознания, в которой, повторяем, кровно заинтересована революционная теория и практика рабочего класса.

Эта победа — не единственная.

4. Разгадка „новой“

Один из ведущих советских астрономов, 28-летний профессор Пулковской обсерватории В. А. Амбарцумян, находится сейчас на пути к решению многовековой небесной проблемы, неожиданно приобретающей определенный социально-политический интерес.

Речь пойдет о так называемых «новых» звездах, звездах, внезапно вспыхивающих, время от времени, на небе, нарушая привычный распорядок созвездий, и исчезающих столь же неожиданно, спустя немного месяцев и лет.

Это зрелище казалось первым астрономам чем-то мистическим и необыкновенным...

Грек Гиппарх, наблюдавший в 131 году до хр. эры вспышку «новой» в созвездии Скорпиона, спешает принести умиловляющую гекатомбу богам.

В 393 г. хр. э. вавилонский звездочет Бен Мохамед Альбумазар подробно

описывает (в хранящейся в Британском музее клинописи) религиозные церемонии, совершенные по случаю обнаружения новой звезды в созвездии Овна. Китайские летописи еще раньше открытия Гиппарха отмечают несколько подобных же находок (в 173 и 123 гг. до хр. эры).

Дальнейшие исторические сведения о появлении «новых» относятся к 1011, 1203 и 1245 гг. нашей эры. Наконец, в 1572 г. человечество делается свидетелем замечательного космического спектакля, вошедшего в историю под названием «звезды Тихо де-Браге»¹⁾.

Вот как описывает датский ученый свое открытие (цитируем по «Космосу» Гумбольдта):

«...Держа путь из Германии в Данию, я остановился поздней осенью 1572 г. в замке Геррицвальд у моего дяди Стефана Билля и каждый день проводил в моей лаборатории, засиживаясь до поздней ночи. Однажды вечером, 11 ноября 1572 г., выйдя на улицу и взглянув по привычке на небесный свод, созвездия которого мне так же хорошо знакомы, как узор моей охотничьей сумки, я остановился в изумлении. Прямо над моей головой, в созвездии Кассиопеи, сияла новая звезда, никаких следов которой не было еще вчера. Боясь, не сделался ли я жертвой галлюцинации, я поспешно бросился к прохожим и начал спрашивать их, видят ли они «звезду в том самом месте, где ее вижу я»...

Яркость «новой» Тихо была необычайна. Венера (самый яркий объект на небе после луны) казалась, по сравнению с нею, бледной звездой. Никогда ни до, ни после 1572 г. не вспыхивало более яркой «новой». Народ сбегался смотреть на странное светило. Ползли слухи о «небесном знамении» и «конце света». Каноник Альберт Бем из Бромберга опубликовал трактат, в котором значилось, что новая звезда есть доказательство того, что творческий акт божества не закончился шестым днем, но благополучно

¹⁾ Знаменитый датский астроном, родоначальник научной астрономии.

совершается доднесь. Так продолжалось почти 2 года, пока «в мае 1574 г. звезда не исчезла навсегда...»

Изобретение телескопа и применение сверхмощных американских инструментов, сооруженных в начале XX века, постепенно лишили «новые» ореола редкости и исключительности. Появление их становится все более ординарным и частым событием.

Нужно вспомнить, что телескопия увеличивает число видимых звезд с 7.000 до многих сот миллионов. В такой же пропорции следует ожидать и увеличения числа открываемых «новых». То, что для невооруженного глаза является редкостью, то не может быть редким для телескопа. Так и оказалось.

В настоящее время каждый год открывается не менее одной «новой» в пределах только нашей галактики. В других галактиках, т.-е. в тех заброшенных на чудовищные расстояния скоплениях звезд, которые еще недавно представлялись едва заметными каплями неизвестного тумана, в этих галактиках астрономы понемногу научаются также замечать вспышки новых звезд. В одной из ближайших к нам внегалактических систем: в туманности Андромеды, замечены в последние месяцы 22 «новые». В остальных галактиках — 8.

Но вот эта обыденность и эта привычность феномена «новой» и таит в себе очевидно необыкновенные последствия, гораздо более серьезные, чем те наивные страхи, которым предавался древний наблюдатель, смущенный появлением светила на еще вчера «пустом» месте неба.

Частота вспышек «новых» разбивает прежде всего первоначальную гипотезу, объяснявшую появление «новой» столкновением двух звезд в мировом пространстве. При таком столкновении должно было бы конечно выделиться громадное количество тепла; обе звезды вспыхнули бы, как факел. На страницах этого «Обозрения» уже говорилось, однако, что взаимные расстояния между звездами в каждой галактике настолько огромны, а скорости их пе-

ремещения настолько (сравнительно с расстоянием) малы, что вероятность столкновений сводится к ничтожнейшей величине. Тем менее возможно повторение таких событий раз в год.

Что же остается тогда? Если «новые» не представляют собою результат столкновения и если они не «сотворены», разумеется, «из ничего», тогда их вспышка есть очевидно следствие в незапного разогрева слабо светящейся звезды под влиянием какого-то внутреннего, бурно возникающего взрыва.

Но раз так и раз вспышки «новых» есть явление в высшей степени частое в семье звезд, тогда не становится ли весьма правдоподобным, что каждая звезда в течение своей эволюции рано или поздно делается «новой». Каждая звезда, может быть, хотя бы раз переживает внутренний взрыв, подобный тому, который имеет место в феномене «новой». Для каждой звезды стадия «новой» не является ли столь же обязательным событием, как, скажем, детская болезнь: корь или ветряная оспа в жизни человека?!

Но солнце есть одна из звезд и в частности звезда, принадлежащая к разряду так называемых «желтых карликов». Нужно напомнить: всякая звезда проходит в течение своей (длящейся, в среднем, около десяти триллионов лет) эволюции следующие основные стадии. Сначала, в самом раннем возрасте, это — постепенно сгущающееся (из первичной газовой туманности) и столь же постепенно нагревающееся¹⁾ облако гигантских размеров. Объем этих облаков в миллионы раз больше солнца. Они еще холодны. Они едва дошли до «красного каления». Их свет, по преимуществу, красный. Это — «красные гиганты» (пример: звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона). Затем, разогревшись до наибольшей яркости и сжавшись при этом до объема, в среднем немногим большего солнечного, звезда начинает обратный

¹⁾ Нагревание происходит за счет сжатия. Так нагревается и плавится снежный ком, если его давить руками.

процесс остывания. Ее окраска пробегает обратную цветовую гамму. Сперва в лучах еще преобладают фиолетовые, потом, по мере охлаждения, желтые, наконец — красные цвета. Объем уменьшается все дальше (теперь уже по причине охлаждения). Из «красного гиганта» звезда становится последовательно «фиолетовым карликом», потом карликом желтым и в заключение красным. Ее масса неуклонно уменьшается при этом, и именно потому, что частицы испускаемого света уносят с собою звездное вещество и массу...

Итак, солнце — рядовая звезда, и немедленно возникает волнующий вопрос: не предстоит ли и солнцу «переболеть», т.е. испытать внезапный взрыв и превращение в «новую»?

Но, может-быть, это событие уже однажды имело место? Если бы это было так, тогда следы катаклизма неминуемо запечатлелись бы на земной поверхности.

На самом деле: наблюдение «новых» показывает, что в кульминационный момент взрыва их яркость не меньше чем в 10.000 раз превышает яркость солнца (при расчете на одно и то же расстояние).

Значит, поверхность солнца должна внезапно заблистать в десять тысяч раз ярче, чем она блистает сейчас, в момент превращения в «новую». Под этим огненным дыханием не только испепелится жизнь на земле, но и расплавятся гранитные скалы. След катаклизма, говорим мы, должен неизбежно остаться и в разрезе геологических пластов, и в последовательности ископаемых остатков жизни.

Еще Кювье, как известно, искал (по другим соображениям) следы катаклизма в палеонтологической и геологической истории планеты. Его поиски не увенчались успехом... И можно ручаться, что в течение того миллиарда лет, который прослежен в истории земли геологами, солнце наверняка не превращалось в «новую».

Но если не превращалось до сих пор, то, значит, превратится в будущем.

Нельзя отрицать, что подобные размышления представляются весьма мало способствующими оптимистическому мироощущению... Достаточно досадное обстоятельство заключается, далее, в том, что «конец света» в его только-что изложенном варианте обладает неприятным свойством некоторой... неожиданности. Вспышки «новых», мы видели, наступают вполне внезапно, и до сих пор звездная астрономия не имеет ни малейшего представления о том, как можно было бы заблаговременно предсказывать возникновение «новой».

И этот «конец» отнюдь не обязательно отодвигается, — как это хотелось бы, — в миллиарды и триллионы лет. Отнюдь нет. Солнце есть «желтый карлик» (см. выше), и отсюда следует, что оно уже находится на склоне своих лет. Учет ежегодной убыли солнечной массы показывает, что солнце просуществовало не меньше шести триллионов лет, войдя тем самым во вторую половину жизни. И тот факт, что оно просуществовало так долго, избежав роковой трансформации, не указывает ли прямо на то, что шансы на скорое наступление прискорбного события неуклонно повышаются с каждым новым веком и десятилетием. Укладываясь вечером спать, не следует ли и впрямь готовиться к тому, что, вместо пробуждения, утро принесет с собою «новое» солнце, нестерпимо сияющее над выжженной земной пустыней?

Подобные рассуждения, повторяем, весьма мало predisполагают к энтузиазму. Вернее было бы сказать, что рассуждения эти как нельзя лучше гармонируют с той «философией» пессимизма, которая, как известно, начинает усиленно котироваться на идеологическом рынке буржуа всякий раз, когда дела на бирже идут плохо. И заранее ясно, что на пятом году кризиса проблема «новой» вызывает особо унылые философические размышления, умело подогреваемые во вполне определенном социальном - апитационном направлении. «Стоит ли на самом деле бороться за какие-то «земные» идеалы, стоит ли думать о «каком-то» социализме, когда не-

сегодня — завтра солнце превратится в «новую»?

Одна из многочисленных статей на эту тему в ноябрьском (1933) номере парижского «Revue Scientifique», если не дает строго такую формулировку, то во всяком случае подводит читателя к ней вплотную.

Весьма примечательная ситуация.

По поводу нее можно было во всяком случае сразу сказать, что до тех пор, пока остается совершенно неизвестным строение «новых» звезд, пока остаются неразгаданными причины и механизм их образования, до этих пор какие бы то ни было спекуляции, производимые на шаткой базе одной лишь голой статистики «новых», являются занятием не только поспешным и бесплодным, но и не выдерживающим никакой научной критики.

Усилиями советской астрономии загадка «новой» начинает понемногу распутываться в настоящий момент.

Работы В. А. Амбарцумяна стоят в центре внимания международной науки. Работы эти далеко еще не закончены, но одно, что можно уже сейчас с уверенностью сказать, это то, что в свете этих работ сгустившийся пессимистический туман оказывается рассеянным полностью и без остатка!



Нужно было прежде всего постараться узнать, что именно происходит со звездой в момент чудовищной вспышки? Что происходит внутри и на поверхности «новой»? В чем причина катаклизма и каковы должны быть те предпосылки, без которых невозможно превращение любой звезды в «новую»?

Спектроскоп должен был дать опорный материал для ответа. Материал получен. Мы читаем прежде всего на спектрограммах¹⁾, что в самом начале и вплоть до разгара вспышки оболочка «новой» представляет удивительную картину...

Оболочка эта расширяется, звездные атомы разлетаются во все стороны по радиусам, как осколки лопнувшего снаряда, разлетаются с огромной скоростью, достигающей до 1.500 км. в секунду. Звезда пухнет. В кратчайший срок (от начала процесса до максимума яркости) звезда увеличивает свой поперечник в 10—50, иногда в 100 раз.

Между тем температура ее поверхности продолжает оставаться почти неизменной. Отсюда сразу ясно, что весь световой эффект «новой», весь эффект внезапного усиления яркости ранее слабой звезды обязан увеличению ее поверхности и только этому увеличению. Звезда начинает светить ярче не потому, что она делается горячее, а потому, что больше. Так — в качестве сравнения — фасад здания, в котором освещено только одно окно, посылает ночью в тысячу раз меньше света, чем тот же дом с тысячами освещенных окон. Поверхности излучения разная, хотя сила света, посылаемая каждой единицей поверхности (каждым окном), осталась той же.

... Звезда пухнет. Но в этом распухании, оказывается, принимают участие только верхние ее слои. Сердцевина не принимает участия во взрыве. Если бы взрывалась и эта сердцевина, тогда через короткое время все вещество звезды, все наличные атомы разлетелись бы в мировом пространстве, и от звезды осталось бы «пустое место»... А этого никогда не бывает. Достигнув максимума яркости, «новая», правда, начинает быстро потухать, но, как показывает наблюдение, спустя немного лет потухание прекращается. Звезда стабилизуется. Остов бывшей «новой» продолжает существовать. Ни одна «новая» не пропадает после взрыва бесследно. Уже после того, как она окончательно скрывается для невооруженного глаза, телескоп и фотографическая пластинка неизменно запечатлевают ее остатки. Так найдена сейчас в виде ничтожнейшей звездочки 15-й величины знаменитая «новая» Тихо де Браге, спустя 350 лет после ее ослепительного явления.

¹⁾ Т.-е. на фотографиях спектров «новых» звезд, полученных с помощью спектроскопа, пристроенного к окулярному концу трубы.

Итак, только оболочка звезды, поднятая волною взрыва, отлетает прочь, и после того, как она окончательно улетила, поперечник «новой» уменьшается сразу в сотни раз. Звезда тускнеет и скрывается для простого глаза.

Атомы оторвавшейся оболочки либо удаляются навсегда, рассеиваясь в мировом пространстве, либо, удерживаемые силами тяготения, должны образовывать вокруг оставленной ими звезды нечто вроде разреженного туманного облака.

Пристально взглядываясь в остатки прежних «новых», астрономы действительно обнаруживают сейчас вокруг них слабо светящиеся облака газовых туманностей. Так держатся в воздухе облачка газов после разорвавшегося артиллерийского снаряда... Но внутри снарядного облака нет твердой сердцевины. Весь снаряд превратился в пыль, пары и осколки. Внутри же туманности, обнаруживаемой на месте взрыва «новых», всегда сидит, как в конце, звезда — уцелевший остов «новой».

Как же выглядит в спектроскопе этот остов?

Еще более странная, многоговорящая картина... Температура поверхности остатка «новой» колоссально велика. Она достигает уже не тысяч, как раньше, а сотен тысяч градусов Цельсия. Между тем яркость остатка ничтожна. Сравнивая эту яркость со свечением звезды до взрыва¹⁾, видно, что конечный продукт «новой» никогда не светит ярче исходной звезды.

Что отсюда следует? Раз температура остатка чрезвычайно высока, значит, единица звездной поверхности испускает теперь в сотни раз больше света. Но, с другой стороны, если общая яркость светила в итоге все-таки не

увеличивается, тогда остается только один вывод. Значит, поверхность звезды после взрыва уменьшилась.

Но это мы уже предвидели раньше. Раз оболочка «новой» улетила, поднятая волной взрыва, тогда осталась одна сердцевина. И эта сердцевина вдобавок должна еще дополнительно сжаться, так как отдача взрыва гонит атомы звездного ядра в обратном (по сравнению с движением оболочки) направлении. Так, приклад винтовки в момент выстрела отдаст в сторону, противоположную той, в которую летит пуля. Сжимаясь же, остов звезды нагревается. Все ясно.

Но вот замечательное открытие, неожиданно ставящее с головы на ноги всю проблему...

Преодолевая трудности математического анализа, В. А. Амбарцумян у удается теоретически подсчитать: какая доля первоначальной массы звезды выбрасывается прочь в процессе взрыва «новой»? И как меняется радиус звезды до и после взрыва? Вот результат. Расширяющаяся оболочка «новой», покидая звезду, уносит с собою лишь одну сотысячную ее первоначальной массы. Радиус же уменьшается при этом от 2 до 10 раз.

Удивительное зрелище. Получается (даже после учета добавочного сжатия звездного ядра), что не менее чем 90 проц. массы будущей новой звезды сосредоточено до начала взрыва в ее внутренней, отстоящей на полрадиуса от центра, зоне. Превращаясь в «новую», звезда оказывается похожей на «плод» с тяжелой «косточкой» и с разреженной «мякотью», содержащей едва одну десятую общей массы.

Но такое положение вещей, как хорошо известно астрономам, наверняка не имеет места у обычных звезд регулярного типа: его нет ни у «красных гигантов», ни у фиолетовых карликов, ни у карликов желтых и красных. Такое строение не присуще и нашему солнцу.

¹⁾ Чтобы получить представление о свете, испускавшемся звездой до того, как она превратилась в «новую», т. е. еще в те времена, когда на эту звезду никто не обращал внимания, приходится сейчас перерывать старые альбомы фотографических снимков, снятых с соответствующих участков неба. В архивах обсерваторий хранятся такие альбомы. В них и разыскиваются звезды — предшественницы «новых».

Факт величайшей важности, вытекающий из открытия В. А. Амбарцумяна, заключается, таким образом, в том, что возможность внезапного взрыва и превращения в «новую» оказывается в целом не всех без исключения звезд, но является достоянием лишь чрезвычайно ограниченного разряда «особых» звезд, к которым заведомо не принадлежит солнце.

О самом существовании этих особых, «взрывчатых» звезд-«уродов» мы узнаем, пока лишь *post factum*, после их превращения в «новые». Наиболее бросающимся в глаза их отличием является, как сказано, концентрация 90 проц. звездной массы в пределах внутреннего полурадуса. Все усилия астрономов направляются сейчас к тому, чтобы разискать среди многомиллиардного коллектива звезд, составляющих нашу и другие галактики, хотя бы несколько экземпляров подобного типа и вслед за тем ожидать превращения их в «новые». Такая находка была бы прямым и непосредственным подтверждением выводов В. А. Амбарцумяна, полученных на основании косвенных данных.

Но, еще не дожидаясь этой находки, новые факты подводят надежный фундамент под открытие с другой и не менее важной стороны...



Как быть со статистикой? Статистические данные о вспышках «новых», как говорилось уже, показывают, что вспышки эти происходят настолько часто (раз в год в нашей галактике и около 30 раз в год — в соседней галактике Андромеды), что превращение звезд в «новые» не может, на первый взгляд, быть событием, присущим ограниченной звездной группе.

Так ли это на самом деле?

Да, «новые» вспыхивают на небе часто и даже очень часто, но весь гвоздь вопроса неожиданно оказывается в том, что они вспыхивают слишком часто для того, чтобы представлять собою регулярное явление в эволюции всех звезд.

Подсчет показывает, что для обеспечения той частоты вспышек, которая фактически наблюдается на небосводе, каждая звезда, входящая в состав нашей галактики, должна была бы периодически превращаться в «новую» через каждые 150 миллионов лет. Так получается при равномерном развертывании «взрывной» нагрузки между всеми нормальными звездами. Между тем одна из этих звезд, а именно наше солнце, во всяком случае в течение последнего миллиарда лет, не превращалось в «новую».

Этот факт прямо подтверждает то, что образование «новых» не есть общее свойство звездного мира, но представляет привилегию тех «особых», редко встречающихся звезд-«уродов», о которых говорилось выше.

Но тогда немедленно возникает следующий вопрос.

Поскольку «новые» вспыхивают очень часто, а сырой материал для их возникновения встречается очень редко, тогда каждая «особая» звезда должна вспыхивать по очень многу раз в течение своей жизни. Следует, другими словами, ожидать находки на небе таких звезд-монстров, которые, только-что взорвавшись и только-что миновав стадию «новой», едва успевают оправиться и просуществовать на «мирном» положении несколько десятков лет, как снова взрываются, снова превращаются в «новые», и так далее, в том же странном стиле...

Этот необходимо вытекающий из работ А. В. Амбарцумяна вывод можно было бы попытаться проверить путем непосредственного наблюдения.

Замечательное открытие, сделанное в августе 1933 года американским астрономом Альфредом Пельтайр (из обсерватории в гор. Дельфах, штат Огайо) дает искомую проверку.

25 августа 1933 года Пельтайр замечает на небе (в районе созвездия Змееносца) новую звезду 3-й величины. Отнесясь довольно равнодушно к заурядному своему открытию, американский астроном все же считает нужным (как это делается теперь всегда. См.

выше) сличить местоположение звезды с архивными фотографическими альбомами данного участка неба. Тут его ждет находка.

Звезда, обнаруженная 25 августа 1933 года, оказывается, один уже раз была зарегистрирована как «новая». До 1892 года она вообще не была известна астрономам. В октябре 1892 года она вспыхнула новой звездой 4-й величины и, проделав обычную эволюцию, потухла к 1893 году, превратившись в слабую звездочку 14-й величины.

25 августа 1933 года — спустя 41 год — состоялся ее вторичный дебют в качестве «новой»...

Возможность чрезвычайно частых повторений вспышек типа «новой» у одной и той же звезды является в итоге экспериментально доказанным фактом.

«Опасность», якобы нависшая над солнцем и над землей, с наименьшей ясностью оказывается существующей

лишь в воображении квалифицированных «пессимистов» из реакционного лагеря.

Это не означает впрочем, что все детали загадки «новых» уже находятся целиком в распоряжении материалистической астрономии. Работы т. Амбарцумяна вносят сюда лишь первую струю света. Остается еще неясным многое, например внутренняя причина того первоначального взрыва, который нарушает равновесие звезды-«урода», подбрасывая «вверх» ее оболочку со скоростью 1.500 км./сек.

Так же непонятна пока и сама возможность существования столь странно устроенных небесных тел и те причины, которые привели к их образованию в ряду прочих нормальных звезд галактики.

Все эти вопросы ждут своего решения. Но первые страницы новой увлекательнейшей главы диалектики космоса уже открыты нашим ученым.

Литература и искусство

1. П. РОЖКОВ — Эдуард Багрицкий. 2. Мариэтта ШАГИНЯН — Беседы с начинающим автором. 3. А. ЭФРОС — Мартирос Сарьян.

1. ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

П. Рожков

В лице Багрицкого от нас ушел наиболее яркий представитель революционной романтики в советской литературе. И именно потому, что Багрицкий был ярким представителем революционной романтики, судьба его поэзии неразрывно связана с судьбой романтики в советской литературе вообще.

Путь Багрицкого своеобразен и противоречив. Когда произошел Октябрьский переворот, то поэтические представители разных классов и различных социальных групп поспешили так или иначе определить свои позиции, — поспешили выразить свое отношение к победившей пролетарской революции. Одни, как Гиппиус, отнеслись враждебно к диктатуре пролетариата и постарались вскоре эмигрировать за границу. Другие, как кающийся дворянин Блок, с «самозабвением восторга», с громкими трубными звуками по-своему, символически и мессианистически, «прияли Октябрь и не постеснялись «пальнуть пуль в святую Русь». Третьи, вроде Герасимова и Кириллова, об'явив себя представителями пролетариата, но будучи людьми далекими от марксизма, начали с превознесения Октября в абстрактной железо-бетонной поэзии и кончили потерей революционных перспектив. Наконец, четвертые, вроде Клюева и Клычкова, поняли девятьсот семнадца-

тый год, как «шеничного солнца восход», то-есть восприняли Октябрьский переворот как буржуазно-демократическую революцию, как начало мужицкого царства, и стали на путь поэтизации сермяжной и лапотной деревни, на путь противопоставления кулацкой деревни пролетарскому городу.

Так или иначе, в поэтическом лагере происходило брожение умов, совершался процесс самоопределения. Что же делает в это бурное время Багрицкий? Он был еще юношей. Он не принадлежал к старым школам поэзии. Он по-настоящему только начинал входить в литературу. И вот в эту пору своей поэтической юности Багрицкий даже не ставит перед собой проблему политического самоопределения. Он вместе со своим романтическим героем — птицеловом Диделем — беззаботно гуляет по полям поэтической фантазии, — по Тюрингии дубовой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной. О чем же думает Дидель-Багрицкий, и чего он хочет? Он ни о чем не думает и ничего не хочет. Он — вольный странник с котомкой за плечами, который просто «свищет птицам и смеется невзначай». Эта философия беззаботного смеха и вольного бродяжничества находит свое наиболее полное выражение в стихотворении «Тиль Уленшпигель». Багрицкий хотел бы так

же, как романтический герой Де-Костера, шататься по улицам Антверпена, он хотел бы весенним утром входить в раскрытые настежь кухонные двери, «вдыхать веселый чад, плывущий из корчмы, и сочинять, невнятно напевая, слова еще не выдуманной песни».

Когда ж усталость овладеет мной,
И я засну крепчайшим смертным сном,—
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый, ясеневый посох —
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший».

Итак, поэзия Багрицкого раннего периода носит абстрактный характер. Рисуя образ птицелова Диделя, Багрицкий не стремится выразить ясную политическую тенденцию, направленную к революционной переделке мира. Обращаясь к классическим образцам мировой литературы, Багрицкий, по существу, плохо разбирается в этих образцах. Ведь Тиль Уленшпигель у Де-Костера — это не только бродяга и весельчак. Это прежде всего — представитель гёзов, то-есть вождь плебейско-крестьянского восстания в нидерландской революции XVI века. Подлинный Тиль Уленшпигель проникнут ненавистью к угнетателям, в его сердце «стучит пепел» сожженных на кострах испанской инквизиции. Всего этого Багрицкий не заметил в герое Де-Костера. Он увидел в Уленшпигеле только веселого и беззаботного бродягу, то-есть второстепенное, а не существенное. Следует ли отсюда, что в творчестве Багрицкого раннего периода нет никаких революционных элементов? Нет, такой вывод был бы ошибочным. Во-первых, надо учесть, что Багрицкий шел в литературу из мелкобуржуазной еврейской среды, и мотив бездомного бродяжничества был своеобразной формой протеста против этой среды, против веками установившихся реакционных традиций. Во-вторых, заслуживает внимание то, что Багрицкий обратил свои влюбленные взоры именно к «Тилу Уленшпигелю» — к революционному произведению Де-Костера. И наконец, в-третьих, если вспомнить о том, что в

это время пролетарские поэты (сбитые с толку «лево»-революционной по форме и мелкобуржуазной по существу философией богдановского Пролеткульта) призывали к разрушению музеев и сожжению Рафаэлей, то-есть становились на путь отрицания старой культуры, а следовательно, и литературного наследства, то станет понятным, что самый факт обращения Багрицкого к классикам мировой литературы имел по сути дела относительно революционное значение.

Слишком жизнерадостное сердце и необыкновенно пылкий ум имел Багрицкий, чтобы не понять духа времени и не самоопределился. И Багрицкий понял и самоопределился. Когда советская власть оказалась в огненном кольце белогвардейских восстаний и интервенций, Багрицкий с оружием в руках пошел в ряды Красной армии, чтобы защищать в бою рабоче-крестьянскую республику. Он ведет политическую работу в рядах Первой конной армии. Он отправляется с агитпоездом на западный фронт, на борьбу против белополяков. В особом отряде ВЦИК, затем в рядах отдельной стрелковой бригады 14-й армии Багрицкий отстаивает кочегарку революции — Донбасс и пишет пламенные воззвания к рабочим, крестьянам и солдатам бывшей царской армии. «Наш главный угольный центр, — писал Багрицкий, — в руках бандитов. Донецкий бассейн заняли скопища Деникина. Всякий, кто может носить оружие, пусть берет винтовку и идет с нами на фронт. Колебаний быть не может. Кто не с нами — тот против нас».

Нельзя забывать эти огненные строки при оценке дальнейшего пути поэта. Подобно многим писателям, Багрицкий пережил тяжелый кризис при переходе от гражданской войны к мирному строительству в условиях нэпа. В 1922 году поэту кажется, что «месяцы ушли во мглу», что с каждым днем невнятнее «травой восходит тишина», что наступили серые и тоскливые будни, что вся героика революции позади, — там, на полях битв, вокруг Баку, Ростова, Елисаветграда. Ему все еще чудится колес и

кухонь гул чугунный, вагоны, ветер полевой. Все это в прошлом. А сейчас? Сейчас «страна распахнута другая, страна иная предо мной» («Голуби»).

Багрицкий снова обращается к классическим образцам мировой литературы — к Томасу Гуду, к Бёрнсу, к Вальтеру-Скотту. В «Песне о рубашке» (подражание Томасу Гуду) сквозит пессимизм. Но уже в следующих двух стихотворениях («Джон—ячменное зерно» и «Разбойник») звучат несколько иные мотивы. К поэту возвращается абстрактный оптимизм периода Диделя и Уленшпигеля. В истории ячменного зерна он олицетворяет бессмертный круговорот и торжество жизни. Он скачет на борзом коне фантазии по брэнгельским рощам романтики Вальтер-Скотта. Из волшебного замка ему навстречу выходит красавица. Она поочередно принимает его то за охотника, то за графа, то за драгуна... Нет, он не граф и не драгун, он — кавалерист эпохи. Он представитель стихийной силы, испепеляющей старые замки и сметающей со своего пути всяких графов и баронов. Его песня звучит угрозой: придет время, и запылает пожар в брэнгельских рощах, воспетых Вальтер-Скоттом.

И графство задрожит, когда,
Лесной взметает прах,
Из лесу вылетит беда
На взмыленных конях.

Итак, времена нэпа не дают пищи для вдохновения. Поэт пытается отойти на время в сторону и поискать простора для своей фантазии в прошлом. В этом смысле нового обращения Багрицкого к классикам европейской литературы. Но обращающийся к классикам Багрицкий — это не мирный пилигрим, не усталый путник, навсегда разочарованный в жизни. Нет, ему мало воздуха в брэнгельских рощах Вальтер-Скотта, и в нем закипает кровь бунтовщика. Но это пока только вспышка. В стихотворении «Осень» (1923 г.) поэт опять углубляется в себя. Сидя под Москвой, он чует море и степь, хочет свиснуть собаку, взять ружье и в сумку засунуть хлеб. Опять воскресает жажда бунта и бродяжниче-

ства, и опять звучат ноты разочарования. «Сквозь волны навывлет, сквозь дождь наугад» Багрицкий хочет мчаться навстречу ветру с развевающимися парусами. Но этот порыв удали и буйства в стиле морских пиратов Стивенсона сменяется горькой жалобой на усталость. Он чувствует в груди смертную прохладу. Ему «жизни веселой теперь не сберечь — и руль оторвало, и в кузове течь» («Арбуз», 1924 г.). Поэт думает, что настали сумерки революции. Недаром он одно из своих стихотворений этого периода называет «Ночь» (1925 г.). Поэт делает смотр Москве. Он видит, как обыватель, расталкивая жену, окунается в душный пух и задвигает под кровать свой символ веры — ночной горшок. До него доносятся хриплые ругательства неизвестных пьяниц из пивных. Витрины нахально дразнят прорвой всяческой жратвы, а у поэта голод сжимает скулы и зудом поет в зубах. И он приходит в отчаяние, чувствует себя в отставке.

И на что мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовой сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на что мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?

Духовный кризис достигает своего апогея в «Стихах о соловье и поэте» (1925 — 26 гг.). Поэту кажется, что где-то больше петть веселому вестфальскому и тюрингенскому соловью. «Наш рокот, наш посвист распродан с лотка». И поэт спрашивает свою птицу:

Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Мы в ночь улетаем!
Как слепые звезды, летим наугад
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят.

Так глубоко и так больно переживал Багрицкий переход к нэпу и первый период нэпа. Однако колебания поэта были временными. В его груди тлел неугасимый революционный огонь, и этот огонь вспыхнул ярким пламенем в его «Думе про Опанаса». В образе Опанаса

Багрицкий с исключительной силой, с поразительным талантом изобразил трагедию колебнувшегося середняка в эпоху военного коммунизма. Опанас устал воевать. Он решил бежать из продотряда домой, чтобы заняться мирным трудом.

Чернозем потек болотом,
От крови и пота —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу.

Но неумолимая логика классовой борьбы сильнее Опанаса. Не может быть и речи о мирном житье, когда кипит смертный бой между трудом и капиталом. Опанас думал отойти в сторону и занять нейтральную позицию, но такой позиции в природе не оказалось. Он попадает не к мирному очагу, а к Махно. В шубе с мертвого раввина, с шапкой, бомбой и обрезом он должен отныне «коршуньем» носиться по полям Украины, залетать в ворота, «бить жидов и коммунистов».

Опанасе, наша доля
Туманом пэвита.
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь бандитом.

Мало того, что Опанас обманулся в надеждах. Он должен убить своего собственного комиссара, захваченного в плен махновцами. Ветер свищет в уши Опанаса о предательстве. Мучает совесть: «За волами шел когда-то, воевал солдатом, ты ли в сахарное утро в степь выходишь катом?» Опанас готов дрогнуть, он предлагает Когану бежать. Но у большевистского комиссара — железная логика:

— Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту,
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хutorяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной!.

И Опанас становится бесчестным убийцей, изменником делу рабочих и крестьян. Но за преступлением следует наказание. Опанас терпит поражение в поединке с Котовским, сам сознается в

преступлении и получает революционное возмездие за свою измену. Так мастерски и исторически верно изобразил Багрицкий в образе Опанаса трагедию середняка, колебнувшегося в сторону контрреволюции. С таким же мастерством и верностью изобразил он и представителей диктатуры пролетариата — железного комиссара Когана и легендарного комбрига Котовского. Поэт целиком на стороне пролетарской революции, целиком с образом Когана. Он считает за высшую честь умереть такой же героической смертью:

Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!.

В «Думе про Опанаса» Багрицкий изобразил не мелкие комнатные страстишки, не «диалектику души» убудочного «живого человека», а великий исторический конфликт классовой борьбы. И этот конфликт он изобразил с революционной фантазией, в безупречной художественной форме, с ослепительным блеском, с изумительным талантом. Вот почему «Дума про Опанаса» останется замечательным образцом революционной романтики в советской литературе, и вот почему это произведение не сможет прочесть без волнения ни старый партизек, ни комсомолец, ни пионер.

«Дума про Опанаса» была апогеем революционной романтики Багрицкого, и впоследствии он уже не сумел подняться на такую художественную высоту. После «Думы» (уже в реконструктивный период) опять начинается полоса длительной депрессии и коротких взлетов. Снова начинают звучать мотивы стихийного бунта, бездомной молодости, аполитичной жажды жизни и слияния с природой («Контрабандисты», «Весна», «Трясина»). В «Разговоре с комсомольцем Дементьевым» поэт мечтает еще тряхнуть стариной, мечтает побриться добротной саблей в бою с врагами революции. В 1929 году он опять обращается к Бёрнсу и Де-Костеру, опять дух бродяжничества не дает ему покоя. В стихотворении «ТВС» Ба-

грицкий ведет поэтический разговор с ночным собеседником — Дзержинским. Он как бы анализирует тяжелый путь раздумья и сомнений и приходит к выводу.

О, мать-революция! Нелегка
Трехгранная откровенность штыка.
Он вздыбился из гущины кровей,—
Матерый, желудочный быт земли.
Трави его трактором! Песней бей!
Лопатой взнуздай! Киркой проколи!

Это было началом нового под'ема, началом освоения нового содержания в годы пятилетки. В «Человеке предместья» Багрицкий противопоставляет мещанской ограниченности обывателя социалистическую действительность. В косный быт мещанина врывается сквозняк революции: в семье вырастает новый человек, дочь в угловатом пионерском галстуке. Эта тема получает наиболее полное выражение в стихотворении «Смерть пионерки». В этом произведении Багрицкий почти поднялся в уровень с «Думой про Опанаса». Он с потрясающей силой изобразил коллизия между старым и новым миром, между отсталым сознанием матери и коммунистическим мировоззрением дочери-пионерки. Над больничной койкой, над умирающей от скарлатины Валеи склонилась изнывающая мать: она собирала для своего ребенка подвенечное добро — шелковые платья, мех и серебро. Она думает спасти дочь от смерти крестильным крестиком... Но Валя — человек нового мира. В горячечном бреду она видит свой отряд, видит, как базовое знамя вьется по шнуру.

В прозелень лужайки
Капли как полют!
Валя в синей майке
Отдает салют.
Тихо поднимается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука —
Я всегда готова! —
Слышится окрест.
На плетёный коврик
Упадает крест.

А за окном в это время звенит песня.

И выходит песня
С топотом шагов
В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

Мы видим, что творчество Багрицкого полно противоречий. Разрешив свои прежние колебания в «Думе про Опанаса», он не удержался на достигнутой высоте, и только после нового кризиса стал медленно выпрямляться. В чем же причина противоречий в творчестве Багрицкого? Источник сомнений и колебаний поэта — это, разумеется, сила влияния мелкобуржуазной стихии. Однако нельзя ограничиться только этим общим указанием, нельзя все дело сводить только к «объективным обстоятельствам». Противоречия Багрицкого нельзя полностью объяснить, если их не поставить в связь с характером бывшей рапповской критики. Ведь дело в том, что Багрицкий был ярким представителем романтики. А романтика, как известно, была объявлена РАПП'ом вне закона, — она была окрещена идеализмом, мистификацией и обманом. Естественно, что громы и молнии «реальных мудрецов» рапповской критики прежде всего обратились против Багрицкого. Когда появилась в свет «Дума про Опанаса», рапповская критика встретила это произведение в штыки. Багрицкий был объявлен «бардом» (!) мелкобуржуазного, — более того, — средневекового романтизма. Журнал «На литпосту» категорически заявил, что Опанас, Коган и Котовский — не герои эпохи диктатуры пролетариата, а «рыцари, кованые латами», и что «настоящее их место на турнирах средних веков». Чем же Багрицкий не угодил рапповской критике? «Вина» поэта состояла в том, что он не пошел с самого начала по пути «углубленной проработки проблемы живого человека, обнажения его внутренней сущности» («На литпосту», № 21 за 1927 г.). Иначе говоря, рапповская критика отвергала революционную романтику Багрицкого с точки зрения мелкобуржуазной теории «живого человека». Именно исходя из этой теории, представитель бывшей рапповской критики, Селивановский, в своей книжке, вышедшей в свет в 1933 г., объявляет романтику Багрицкого мелкобуржуазной вообще, игнорируя то обстоятельство, что Багрицкий от мелкобуржуазной романтики (период Диделя

и Уленшпигеля, первый период нэпа) шел к романтике революционной, социалистической. Образцом та кой романтики как-раз и является «Думы про Опанаса». Это весьма важное обстоятельство Селивановский игнорирует. Он откровенно разносит самое замечательное произведение поэта — «Думу про Опанаса». «В поэме, — пишет Селивановский, — бой был изображен в стиле лубка. Котовский «долину озирает командирским взглядом». Жеребец его «сверкает белым рафинадом». У эскадронов — «поступь удалая, амуниция в порядке, как при Николае». Шашка играет над конем «проливную силой». Во время боя комбриг «сналета разрубает саблю Опанаса». И так далее. Здесь дан батальный лубок», — заключает критик.

Всякий, кто вдумается в эту тираду, поймет, что дело не в батальности поэмы, а в банальности критика. Критик не понимает того, что в строгом соответствии с сюжетом поэмы Котовский должен был озирать долину именно командирским, а не рассеянным и скучающим взглядом дачника; что взмыленный жеребец имел полное основание сверкать «белым рафинадом»; что у эскадронов поступь должна быть именно удалая, а не старчески-дряхлая; что в боевом поединке шашка должна играть именно проливную силой, а не жужжать благодарным стэком, что комбриг хорошо поступает, когда разрубает саблю Опанаса сналета, а не пытается отнять ее потихоньку и осторожно засунуть себе за пазуху... И так далее и тому подобное. Разве не ясно, что не поэма Багрицкого, а критика Селивановского представляет собой лубок.

Сейчас можно над этим лубком посмеяться. Но Багрицкому было не до смеха. Ведь его поучала о ф и ц и а л ь н а я критика, и, сбитый с толку этой критикой, он на время заходит в тупик. Он мучительно переживает незаслуженные упреки в средневековом и мелкобуржуазном романтизме и, не понимая выдвинутых обвинений, бросается в объятия конструктивистов, проповедывавших устами своего «вождя» Корнелия Зелинского новый «изм» — мелкобуржуазную

философию делячества и «кредита на индивидуализм». Но мертвая эклектика конструктивистов не смогла долго удержать Багрицкого. Что ему оставалось делать? И вот начинается «перестройка»: Багрицкий принимает всерьез поучения рапповской критики и начинает «издеваться» над своей собственной революционной романтикой. В поэтическом разговоре с «соседом» (с критиком) поэт с горькой иронией восклицает:

Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее
Кружится над становищем соседа...

Вылинявшим «пером» оказалась впоследствии революционная романтика «Думы про Опанаса». Багрицкий переделывает свою поэму в оперу, и в этой переделке он в точности следует рецептам рапповской критики. Он снижает героическую романтику и вводит в сюжет элементы пасторальной лирики и бытовизма. Опанас из трагической фигуры колебнувшегося середняка превратился в простого шкурника, дезертира и предателя. Железный по своей принципиальной цельности Коган частично становится задумчивым пастушком, героем «самоанализа». Образ Котовского совсем исчез — остались только абстрактно звучащие в отдалении трубы его эскадронов. Словом, исчезло исторически верное содержание, исчезла коллизия классовой борьбы, выраженная в исторически верных характерах. И вот эту неудачную переделку Селивановский объявляет «победой» Багрицкого, рассматривая оперу как эволюцию от мелкобуржуазного романтизма к реализму (разумеется, в рапповском понимании этого термина, то-есть в смысле теории «живого человека»). Таким образом, Селивановский зачеркивает революционную романтику Багрицкого. Он утверждает, что именно из романтики выросла беспомощность Багрицкого перед действительностью, что именно отсюда вытекало «отставание его поэзии до самого последнего времени от поступательного движения социализма». Все эти рацеи, вытекающие из теории «живого человека», Селивановский препод-

носит нам в 1933 году, и это обстоятельство является замечательным уроком для тех литературных Дон-Кихотов и здоровых «эмпириков», которые думают, что в литературе дело обойдется самотеком, без критической переоценки рапповского «наследства», без борьбы за принципиальные основы критики.

Нет, Багрицкий дорог нам не потому, что он «линял», внимая рецептам Сели-

вановского. Он дорог нам не потому, что на мгновение усомнился в революционной романтике и попытался пойти по пути, указанному рапповской критикой. Багрицкий дорог нам потому, что, несмотря на все свои противоречия, он фактически был и остался блестящим представителем революционной романтики, и именно поэтому с чувством глубокой скорби советская литература склоняет перед ним свои знамена.

2. БЕСЕДЫ С НАЧИНАЮЩИМ АВТОРОМ

(Опыт методологии новой эстетики)

Мариэтта Шагинян

(Продолжение¹)

III. Проблема критерия

Итак, мы на-ходу переменяли метод. Из докладчика я стала слушателем, села среди кружковцев, вынула, как и они, блокнотик, а та самая девушка, что предложила переменить метод занятия, первой начала читать рассказ. Мы ее слушали молча, и никто, вплоть до конца, не сделал ни замечания, ни вопроса, но голос авторши, как это часто бывает при чтении вслух, сам себе как бы давал оценку: сперва это был очень довольный, радостный, хотя и трепетный голос, потом он стал силиться быть довольным, то-есть обнаружил стремление в авторе заглушить собственную тревогу, дальше он упал, и чтение кончилось торопливо, даже как будто с пропусками. Некоторое время все молчали. Я тоже молчала и обдумывала. Я должна была сказать авторше, что рассказ слаб, от меня ждали оценки и разбора, но я задумалась над тем, откуда я возьму доказательства своей оценки. Мы, писатели, хоть и считаемся людьми рефлексивными, людьми, обреченными на рефлекс, но психологический рефлекс и интеллектуальный рефлекс (умение точно сформулировать) — вещи раз-

ные, и, быть может, именно потому, что мы привыкли переживать и описывать в книгах психологические рефлекс, в жизни мы большею частью довольствуемся «игрою втемную», острым чутьем деталей, реакций на «хорошее» и «дурное», «сильное» и «слабое», а вот обяснить, почему это сильно и слабо, при этом обяснить не путем разбора мелочей, а исходя из каких-то основных принципов, которые неизбежно должны быть в искусстве, как они есть в науке, этого мы почти никогда не можем.

Я знала, что рассказ слаб, но я знала также, что в эту минуту и сама писательница знает, что рассказ слаб, знают и ее товарищи, и важно вовсе не то, что мы все одинаково это знаем, а важно вскрыть причины и закономерность такого знания и снабдить моих слушателей общим принципиальным орудием, которым они могли бы всегда или в большинстве случаев пользоваться, и которое было бы не единичным (для данного раза), не случайным (по данному поводу), а постоянным мериллом, постоянным правилом, предназначенным отличить удачное от неудачного, сильное от слабого. Иначе сказать, передо мною встала труднейшая задача

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

всякой эстетики: определить, в чем состоит критерий искусства.

Прежде чем подойти к ней, я подсчитала в уме, какие материальные моменты предшествовали нашему общему молчаливому впечатлению от рассказа. Этих моментов оказалось два: 1) самый рассказ и 2) голос чтицы, прочитавшей этот рассказ не равномерно, а с интонацией, безошибочно определившей ее (и наше) отношение к рассказу. Не лишнее поэтому будет и для читателя знать рассказ, о котором идет речь. К сожалению, я его не имею и просто перепечатать не могу, приходится поэтому лишь вкратце передать его, с оговоркой на возможное запамятование.

Он был написан на тему о новом займе. Это был заказ стенгазеты или многотиражки, — написать о займе с агитационной целью, — и мы его можем отнести к циклу «сюжетно направленных» произведений. Как подошла к своей теме рассказчица? Сперва она дала картину первомайского (или ноябрьского, не помню) парада, где героиня рассказа, фабричная работница, марширует вместе со своими товарищами. Во время парада появляются в небе «стальные птицы»; их стрекотанье, их нарастающее количество производят на работницу огромное впечатление: она вдруг видит и чувственно воспринимает, как много может сделать рабочая копейка, когда ее складывают и собирают на заем государству. Эту работницу назначают руководом займовой кампании на фабрике. Под впечатлением «стальных птиц» она очень удачно проводит подписку в одном цехе. Но вот надо показать проведение подписки и во втором цехе, — и тут автор использует то же самое впечатление от «стальных птиц», полученное на параде, причем схема воздействия одна и та же: речь работницы. И результат — проведение подписки — тот же.

Очень легко раскритиковать рассказ по частям, то-есть при разборе его. Ясно, что качество снижается к концу, потому что повторяется уже использованный прием; и образ «стальных птиц», вначале действовавший, слабеет как повторный. Повторяется механически

и композиция рассказа, в первой части совершенно такая же, как во второй. Неизбежно однообразной становится и характеристика действующих лиц.

Но спрашивается, заметила ли эти недостатки сама писательница в процессе работы над рассказом? Нет, потому что она приступила к чтению, довольная им. Однако в процессе чтения вслух она их несомненно заметила, точнее сказать, она почувствовала снижение качества рассказа. Мы имеем тому бесспорные доказательства в интонации чтения. Что же изменилось, что произошло, когда только одно чтение перед товарищами и приглашенным для занятия докладчиком заставило автора по-новому услышать собственную вещь и услышать ее критически?

Я отвечу на этот вопрос позднее, потому что в нем и лежит разгадка проблемы критерия, а сейчас вернусь к нашему занятию с кружковцами. Видя, что все мы в оценке прочитанного совпадаем, но что отрицательное впечатление у кружковцев неясно и никто из них не решился выступить и формулировать его, я предложила на время обождать обсуждением и дать следующему автору прочитать второй рассказ. Для чего я это сделала? Для того, чтоб мои кружковцы получили сравнительный материал. Быть может, кто-нибудь из моих читателей помнит школьных и университетских педагогов своего детства и юности. Есть такой прием, обычный для педагога, прием «наведения» (хотя слово не совсем точно). Вот педагог рассказывает о каком-нибудь явлении в электромеханике или в другой специальной области, взгляд его пробегает по лицам учеников, и он спрашивает, что означает данное явление. Ученики еще не поняли и молчат, двое-трое высказываются наугад, не зная; учитель ждет с минуту, а потом продолжает речь. Он рассказывает о других сторонах явления, об аналогиях из соседних областей, о разных житейских случаях, в которых данное явление проявилось с новой и неожиданной стороны... и опять вопрос к смышленому ученику: «А ну-ка, что ты скажешь?»

Обычно ученик отвечает, если не совсем правильно, то во всяком случае более приближенно к правильному ответу, нежели в первый раз. Исследуем этот прием. Казалось бы, из меньшего объема фактов легче сделать вывод об этих фактах; между тем способ учителя, желающего облегчить ученику вывод, заключается как-раз в обратном образе действий, — в увеличении объема фактов. Учитель все больше и больше приводит объектов для вывода, заставляет ученика думать над все большим и большим числом фактов, подвозит к нему все большее и большее количество материала, и вот оказывается, что вместо затрудняющего фактора это количественное «наплетание» материала превращается в облегчающий фактор суждения. Как это произошло?

У Гете есть замечательное двустийше:

Что есть Всеобщее?
— Единичный случай.

В каждом единичном случае уже заключено всеобщее, даны все элементы, из которых можно вывести всеобщий закон. Но почему все-таки из данного единичного случая человек сразу не может вывести всеобщего закона (кроме разве анекдотов о гениальных выводах, вроде упавшего яблока и Ньютонова закона тяготения)? Почему человеку для того, чтоб вывести закон, обобщить, сделать суждение, единичного случая мало, а надо увидеть и разобрать множество случаев? Да потому, что единичный предмет воспринимается как единичный предмет, в слитном образе; и что именно в этом образе случайно, временно, несущественно, преходяще, присуще только этому предмету; а что неслучайно, постоянно, существенно, непреходяще, общо, относимо ко всему данному ряду предметов, — на первый взгляд и на единственном объекте человеку заметить и отличить трудно. Но когда человек имеет перед собою большое количество таких предметов, он их разглядывает уже сравнительно и может довольно легко и скоро заметить, что такие-то и такие свойства повторяются во всех предметах, а другие нет, и в чем

общий смысл явления, а в чем нет. Можно сказать, что для логики, для способности вывода и суждения это облегчающее действие множества предметов — почти необходимая вещь, потому что общие контуры, общие закономерности проступают виднее на множестве случаев, нежели на небольшом числе случаев. Отсюда и нормативное (законодательное) значение человеческого опыта.

Итак, чтоб облегчить для моих кружковцев возможность вывода, мне пришлось увеличить объем сравнительного материала, увеличить поле их опыта. Я так долго останавливаюсь на этом неспроста, — все дороги ведут нас в этой беседе к проблеме критерия¹⁾.

Второй автор, молодой человек, оказался конторским служащим, несравненно больше подготовленным, нежели работница. Он прочитал голосом, обличавшим в нем человека, знакомого с четкой и с дикийей (то-есть с художественной подачей любого материала, за который внутренне не отвечаешь, как за свой), рассказ, вызвавший всеобщее одобрение. Этот рассказ был тоже на тему о займе (кружок разработал эту тему массово). Но уже и материал, и ситуация были другие. Помнится, автор взял два типа и противопоставил их один — старый бумажный человек, канцелярист, пугающий всего, что выходит за пределы службы; он терпеть не может займы, считает их насилием над своей частной жизнью. Другой — комсомолец, знающий, как подойти к людям. Лукаво и с подмигиваньем парень поручает старику провести кампанию и делает его ответственным за ее выполнение. Эта ставка на служебное самлюбие старика удается, и бумажный человек стыдит теперь других теми самыми словами, за те же настроения, которыми можно было его стыдить раньше за такое же настроение. Рассказ полу-

¹⁾ Здесь не лишнее напомнить читателю определенье из первой моей беседы: «Наличие так называемого критерия, то-есть мерил для безошибочного способа суждения, есть не что иное, как показатель... большой исторической работы сознания, проведенной многими поколениями». («Новый мир», кн. 1, стр. 260).

чился теплый, и образы живые. По сравнению с надуманной и однообразной композицией первого рассказа он был несомненно более художественно зрелым и технически гладким. Первой признала это сама авторша, резко раскритиковавшая своих «стальных птиц» («Виджу, насколько мой рассказ слаб, у товарища все гораздо живее получилось»). Когда же мы стали разбирать, почему живее, материала для суждения у нас прибавилось, и литкружковцы уже сами заговорили о недостатках. Они отметили и однообразие схемы, и повторение этой же схемы во второй части рассказа, и еще заметили, что авторша воздействует на воображение рабочих в рассказе таким нехудожественным и небразным приемом, как речь ее героини на собрании. Пока шел этот разбор, типичный для литкружков, каждому из нас становилось яснее, как следовало бы сделать первый рассказ, иначе сказать, мы критически обогатились. И опять же материальным поводом к такому обогащению послужили прочитанный второй рассказ на ту же тему и тот факт, что второй рассказ оказался художественно зреее первого и тем самым предъявил к нашему восприятию большие требования, нежели первый.

Разумеется, в каждом из произнесенных суждений была доля верно подмеченного, и все они вместе представили собой то, что можно назвать «конкретной критикой». Обычно и писатели, и начинающие авторы именно такой «конкретной критики» и требуют от того, кто занялся разбором вещи. Но передо мной лежала более глубокая задача, и мне этой конкретной критики было еще мало. Я хотела знать и для себя, и для моих кружковцев, откуда такая критика могла явиться, где те основы, на которых она прочно держится. И так как весь процесс образования критического суждения происходил у меня на глазах, отчетливо слагаясь из чтения, из впечатления от чтения (причем двойственно: произведение плюс интонационная подача), из обогащения от более требовательного второго чтения, из замечаний, в сумме своей состав-

вивших разбор вещи, а вызванных сравнительной оценкой двух рассказов, так как, повторяю, весь процесс образования критического суждения происходил у меня на глазах, задача проанализировать этот процесс не представляла больших трудностей.

Первым из отмеченных нами фактов было неравномерное чтение авторшей своего рассказа. В начале моей беседы, когда я указала на изменение ее интонации, на то, что сама она, до всякого замечания со стороны, почувствовала снижение качества своего рассказа, я задала вопрос: что же такое случилось, если одно только чтение вслух перед товарищами и докладчиком заставило ее услышать овою вещь по-новому? Случилось очень важное обстоятельство, хотя на вид немудреное и простое: она «посмотрела на свою вещь со стороны, глазами присутствующих». Так обычно, в обывательских выражениях, описывают переход человека от психики производителя вещи к психике потребителя вещи. Здесь я опять сделаю остановку, чтоб «спланировать» для читателя пологий спуск к центральному месту моей беседы. «Производство» и «потребление» — это два понятия, из которых складывается жизнь. Однако, если мы раскроем «Капитал», мы увидим, что у Маркса эти два понятия играют далеко не равновесному роль. Функция «потребительская», более или менее пассивная, не участвует как понятие в построении основных законов общества, вернее участвует в очень слабой степени; тогда как функция производственная становится тем узловым понятием, по которому характеризуется общественное отношение. Когда вы определяете, какковы в данном обществе «производственные отношения», вы без всякого труда, как производное, выводите из них и характер потребления в данном обществе. Таким образом, характер потребления становится как бы производным от характера производства. Отсюда тот слегка пренебрежительный оттенок, какой придает слову «потребление» в марксистской литературе, когда кто-нибудь вздумает выдвинуть это слово в

ряд определяющих общественных факторов. Всем, кто прошел школу марксизма в наших вузах и парткружках, знакома насмешка марксистов над так называемым «потребительским социализмом», то-есть таким представлением о социализме, будто главное в нем — это «накормить человека», удовлетворить потребителя, «голодных не будет», то-есть разрешение проблемы справедливого потребления. Подход к социализму со стороны потребления в классической марксистской литературе заклеен как вульгарный, упрощенский, наивный, а потому и неверный.

Все это так. Но бесспорность всего этого не должна мешать мыслителю, если не «строить», то хотя бы рассчитывать место для дальнейшей стройки. Каждый из нас должен помнить глубочайшие слова Сталина о том, что есть марксизм догматический и марксизм творческий и что он стоит за этот последний. Творческое развитие марксизма неизбежно, рано или поздно, поставит и наново пересмотрит проблему потребления, сняв с функции потребления этот «пренебрежительный оттенок». Почему так должно произойти? Потому что у Маркса речь шла о потреблении в капиталистическом обществе и потому что в марксистской литературе понятие «потребление» неизбежно носило на себе следы той действительности, в какой марксисты изучали его, видели его на практике и обобщенно извлекли именно из этой — капиталистической — практики. Каким будет потребление при социализме — это реально еще не представлялось. И в термине «потребительский социализм» потребление понимается еще целиком в старом, пассивном его значении, то-есть в том значении, какое родилось при капитализме, — оттого, быть может, и неизбежно вульгарный смысл этого термина¹⁾.

¹⁾ Приведу образчик того, как не понимают общественного смысла потребления даже крупные художники при капитализме. Речь идет вдобавок не о «массовом потреблении», заклеенном еще знаменитой горацевой формулой «*odi profanum...*» и т. д., а о потреблении высо-

Но с тех пор многое произошло. С тех пор социализм стал реальностью. Он существует на одной шестой света, а мы с вами существуем в нем. И со всех сторон, из глубин, как и с поверхности наших новых явлений, новой практики, социализм бьет в нас, окружает нас, пропитывает нас и не только меняет наше прежнее отношение к вещам и явлениям, но и открывает нам глаза на сущность и значение происходящей в нас перемены. Так, очень существенно изменилось в нашем новом обществе и потребление. Если попытаться определить это изменение как можно короче, чтоб не морить читателя слишком долго на моем затянущемся «пологом спуске», можно прибегнуть к терминологии самого Маркса. Как известно, Маркс различает два вида потребления — производственное и личное; первое необходимо для самого производства, а второе понимается как удовлетворение личных потребностей человека. Выше у нас разговор шел, разумеется, только о личном потреблении. Так вот, с большей, правда, осто-

координенных одиночек. В предисловии к «Цветам зла» Бодлера Теофиль Готье дает беглую характеристику Фернану Буассару, блестяще одаренного человека, пробовавшего свои силы во всех областях искусства, и укоризненно восклицает: «C'était un grand voluptueux en fait d'art, et nul n'a joui des chefs d'oeuvre avec plus de raffinement, de passion et de sensualité que lui; à force d'admirer le beau, il oubliait de l'exprimer, et ce qu'il avait si profondément senti, il croyait l'avoir rendu». касалось искусства, и никто не наслаждался («Это был большой сладострастник во всем, что касалось искусства, и никто не наслаждался шедеврами с большей утонченностью, страстью и чувственностью, нежели он; до такой степени, что, восторгаясь прекрасным, он забывал его выражать (продуцировать), — то, что он так глубоко прочувствовал, он считал как бы уже возвращенным (отданным обратно.)»). Здесь Теофиль Готье показывает, каким субъективным делом, только в себе и для себя, считается при капитализме глубокое потребление знатока. Между тем при социализме именно последняя фраза из приведенной цитаты, взятая у меня курсивом, и есть точное определение той творческой роли для культуры, какую будет играть глубокое переживание искусства. При социализме потребление именно диалектически и возвращает обществу предмет искусства, так, как это воображал Буассар и как этого не понял укоривший его Готье.

рожностью, можно подметить, что при социализме личное потребление до некоторой степени перестает уже быть личным, а принимает все более и более производственный характер. В самом деле, если у социалиста, производящего продукт, изменилось отношение к продукту, — потому что он его делает не для хозяина, а для общества, для себя, — то у социалиста, потребляющего продукт, тоже изменилось отношение к продукту, потому что он потребляет в нем не собственность капиталиста, а результат своего и общественного труда. Это очень тонкое, но абсолютное реальное различие, в котором «психология» теснейшим образом зависит от экономики и структуры общественных отношений.

Но в то время как перед нами давно уже налицо изменение № 1 (то-есть изменение отношения к продукту у производящего продукт) и мы кричим и в печати, и в искусстве об этом изменении; в то время, как партия непрерывно стимулирует его рядом новых трудовых декретов, и мы имеем такие явления, как социальное соревнование, ударничество, такой закон, как закон общественной собственности, — то с изменением № 2 дело обстоит хуже.

Изменение № 2 (то-есть изменение отношения к продукту у потребляющего продукт) еще не только никому не заметно, не проникло в печать, не стимулируется, не обобщается, не становится вопросом дня, но и не вызвало до сих пор даже подозрения в том, что оно не только существует в действительности, но и логически должно существовать! Произошло это по той простой причине, что «бесклассовое общество» — реальность завтрашнего дня — еще не является реальностью нынешнего дня, и не все те у нас, кто потребляет, также и производят, а поэтому при слове «потребитель» у нас все еще, по старой памяти, возникает в представлении нечто «самостоятельное», нечто, не связанное с производством, эдакий абстрактный гражданин, который не отождествляется ни с рабочим, ни с колхозником. И толь-

ко в самое последнее время, когда на историческую сцену лавиной накатился новый массовый потребитель и этот потребитель потребовал продуктов городского производства (я имею в виду колхозника в историческую осень и зиму 33-го года), потребовал очень своеобразно, не как пассивный покупатель на рынке, а как активный заказчик нужного ассортимента и нужного качества, — перед нами развернулась удивительная картина реальной борьбы за качество продукции в социалистическом обществе, борьбы, которая выросла и усилилась под нажимом требовательного массового потребителя. Фраза у меня суконная, но смысл у нее, как обнаженный электрический провод: дотроньтесь, и ударит вас!

В самом деле, обычно при капитализме борьба за повышение качества, как мы знаем, менее всего имеет в виду интересы потребителя; она рождается из конкуренции, а конкуренция — из необходимости продать свой товар и получить прибыль. Поэтому при капитализме, как раз в то время, когда товару на рынке очень много и он хорош качественно, фабрикант и заводчик вынуждены, в ряду всех прочих мер, еще больше повышать качество, чтоб перещеголять друг друга, чтоб поймать покупателя, отбить его, прельстить его чем-нибудь лучшим, нежели у конкурента. Но при социализме, осенью и зимой 33-го года, мы были свидетелями совершенно обратного отношения. У нас возникла бешеная, острая, упорная борьба за качество продуктов именно в то время и при такой «конъюнктуре», когда у нас предметов и продуктов было очень мало и, казалось, потребитель их разберет, не глядя в зубы, по рецепту капиталистов «лопай, что дают»¹⁾. И если бы

¹⁾ Зимой 33-го года (3 — 5 декабря) мне довелось быть на кооперативно-колхозной ярмарке в Звенигороде и на ней наблюдать «затоваривание» и «перепроизводство товаров» при полном равнодушии и даже отсутствии покупателей, и это в то время, когда был волчий голод на предметы ширпотреба. Как это случилось? Местные кустари и московские тростовики отпустили ярмарке зале-

у нас потребление осталось старым потреблением, если бы мыло для колхозницы Ивановой было совершенно тем же, что и мыло для германской крестьянки Иогансон, то на деле оно так бы и вышло, иначе сказать, личное потребление ни в какой мере не могло бы стать экономическим стимулом для повышения качества, а осталось бы в подчинении у экономики, как что-то, с чем не принято считаться. Но колхозница Иванова дала своим сознательным трудом общественный продукт, и взамен она потребовала такой же сознательный общественный продукт, а ее требование оказалось не психологически, но экономически реальным стимулом для повышения значения выработки и качества продукции. Ясно поэтому, что при наличии такого влияния потребления на производство, мы не можем продолжать считать потребление в социализме личным делом, а решаемся утверждать, что оно принимает характер производственного¹⁾.

жалую дрянн, плохой продукт, качеством высокие вещи, рассчитывая «насытить потребительский голод». Но колхозники, приехавшие на ярмарку, посмотрели и уехали, не став ничего покупать. Это было блестящим уроком для чиновников, организовавших ярмарку, и одним из ярких примеров борьбы нового потребителя за качество продукции.

¹⁾ Это изменение характера потребления стало мне ясно еще два года назад, когда я попала, впервые после 1915 года, за границу. Выявилось оно прямо забавно, в советских рефлексках, возникших на каждом шагу при покупке вещи. Почти каждая покупка вызвала раздражение, и, несмотря на высокое качество заграничного товара, требовательность к этому товару и удивление им ощущались чуть ли не втрое сильнее, чем дома. Во-первых, раздражала безответственность продавца и фирмы, — нет жалобной книги, некому пожаловаться, выразить возмущение: не вы, гражданин социалист, тут хозяин приобретаемого товара, и вы не имеете права контроля над ним. Во-вторых, раздражала «череполосница» в торговле, не знаешь, кто объединяет эти сотни лавчонок, торгующих по-разному разными качественно предметами одного и того же рода, и нет ни стандарта, ни единства цены, ни — главное — вашего права критики и вмешательства в такое положение вещей, как это делает у нас каждый контролер, добровольный и официальный. Как потребители, мы оказались за границей в отношении продукта (и хорошего, и числом неограниченного!) в несравненно более худшем

Но читатель волком взвывает от такого «планерного спуска»; тут, — скажет он, — уж целое авторское «бреянье» и воздушная болезнь, а не обещанное пологое приземление. Впрочем успокою читателя: мы уже на земле. Мне только нужно было показать, что в наших условиях потребление стало творческим и влияющим на производство, а в литературной области это тоже получило своеобразное преломление.

У нас принято утверждать, что «критика отстаёт» или ее «вовсе нет». Утверждение ошибочное, и происходит оно от «неумелого обращения с окуляром», как это случается с иными любителями, покупающими на бульваре за 30 копеек право посмотреть на Вегу. Эти любители глядят, и не видят никакой Веги, а Вега, откуда они примостились к телескопу, просто ушла из их поля зрения. Так и современная критика просто ушла из поля нашего зрения, и мы должны суметь снова поймать ее в стекло. Критика ушла от профессионала, изучающего и читающего вещь с тем, чтобы ее раскритиковать; от профессионала, которому посылают книги с надписью «для отзыва»; от профессионала, который живет куском хлеба, полученным с критической статьи. И критика пришла к тому, кто читает книгу для себя, кто смотрит картину и слушает музыку в свое удовольствие, кто не «дегустирует»¹⁾ искусство, а питается им, как хлебом. Словом, критика перешла у нас к прямому потребителю. Я не говорю тут о так называемом «отзыве читателей» — принятой всеми издательствами форме печатного предложения «дай отзыв» и т. д. Эту форму надо признать неудачной, а ее использование издательствами — вульгарно-бюрократическим и безответственным. Пишут эти отзывы чаще всего хорошие читатели, фабрикуют их иной раз «клакеры» того или иного писателя (подставные лица) и, наоборот, личные

и зависимом состоянии, нежели у себя дома в отношении продукты, хотя бы не столь хорошего и числом ограниченного! Это и есть разница двух систем и двух способов потребления.

¹⁾ Дегустатор — профессионал-опробователь для определения качества и вкуса.

недруги того или иного писателя. Фабрикуют их и на-авось, и дурачась, а издательства обычно не проделывают, да и не могут проделать критической работы изучения, проверки и отсева таких отзывов. Речь не идет также и об отзывах, собираемых библиотеками — в силу очень слабой подготовленности большей части библиотекарей и неумения их сплошь да рядом разобратся в книге, а не то, что ориентировать в ней читателя¹⁾). Речь идет о выходе творца на так называемую общественную проверку. Все больше и глубже внедряются в нашу практику массовые формы критики, где частное суждение не дается изолированно, а тут же, на месте, развивается или разбивается встречными суждениями, и где итог получается в сумме всего происходящего, итог, служащий несомненному росту каждого из участников. Эта «проверка на людях» — творческий отчет, творческий вечер, выезд на предприятие, стройку, собрание вузовцев, читки на литкружках и огромный рост самих литкружков чуть ли не на каждом предприятии; наконец, так называемые «летучки» в наших газетах — все это в самом зародыше своем есть не только литературная учеба, но и критическая учеба, не только школа писателей, но и в огромной степени — школа читателей, людей, учащих сознательно, а потому и критически потреблять искусство.

И такое явление массовой критики характерно вовсе не для одной литературы. Наоборот, его можно назвать непреходящим спутником всей нашей жизни, каждого шага строящейся страны Советов, потому что производственные совещания, конференции, съезды, дискуссии, чистки — все это есть небывалое нигде в мире проникновение крити-

ческого элемента в творческое делание, в позитивную работу каждого дня. Мы знаем, что с отмиранием государства (официальных, профессиональных форм управления) контроль и проверка становятся все более и более проникающими в массу функциями самих трудящихся («совместительство»). Но ведь контроль и проверка есть та же критика, умение критически смотреть на вещи и судить. И недалек тот день, когда мы признаем и художественную критику неотъемлемой функцией самого потребителя, а не каким-то профессиональным занятием особо приставленных для этого дела чиновников.

Надо только ввести к этому одну важную поправку. Выше я указала на то, что практикующееся обращение издателя к читателю есть прием вульгарный и неверный. Здесь я добавлю: и вредный (как для читателя, так и для писателя). Почему, — спросят меня, — разве тут не то же обращение к массе? Разве тут не голос массовика-потребителя? В том-то и дело, что тут налицо не «массовая критика», а самое механическое, самое пышно-индивидуалистическое, мертвое, неподвижное представление о массе, потому что массовой критикой вовсе не является арифметическое сложение одинаковых, рожденных один-на-один, написанных один-на-один безответственных мнений десятков и сотен отдельных личностей, а массовой критикой является величина интегральная, та особая математическая «сумма» (хотя слово неверное, но не подберу верного), тот кривой, нарастающий итог, какие получаются в результате совместного обсуждения вещи, где налицо иной раз и сам автор, и докладчик, и во всяком случае самые разнообразные потребители, от нетребовательных до очень знающих и требовательных. Только тогда, только в таком итоге не пропадает ни для кого не одно лишь верное, правильное и меткое замечание, но и замечание неверное, пустое, пошлое и невежественное. Не пропадает потому, что становится открытым. Большую помощь для изучения таких подлинных форм массовой критики дают стено-

¹⁾ Я не хочу этим обидеть библиотечные кадры, насчитывающие отдельных очень талантливых библиотекарей, героически работающих в очень тяжелых условиях. Но мы должны помнить, что в массе своей библиотекарь стоит на низком материальном и культурном уровне, и бороться за его квалификацию необходимо на обоих фронтах, поднимая не только его сознательность, но и зарплату.

граммы. К сожалению, наши литорганizations болеют странной потребностью стенографировать иной раз совершенно показное и ненужное, а там, где даже и есть стенограммы ценного порядка (плодотворная московская зима 1932 — 33 года), они почему-то никем не изучены и неизвестно куда провалились.

Манера собирать отзывы отдельных читателей без критического их изучения и разбора есть не что иное, как типичный прием старой и уже не достаточной для нас статистики. Как известно, статистика (мгновенный снимок или список с изолированного и неподвижного данного) уже начинает заменяться у нас в плановых, экономических, даже финансовых учреждениях приемами более движущегося, более диалектического свойства, приемами, отражающими предмет не только таким, как он есть, а и таким, каким он должен быть в процессе его роста, продиктованном сознательною волею людей, строящих социализм и знающих их законы построения общества. Но если это так в экономике,— «кольми паче» в литературе не след обращаться к старой статистике. Близка пора, когда отдельные отзывы отеснятся итоговыми отзывами массовой критики, рожденными сообща и учтенными самим творцом в его автоценке.

Но что же моя авторша «стальных птиц»? А с нею именно и произошло все то, о чем я так долго разговариваю с читателем. Когда она прислушалась к своей вещи со стороны, она переменяла в себе чувство производителя на чувство потребителя. Но она его переменяла не на одинокое чувство потребителя-индивидуалиста. Когда перед вами множество слушателей и среди них люди самые разные и на разный уровень, и вы начинаете воспринимать прочитанную вами вещь на вкус и на цвет каждого из присутствующих, вы приобретаете как бы тысячу глаз и тысячу ушей, то есть видите и слышите свою вещь с удесyтеренной, умноженной многогран-

ностью. Это как с человеком, входящим в зал, наполненный светом и людьми, — он начинает вдруг как бы видеть себя и со спины, и сбоку, и где у него шов блестит, и где пуговница плохо нашита. Но и больше того: став потребителем своей вещи, вдобавок потребителем с обостренной критической придирчивостью, моя авторша увидела не только то, чего не дала, не сумела дать, но и то, что хотела и должна была дать, тот неосуществленный призрак произведения, какой она думала, что дает. И вот в этом-то последнем чувстве, как бы ртутью показывающем недоподнятые до предельной цифры, поставленной самому себе, но не осуществленной, в этом чувстве и коренится сложная, очень мало изученная, тайна создания критерия в искусстве. Из этого именно чувства и сделан был самою писательницей вывод: «рассказ слаб». Что же это за чувство? Как его глубже разоб-
раться?

Представим себе иную комбинацию,— когда вещь удастся. Человек входит в залу, залитую светом и людьми, и воспринимает себя с неожиданной приподнятой легкостью, как объект восхищения тысячи зрачков: он видит со спины и сбоку, и даже внутри себя стройное, легкое, удачливое, полное жизни тело, на котором чудесно сидит костюм, и он видит прелесть своей улыбки, притягательную силу жеста, словом, толпа несет его. Но он видит не только это, а как бы открывает в себе дремавшие и незнакомые ему самому возможности: «Вот он я — какой! Вот что я могу!» И если этот немного грубый пример перевести в литературный мир, где нашему автору пришлось бы пережить успех от подлинно удавшегося произведения, то вместе с обостренным критическим наслаждением от каждой детали автор неизбежно увидел бы — как под'ем ртути вверх, за предельную цифру,— проекцию того, что он должен был дать и дал. И как потребитель собственной вещи он от этой исполненной, вышедшей, удавшейся для него вещи неизбежно обогащается сам, то-есть

ощущает ее в этот момент больше себя и прибавляющей себе росту¹⁾.

А рост, говоря языком математики, есть величина векторная, то-есть такая, о которой нельзя сказать в терминах «сколько» (сколько выросло), не добавив обозначения «куда» (куда выросло). Таким образом, наше чувство критерия неизбежно окрашено социальное, поскольку мы сознаем направление хода развития исторического процесса и ловим себя на том, совпадает ли ось нашей вещи с тем, куда мы правим историю, или не совпадает, хорошо ли ее передаёт, или плохо, а если мы себя не ловим, то, становясь потребителями конкретных классовых потребителей, неизбежно начинаем ловить, точнее, чувствовать, поднимает ли вещь нас туда, куда мы должны расти, или она фальшива, слаба, стоит, пятится. Вот отсюда и можно сделать вывод, что практическим критерием для каждого нашего ху-

дожника служит следующее простое правило:

1. Если новая, созданная тобой вещь обогащает тебя самого, когда ты посмотришь и прочитаешь ее глазами своего социального потребителя, значит хорошо, и тут есть для тебя творческое движение вперед;

2. но, если вещь тебе самому ничего не дает и ты чувствуешь, что в тебе самом заложено большее, нежели то, что получилось на бумаге, значит, плохо, и не тянет вещь, а падает.

Иначе сказать, критерий возникает тогда, когда сам творец становится социальным потребителем своей вещи, выражая своим отношением к вещи то, чего требует от нее безошибочный инстинкт растущего массового потребителя.

(Продолжение следует)

3. МАРТИРОС САРЬЯН

(Тридцатилетие творчества)

А. Эфрос

1

Около года назад, готовясь к юбилейному чествованию Сарьяна, мы, немалая группа лиц, его друзья и

¹⁾ Отсюда вовсе не следует, что всякий успех есть показатель ценности вещи. Я беру успех в его двойственной форме, как взаимодействие между творцом и потребителем, когда оба переживают удовлетворение от вещи. Но есть полное несовпадение критериев творческого и потребительского, особенно характерное для дореволюционного искусства. Помню такой случай: в антракте одного из самых блестящих концертов Рахманинова, когда публика неистово хлопала и овации не смолкали, я прошла к нему в артистическую и увидела его, бледного, перекошенного, злого, осунувшегося. Не успела я раскрыть рот, чтоб его поздравить, как он обрушился на меня: «Вы не заметили? Я провалил, погубил вещь, у меня точка сползла, черт, вместо того, чтоб прийти там-то и там-то,

почитатели, отправились в Третьяковскую галерею, чтобы заново пересмотреть сарьяновские работы и распределить между собой темы. На привычных стенах вещей Сарьяна мы не

она ниже пришлась». Позднее он мне рассказал, что есть такая «кульминационная точка» в каждом исполнении, к которой надо уметь подогнать всю растущую массу звуков, и если пропорции будут нарушены, целое не удастся, рассыпается. Он рассказал мне, как заставлял Шаляпина плачущим за сценой: «Публика там беснуется, орет, вызывает его, а он плачет, что кульминацию упустил». Этот рассказ о высокой требовательности мастера и о том, что есть удовлетворение в искусстве, навсегда остался у меня в памяти. И вот такое несовпадение критериев творческого и потребительского при социализме должно быть постепенно изжито, потому что и потребление должно стать тоже творчеством.

нашли, как не нашли и картин его сверстников. Они были сняты для новой развески, сняты давно, развеска готовилась еще дольше, торопиться экспозиционным мудрецам было, видимо, некуда, и новейшее искусство уже два года как было в галлерее упразднено.

Мы должны были просматривать холсты художника в старой церкви, служащей ныне галлерее помещением для запаса. Они извлекались из ее полутемных недр и выносились к оконцам, на полусвет. Видеть жаркие сарьяновские картины среди церковной византийщины было необычно и чудно. Мы вглядывались в них заново, и они представляли точно впервые. Так, когда-то, ряд лет назад, на выставках «Союза русских художников», «Московского товарищества», «Мира искусства», я подходил к сарьяновским новинкам и испытывал тот же толчок радостной неожиданности, какой испытал опять теперь, благодарственно сменив злость на признательность к третьяковским кунктаторам.

Да, Сарьян все так же свеж! «Фруктовая лавочка», «Константинопольский полдень», «Лошадки с зеленью», «Цветы», «Бананы», «Маски» — все эти красочности такой старой памяти, отмеченные уже не годами, а десятилетиями знакомства, опять вызвали во мне чувство, которое вызывали при первом появлении. Сарьян обладает первостепенным свойством сбереженной новизны. Он — один из редчайших мастеров нашего искусства, который одарен стойкой прелестью. Это не гипербола, ибо это не значит, что он — великий художник. Никакие юбилейные фанфары не пропойт ему этого, а ежели бы кто-нибудь из дурней-бабней критики или кисти и запел, прежде всех огорчился бы сам Сарьян. Он знает размеры своих сил.

Однако он знает и цену им. Он наделен тем очарованием, которого может и не быть у гениев. Прелесть — не самое важное и во всяком случае не самое высокое качество искусства. Но оно становится решающим тогда, когда художник не принадлежит к числу поворотных фигур эстетической истории. Сарьян спа-

сается от жестокостей мод и утомления поколений именно этим даром. В его искусстве есть словно бы живительные свойства зеленого мира; оно — точно природа; оно вызывает ощущение раскрытого плода, горячего солнцем и влажного сладостью; это всегда прельщает глаз и губы; это воспринимается, как проявление вечного обновления жизни. Художники подобного склада обладают огромной жизнестойкостью. Они спасены от устаревания; они кажутся неожиданными даже тогда, когда все в них предвидишь наперед.

Таков Сарьян. Нет ничего непреложнее того факта, что он уже не молод, что он перешагнул через пятьдесят лет, что исполнилась юбилейная дата тридцатилетия его искусства. Показатели времени простейшими, можно сказать, дошкольными, измерениями выводят сроки, прошедшие с 1880 года, когда он родился, и с 1903 года, когда он появился на выставках. Но ежели это и очевидно, то не убедительно; несомненно хронологии и фактов выглядяют сомнительными; даты на сарьяновских картинах кажутся ошибочными, чтобы не сказать — поддельными; собственно-ручно выписанные цифры: «1909», «1911», «1913» и т. д., и т. д. — не оправданы. Такие обозначения годны для явлений давних десятилетий, для искусства устаревшего, едва ли не для того, что уже должно именоваться «памятником материальной культуры». Сарьяновские же холсты, перемеченные далекими датами, свежи, точно они сегодняшние. Сарьян соприкасается здесь с долголетием великих мастеров. С разных концов они и он подходят к одной точке. Они обязаны своей вечной жизнестойкостью тому, что каждое очередное поколение не успевает разобратся в преизбыточности их сил и должно сойти со сцены, не разглядев их до конца и очистив место для следующей людской смены, которая опять начинает познавание заново и в свой черед исчезает, не доделав его. Сарьян, наоборот, обязан своей неубывающей молодостью тому, что нет ничего проще, цельнее и доступнее его искусства; что оно влечет сразу

и бездумно всех и каждого; что оно непроизвольно вызывает ответное движение первичной и радостной полноты, как вызывает ее изумрудный цвет ранней зелени, или огромный диск полнолуния в ночной прозрачности, или очертания стогов во влажной туманности полей, или синий заячий след вдоль снежной опушки, или что-нибудь другое, такое же, что можете выбрать вы сами, о серьезные, взрослые люди, не боящиеся признаться в любви к простейшим очарованиям природы!

2

Сарьян был таким с первых шагов, хотя и начинал среди мастеров пресловутой «Голубой розы». Он был в ней наименее типичным. Его больше выравнивали под общий лад критика и зритель, нежели давал повод к тому он сам. При таком обобщении все становилось проще и доступнее. «Голубая роза» представлялась своего рода звездной туманностью, где сила блеска была разная, но природа блеска — одна. Историческая перспектива разложила с тех пор это скопление на составные части. Они оказались очень непохожими. По одну сторону Сарьяна были мистики, по другую — мистификаторы; там была группа Павла Кузнецова, Уткина, Бромирского, здесь — Сапунова, Судейкина, Милиоти; первые, если взять пушкинское выражение, «вдохновенно бормотали», вторые лукаво шаманствовали; одни юродствовали, другие прикидывались. Павел Кузнецов пред'являл зрителю облики нерожденных младенцев; Бромирский вторил ему в своих скульптурных комочках, где воля пальцев и каприз случая были на равных правах; Уткин, в качестве саратовского Фран-Анжелико, блаженно воздыхал синевами, золотистостями, цветиками и листочками. Во второй группе атаманствовал Сапунов; мистика и озорство тут совпадали; здесь высокоумствовались, где можно, и чепушили, где нельзя. Никакой мистической «Голубой розы» им не было нужно, а нужно было нечто прямо противоположное — простейшее и доступнейшее: они были декоратора-

ми по природе и театрами по призванию. Они рвались на сцену. Они показывали зрителю живописные потусторонности, как в театре показывают привидения. Прошло немного лет, и в самом деле Сапунов и Судейкин (Милиоти отпал за бесталанностью) развернулись в первоклассных мастеров сценической живописи.

Сарьян и с ним еще Крымов образовывали третью группу. Ни с первой, ни со второй они не смешивались: я бы назвал их реалистами или, лучше, нео-реалистами, чтобы не путать с необозримыми эпигонами левитано-серовского толка. Сарьян и Крымов дополняли друг друга, как створки диптиха. Один был север, другой был юг. Великоросс Крымов обнаружил реалистическую основу своей живописи раньше товарища. Его с самого начала тянуло к подлинной земле, но он стал модничать и принялся писать кисельные берега и молочные реки, набрасывая на милую природу серо-белый туман красок. Он считал это символизмом. Это выглядело очень наивно, но делалось так просто-душно, что никого не раздражало; тут явно шла детская болезнь роста; она должна была в скорости пройти; и когда в самом деле Крымов не выдержал позы мистического мудреца, и сквозь его творожную гамму впервые в «Крышах», в «Весне» засквозили робкие, но справедливые блики солнца, птицы на снегу крыш, пушистые инеем ветки, — нам, зрителям тех лет, стало легко за художника и радостно за себя; спустя десятилетие Крымов уже был едва ли не самым большим человеком русского пейзажа 1910 — 20 годов.

Сарьяну пришлось труднее. Он был столь же прост; но его воспринимали с изумлением, готовым наперед ничего не понять. То, о чем говорили его холсты, было несложно, но все же они говорили на незнакомом языке. Это позволяло предполагать, что угодно и даже бог весть что. Немудреная критика девяти-сотых годов растерялась; она то разводила руками, то сердилась, то хвалила не попад. С места в карьер она заявила устами Сергея Глаголя, милого человека, москвича из москвичей, — Сергея

Сергеевича Голоушева, женского врача по профессии и ценителя искусства по влечению, — что «непонятно присутствие на выставке (это была ученическая выставка 1905 года в «Живописи и вааянии») вещей г. Сарьяна... Чем могло руководиться жюри, когда принимало эти детские, неумелые и нелепые наброски?» Спусти два года средний голос какого-то собирательного Бренна оповещал в московских газетах посетителей «Голубой розы», что «Уткины, Сарьяны, Кнабе — все это ряд уродливых кривляний, галерея истерических воплей», а один из будущих основных людей послесимволической критики, П. Муратов, разом говорил «да» и «нет»: в одной и той же статье девятисот седьмого года он утверждал, что на выставке «слишком много места ствдено претенциозным и, по большей части, совершенно неинтересным фантазиям Сарьяна», а вместе с тем, «как это ни странно, но кое-где в грубых искажениях Сарьяна мелькают единственные на выставке искренние проблески настоящей сказки».

В совокулности это ничего не означало, так как обе части взаимно уничтожались; но это позволяло ждать; а обращение к сказке создавало легчайший способ для перехода к признанию. Так и вышло. Определение сарьяновских опытов как восточной сказки дало возможность вступить с художником в простейшие, добрососедские отношения. Закавказье обертывалось Индией. Можно было ее не понимать, но все же принимать. Пряности сарьяновских образов и красочности его палитры радовали в качестве экзотического явления. Так в самом деле радовался уже год спустя, в 1908-м, тот же Муратов, писавший, что «Сарьян... дал законченные, волшебные по краскам и строгие по композиции вещи, как «Поэт», «Комета», «Жаркий день»...

Еще несколько лет, и экзотизм Сарьяна стал канонизованным понятием. Именно тогда самый репрезентативный человек русского символизма 1910-х годов, Максимилиан Волошин, провел черту равенства между Востоком и Сарьяном. Начав торжественно свою апологию 1913 года в «Аполлоне»

фанфарами: «... Европа, как чужая растение, выросла на огромном теле Азии», он засверкал через несколько страниц всеми цветными прожекторами риторики: «... Сарьян... при произнесении этого имени мерещится словно испупление желто-оранжевого цвета, прикрытое синим пламенем, напоминающим фиолетово-медные отливы мавританской керамики времени Оммайадов...» Это было непонятно, но хорошо; это ничего не значило, но выражало все, что надо; это стало лозунгом и определило отношение к Сарьяну на ряд лет.

В те годы совсем не было смешно читать такую словесность. Время стояло декоративное. Экзотика и ретроспективизм служили опорными пунктами искусства. Шла четвертодумская эпоха; строй гнил; общественное разложение прикрывало себя цветными и прадедовскими тряпицами; этак было легче его не замечать или с ним мириться. Волошинские тирады воспринимались с нерушимой серьезностью. Никто из нас не испытывал потребности хотя бы улыбнуться, — даже тогда, когда несколькими десятками строк ниже сарьяновский апологет сообщал, что его керамический Оммайад родился армянином в Нахичевани и учился у Серова и Коровина в Москве. Это тоже звучало экзотически.

3

Но, беседа со своим критиком, Сарьян говорил: «... Караваны верблюдов с бубенцами; спускающиеся с гор кочевники с загорелыми лицами, со стадами овец, коров, буйволов, лошадей, осликов; базар, уличная жизнь пестрой толпы; мусульманские женщины, молчаливо скользящие в черных и розовых покрывалах, в фиолетовых шароварах, в деревянных башмаках, выглядывающие с плоских крыш желтых квадратных домов; большие, темные, миндалевидные глаза армянок — все это было то настоящее, о чем я грезил еще в детстве. Я почувствовал, что природа — мой дом, мое единственное утешение... Природа многоликая, многоцветная, выкованная крепкой неведомой рукой, — мой единственный учитель». Так передавал

сарьяновские слова Волошин. Может быть, надо сделать поправку на писца; художник едва ли был так изыскан и так словообилен; по сей день Сарьян медлен речью, скуп на определения и тяжеловат оборотами фраз.

Но ежели они и волошинские по форме, они сарьяновские по содержанию. Они просты и правдивы. Сарьян говорил в 1913 году о том же, о чем говорит теперь. Какой он экзотик? Почему изображение близкой жизни присущими ей красками экзотично? Его влекли и влекут земля и люди, которых он кровно ощущает своими. Он — реалист, а не фантаст. Он отвечает за правду своей живописи, а не за вымысел зрителя, который ее разглядывает. Собственно, это он и объяснял Волошину. Он просто описывал свою жизнь в Закавказьи в 1901 году. Именно в эту пору он почувствовал себя впервые художником и решил выступить на ученической выставке. Что общего между его жаркой любовью к природе — этому «своему дому», «утешению» «учителю» — и формулами: «романтической мечты о далекой стране», «нарядной сказочности картин», которыми обобщал сарьяновскую живопись ее первый критик? Да и в самом ли деле волошинский глаз, изощренный и опытный, не разглядел реализма Сарьяна? Или же не замечать его, скажем, не «слишком замечать, было добрым тоном времени?

Максимилиан Волошин был из числа тех, кто сам создавал его. Любимого художника нельзя было в 1910 году именовать «реалистом». Это означало бы мелкотравчатость дарования у мастера и низкопробность вкуса у критика. Понятие «реализм» считалось оскорбительным. Так был провозглашен «конец Горького»; так был отвергнут Бунин; так были ошельмованы «знаниеведцы»; даже сам Толстой терпелся лишь во имя уничтожительного противоположения Достоевскому. В живописи Репин был ославлен «олухом»; Сурикову реализм прощали ради историзма его тем; а Серов останавливал наскоки злой сложностью своих приемов: то ли это «отображение», то ли издевка над «жизнью, как она есть».

Кодекс приличий допускал применение «поганого» термина лишь в философско-терминологической игре, вроде «ab realia ad realiores» — «от реального к реальнейшему», которым священнослужительствовал Вячеслав Иванов. Но ежели это могло пригодиться, скажем, в качестве ключа к живописи Павла Кузнецова, то это никак не прилагивалось к Сарьяну. Восточная мистика первого была антиподом восточному реализму второго. Волжанин Кузнецов действительно бежал в степи Киргизии и горы Бухары за «новой правдой», как за два десятилетия до него бежал из Франции на Гаити Гоген. Сарьян же никуда не бежал, вкуса к побегам не питал, а писал рядовые вещи рядового национального обихода. Они жарко и тесно переполняли его картины. Они отличались от традиций русского реализма не ослабленной правдивостью образов, а иными формами изображения. Но признать это, значило низвергнуть Сарьяна. Чтобы спасти его для вкусов 1910-х годов, нужно было прикрыть в нем грех жизненности. Волошин сделал это с остроумием выученика французской культуры. Вторым контуром своего критического портрета он вычертил образ «северного пленника». Он изобрел для Сарьяна трагедию. Сарьян был объявлен «сыном Востока, оторванным от своей страны, перенесенным в северные города». Его творчество оказывалось пробужденным «сыновним чувством... его романтизм — тоска по родине; поэтому для него дороги обыденные, интимные черты жизни...» Можно было подумать, что перед нами некий «Мцыри» кисти, горький узник, чертящий на стенах своей тюрьмы в Московии облики милых ему, но недоступных существ.

4

В этой метаморфозе был свой социальный смысл. Сарьян делался одним из тех «лишних людей», которые составляли основу вялого русского романтизма, где понятия «страдалец» и «герой» совпадали. Сарьяновская страна оказывалась частью традиционного Кав-

каза Марлинского и Лермонтова, где люди готовно умирали и нехотя убивали. В похвалах сарьяновскому «Востоку» гнездилась та же старая, обновившаяся опять проповедь созерцательности и безволия; это был вариант формулы, что искусство и борьба — «две вещи несовместные». Российское похмелье 1910-х годов брало Сарьяна с собой в путешествие «ouï il vous plaira». Художника ставили в один ряд с блистательными мастерами дымовых завес от неприятных напоминаний общественной жизни. Это было почетно, но и обезвреживающе. Сарьян вводился в одну группу со знаменитыми экзотиками и ретроспективистами дягилевских балетов, — с ориентальными оргиями Бакста, с лукавым примитивизмом Рериха, с изысканной историчностью Бенуа. Можно сказать, что Сарьян представлял как бы «первым из Миганаджанов», — помнят ли еще этого создателя живописных рахат-лукумов? — а его социальным назначением было показывать пену сладких вин на узорных шальварах, дабы не слишком заметно было, что с севера надвигается, грозя очами, генерал седой...

В таком сарьяновском трагедии принимали участие не только старики, но и все мы, кто в те годы начинал писать. Мы не подозревали, что говорили прозой реакции, хотя и говорили поэтичнейшими метафорами и ритмами. Максимилиан Волошин был не исключением, а старшим среди равных. Он лишь ярче и лучше выражал то, что менее счастливо варьировали мы на разные лады. Мир делался декоративным; жизнь выглядела ненастоящей; явления окрашивались сквозь цветные стеклышки; Зинаида Гиппиус, прозаичная, как селедочная торговка, выискала для общего оправдания мистологическую формулу: «Мне нужно то, чего нет на свете — чего нет на свете...» Словом, мы отдыхали от революции.

Мнимый Сарьян заслонил подлинного, как лицемерное затишье девятьсот десятых годов заслонило бури девятьсот пятого. Здесь шла своя параллель. Такой Сарьян «Востока и мечты» не переставал конечно быть прекрасным

мастером; но рядом с ним и вокруг него были мастера не хуже. С точки зрения блеска и яркости, одни ему не уступали, другие превосходили. Кузнецов был равен, Сапунов и даже Судейкин были пышнее и наряднее, а Бакст, ставший уже мировым декоратором, неизмеримо слепительнее. В конце концов этот мнимый Сарьян был художником рядовым. Подлинный же был единственным.

Он был явлением, созданным революцией 1905 года. Он явился выражением одной из самых ярких ее сторон, — революционного движения национальностей. Он был первым из наших художников, у которого эпитет «национальный» не значил «русский». В этом смысле он представлял собой больше, нежели один лишь проснувшийся Кавказ. Западные окраины империи, польские и еврейские, кипели не менее бурно; но они не выдвинули ни одного своего художника. Типологически Сарьян представлял за все российское меньшинство, хотя художественно выражал только одно из них.

Значит ли это, что он был революционером? — Нет. Сознал ли он свою связь с освободительными движениями кавказских народов? — Тоже нет. Ставил ли он своей живописи национально-общественные цели? — Отнюдь. Он писал, как писалось. Он делал пейзажи, натюрморты, изредка жанры. Но как аристократ Толстой выражал противоречивую революционность русского крестьянства; как легитимист Бальзак воплощал ненасытное самоутверждение молодой французской буржуазии, — так «голуборозец» Сарьян носил национальные цвета революции пятого года. Его искусство было ею предопределено и обусловлено. Оно не могло возникнуть ни до нее, ни вне ее.

Сарьяновский Восток был народническим; кавказское крестьянство здесь выражало себя интеллигентской кистью. В этом проявлялись «относительность и своеобразие», которые, по формуле И. В. Сталина, свойственны «несомненной революционности большинства национальных движений». Этим Сарьян отличался от собратьев по крови и анти-

подов по сущности, вроде Аракеляна или Татевосьяна. Те ничем не отличались от средних форм русского импрессионизма, хотя бы и воспроизводящего Восток. У их восточной живописи был московский склад. Она была руссифицирована. Это — искусство ассимиляции. Даже ежели бы она была выше по качеству, она оставалась бы столь же заурядной по существу. Это все — российские Альберты Бенары, с кавказскими фамилиями, без бенаровской виртуозности. Они приводят мне на память воспитанников «специального отделения» московского Лазаревского училища, где я кончал гимназические классы; в классах, вокруг меня и немногих таких же москвичей, был Кавказ, как он есть, — столпотворение языков и южных людей; классы в девятьсот пятом-шестом году южно кипели и буйствовали, — подстреливали из бульдогов по коридорам ненавистных учителей, выламывали двери дортуаров, чтоб уходить по ночам в боевые дружины, снимавшие городских на московских улицах, устраивали под носом у начальства и полиции, в колодце училищного двора, склад бомб-македонок; на ученических митингах, в гимнастическом зале тот из нас, кто председательствовал, клал пред собой на стол колокольчик и револьвер рядом, — иначе было нельзя. А во флигеле, слева, на отлете, располагалось высшее отделение, — полунниверситет, полукурсы, вырабатывавшие из человеческого сырья чиновников дипломатического назначения, драгоманов и консулов для русских миссий Ближнего Востока. Это была особая порода, — русские люди армяно-грузинской крови, белоподкладочники и шаркуны, которым не пристало ни давать, ни принимать демократическое и революционное звание: «студент». Свои природные восточные черты они носили декоративно, точно актеры в театре, исполняющие ориентальные роли, — совершенно так же, как их собратья в живописи, эпигоны коровинской школы, смягчали цельную и простую яркость восточных тем и сюжетов воздушно-мягкой пеленой европеизированной, уже устаревшей техники пленера.

5

В отличие от этих вольных и невольных отступников Сарьян был настоящим национальным художником. Его искусство почвенно, почти туземно. Это искусство народных толщ, выведенное рукой мастера европейской культуры. Оно думало мозгом крестьянина и видело глазом интеллигента. Это обуславливало смесь революционности и косности, соотношение содержания и формы, об'ем тем и арсенал приемов. Оно ставило печать революции на его живопись в 1905 — 1914 годах, и оно же легло на нее усталостью и ослаблением в следующее десятилетие.

Крестьянской была ее сущность; интеллигентским было ее выражение. Одно коренилось в тяге к самым привычным, самым стойким, самым типическим и обыденным обликам национального быта. Другое проявлялось в стремлении соединить простые формы народной художественности с утонченными приемами новейшего искусства. Волошинская запись рассказа Сарьяна опиралась на измышленную фигуру залетного человека, гостя в собственной стране. Пусть в нем та же кровь, что и у людей земли, куда он заехал, но он — только раскаявшийся изгой, умиленный ренегат, вспоминающий, что все это он когда-то уже видел, но утратил и почти забыл. Ежели он и узнаёт заново явления родной жизни, они мелькают пред ним без корней и связи. Растроганный, проникнутый нетрудной жалостью к себе, путешественник возвращается на столичный Север и берет за кисть: блудный сын, северный пленник, пишет восточно-романтические полотна.

В этом критическом миреже не было действительного искусства действительного художника. Мотивы, сюжеты, темы настоящего Сарьяна ни беглы, ни отрывочны, ни случайны. Так рисовать, как рисует он, может только человек, живущий жизнью, которую изображает. Он не турист, заехавший на родину, словно бы в Эльдорадо воспоминаний и сожалений, и не бродяга искусства, кочующий с места на место, — свой везде и нигде. Мартирос Сергеевич

Сарьян, возможно, живет в Москве, возвращается в столичных кругах, выступает на выставках, проводит часы в Щукинской галерее, может быть, подручку с Павлом Варфоломеевичем Кузнецовым, может быть, застыв пред Гогеном и Руссо; но Сарьян, живописец, трудовой человек палитры, непосредственнейший из художников, простейший из лириков краски, он — «туземный человек»; его искусство — ремесло среди ремесел, которыми заняты соседи; он делает картины, как рядом сапожничают, пасут стада, торгуют в лавчонках, обрабатывают землю. Его темы не выисканы, сюжеты заурядны, мотивы бедны. Одни из его сородичей по кисти их презирали; другие не знали, что с ними делать. Палит солнце; дома низки и желты; тени длинны и черны; улочка раскаленна и пустынна; безветрие; не шелохнет; промелькнет женщина с кувшином; пройдет дорогу собака из тени в тень; пробубенчат ослики с вьюками сена; опять зной и тишина. Рай — в лавчонке; в ней прохладно и душисто; высятся горки плодов, ожерелья фруктов: золото апельсин, платина бананов, изумрудно-агатовые грозди винограда; а за околицей — поля и нагорья, огромные и опаленные; где-то стадо коз и человек возле них; на горизонте — гребнистые, голые, загораживающие мир горы. Упрямая, жестокая земля — поглотительница пота, терпенья и жизненной невзыскательности!

Таким может быть и Север. Однако Блок говорил о нем: «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне...» Будь в армянской поэзии что-нибудь равнозначное этим строчкам, можно было бы их поставить эпиграфом над первым десятилетием сарьяновского искусства. Сарьян перекинулся с Блоком, поскольку ничего не значившее в российской общественной жизни понятие «кавказское крестьянство» вдруг выступило на свет и крепко отметило свое место под солнцем и поскольку в пробуждение теснимых народностей, скрепляющих свои поднимающиеся на борьбу ряды, неизбежной исторической дозой входит учение о «национальной

миссии». Но у этих страшно звучащих слов есть два лица. Одно обращено в прошлое, это — лицо реакции, лицо шовинизма, лицо высокомерной кинофобии. Другое обращено в будущее; это — лицо освободительных движений, лицо дружественности к угнетенным нациям, лицо союзничества с молодыми классами, воюющими за лучшую жизнь. В условиях пятого года и ближайших лет сарьяновский «национализм» подымал пафос, крепил волю, молодил кровь; зритель глядел на холсты, шире дышал и говорил: весело жить. Таким эразмовским разрядом бодрости они отдавали и позднее; они отдают им и по сей день; тут — «вечная молодость» Сарьяна. А десятилетие спустя на сарьяновскую живопись 1915—20 годов легли морщины.

С первого взгляда она как будто та же: те же сюжеты, те же формы, те же приемы. Но, вглядываясь, мы не узнаем. Сарьян подернут сединой. От полотен идет холод, почти какое-то остение. Здесь кистью водили профессионализм и привычка работать, а не подъем сил и не радость творчества. Здесь в основе — повторение, продиктованное памятливым глазом и умелой рукой. Они спокойны и скучающи. Это — подражание; это — опытность, почти ставшая самоцелью, — прошлое, не знающее, что делать с настоящим и нужно ли будущее. Таким бывает искусство, вырастающее в атмосфере, где общественности нечем дышать. Сарьян вместе со временем, вслед за временем расплачивался в эти годы за угар мировой войны и похмелье послеоктябрьских интервенций, под которыми он жил на Кавказе. Его муза побледнела и обессилела. Она старалась быть самой собой, но ее поташнивало и качало; в воздухе было разлито удушье.

6

То, что произошло с палитрой Сарьяна, можно было бы назвать болезнью эпидермы. Его живопись стала словно ободранной: с нее сошел верхний, тончайший слой красок; проступили подготовительные соотношения цветов; они

сделались простоваты и вялы; их живописность ослабевала в той же степени, в какой прибывал декоративизм. Сарьян страдал. Это было худшее, что могло произойти с его искусством. Он был живописцем, а не раскрашивателем холстов. Он не любил ни театра на сцене, ни театра на полотне. Самое плохое, что он делал, было связано с заказами, которые вынуждали его превращаться в декоратора и прикладника. Даже в лучшую пору у него выходило это посредственно. Ему никогда не удавалось постановки, иллюстрации, обложки и прочее прикладных дел мастерство. Он брел в них ощупью, теряя чутье хорошего и плохого и удовлетворяясь приблизительностями. Его эскизы театральные декораций беспомощны. Они интересны скорее отрицательно, — обозначениями природных границ сарьяновского дарования. То же было с его иллюстраторством. Оно напоминает мне — страшно сказать! — еврейскую орнаментику Л. Пастернака, с тем отягчающим различием, что Пастернак искал безвкусицы своей обложечной геральдики прекрасными иллюстрациями бытового характера, Сарьян же оставался верным себе до конца и не мог побороть нелюбви к этого рода затеям; его книжная графика показывает, что она сделана как бы через силу, из внимания к обстоятельствам, которых он не мог, не решался преодолеть; тут есть натуга немилого заказа в противоположность подлинным сарьяновским рисункам, всегдашним спутникам его живописи, в которых карандаш, тушь и акварель обладают чудесной легкостью и полнотой.

Живописность есть здоровье, декоративизм есть болезнь: но это — «северный закон», императив искусства «валёров», где свет есть решающий способ выявления цвета, где глубина тона важнее его звучности, где соотношения малых величин обуславливают в последнем счете взаимную связь больших: это — «peinture peinte» новейших французов, «das Malerische in der Malerei» их немецких интерпретаторов, «живописная живопись» в понимании русских сезаннистов 1910-х годов; это—

цветовая нюансированность импрессионистов, осевшая на палитре Сезанна, и растасканная по праву наследства всеми, кому вздумалось об'явить себя наследником старика из Aix.

У московских претендентов на наследство, у художников «Бубнового валета», подобная живописная система разумеется сама собой. Они не были никогда оригинальны, эти большие ребята, Машковы и Кончаловские, они только хотели иметь право носить значок школы, так сказать, сдать «живописный минимум»; их индивидуальность состояла в конце концов в том, что они не научились грассировать, как природные французы, и у них остался российский говорок; он дал тяжесть, плотность, вес, грубость, но вместе с тем и свежесть их красочным массам; в этом состояла поправка «Бубнового валета» к сезанновскому закону живописи. С другой стороны, мастерам «Голубой розы» тут вообще нечего было делать: обе группы их, и кузнецовская и сапуновская, были декоративистскими или, — ежели нужны оттенки, — первая была декоративна, вторая декорационна, ибо одна вводила приемы сцены в живописание, другая — приемы живописания на сцену. Крымов и Сарьян были и здесь «гадкими утятами», исключениями, — живописцами по преимуществу, искателями светосилы в цвете и глубины в тоне. Но ежели у Крымова, северянина, москвича, поэта русской природы, это являлось как нельзя более естественным, то у Сарьяна оно было необычно и даже парадоксально.

Он представляет собой редкую разновидность южанина, который скован северной сдержанностью. Таков он и в жизни, и в искусстве. Он почти лишен жестов, — во всяком случае той их выразительности, где собраны все возможности экспрессии, от суетливого махания конечностями до дикой энергии движения. Его голос негромок и глух, а в минуты вспышек скорее уходит вглубь, в понижение, чем в крик. Молчание, паузы в его речи равноправны со словами и часто значительнее их. А в его искусстве декоративные основы поставлены в зависимое положение от живо-

писных. С одной стороны, все толкает его к цветной яркости, к крикам красок, к напряженности линий; такова традиция, такова природа, таков быт, которые он передает; соотношение их форм и расцветок — простейшее; история искусства давно превратила их в каноны ориентализма; уйти от них — значит переменить всю систему, как бы поставить Восток и Юг под другое солнце, дать им другую воздушную среду, то-есть выплеснуть вместе с водой и ребенка, как это делали московско-армянские пленеристы. Сарьян же сохраняет систему, но меняет отношения элементов. В пределах профессиональной палитры, в подборе красок, выкалываемых на холст, он остается естественным человеком Юга, природным потребителем яркостей; но он ищет и находит в них ту глубину, где утомительно-беглое сверкание лучей по поверхности предметов теряет свою разобщенность, то-есть объединяется, то-есть гармонизируется, то-есть приобретает живописный склад. Картины Сарьяна ярки, но не пестры; они многоцветны, но не разноцветны; их красочная полифония направлена вглубь, а не наружу; пятна скорее мерцают, чем горят; они мягки и гибки, а не жестки и не натянуты. К ним хочется возвращаться. Глазу не суетно, не больно, не утомительно. Живопись Сарьяна, это — зной под тенью.

7

Но эта тень стала медленно покидать Сарьяна, когда началось переломное десятилетие. Зной обнажился. В картинах стало заметно то, чего раньше мы не видели и что видеть были не рады. Ориентализм — чертополох восточного искусства — проступал ощутительно и иногда даже назойливо. Ежели и нельзя сказать, что в 1911 — 1920 годах Сарьян изменил своей стране, то во всяком случае он стал к ней спиной. Он писал словно бы наизусть, — что и как вспомнится, — издали, упрощая и огрубляя, часто довольствуясь схемами и приблизительностями. Как ни эффектно было бы приписать его тогдашним на-

строениям гражданскую глубину знаменитых стихов Микель-Анджело: «Mentra qu'il danno — E la vergogna dura — Non veder, non sentir...», их давления наш герой не выдержит. Не столько он закрывал глаза, сколько ему их закрывали и легонько повертывали к событиям спиной. Он был не субъектом, а объектом эпохи; не он ее формировал, а она в нем себя проявляла. Если когда-нибудь и существовал волошинский Сарьян, он существовал именно в эту пору; и закономерно, что «Аполлон» 1913 года канонизировал в нем то, что соответствовало образу и подобию самого журнала.

Сарьян действительно «бежал». Он путешествовал теперь по Востоку. Он был в Турции (1910), был в Египте (1911), был в Персии (1913). Это должно было дать и дало двойственный итог: положительный и отрицательный разом, — положительный вначале и отрицательный в конце. Турецкие полотна — еще сарьяновские, настоящие; мотивы Египта — уже двойственны; персидские же холсты стали преддверием кризиса. В Константинополе Сарьяна привлекало то, что сближало Турцию с Закавказьем; это не меняло основ, а лишь расширяло оттенки народной жизни, утончало прием живописной техники, обогащало круг любимых сюжетов. Можно сказать, что Сарьян почти упразднял государственную границу; во всяком случае он глядел и воспроизводил константинопольские мотивы братственным, интимным глазом, как свой, как близкий. Больше того, именно эта непринужденная возможность взглянуть на себя и на свое чуть-чуть со стороны, резче почувствовать, что ты есть, давало константинопольским холстам подчас наиболее типичный «сарьяновский» характер. Цветы, фрукты, ослики, буйволы, лавочки, улицы этого турецкого 1910 года, — может быть, самое цветущее, живое и привлекательное, что есть у Сарьяна ранней поры. В чужой стране Сарьян как бы узнавал страну собственную и писал чужую жизнь, как свою.

Но дальше пошло под уклон. Уже Египет в следующем году стал привле-

коть его экзотикой. Сарьян не столько гживался, сколько любопытствовал. Его соблазняли непривычности форм и обликов. Он брал их, повертывал и говорил: «Смотрите, каковы!» Он тешил ими себя и зрителей. Это еще не было самоцелью, но занимало достаточно много места, чтоб «ориентализм» впервые сделался ощутительным в его искусстве. А спустя два года Персия довершила то, чего требовало безвременье. Она даже стала отбрасывать тень назад, — на сарьяновское Закавказье. Родную страну он стал теперь писать, как чужую. Отныне начали у него нарастать ориентальные мотивы, повысился декоративизм, усилилась отвлеченность изображения, оголилась техника.

Она приобрела порой даже раздражающий характер. Сарьян обычно работал темперой. Вся профессиональная прелесть его мастерства заключалась в том, что этот грубоватый, рассчитанный на простейшие приемы и несложную яркость, традиционный материал театральных декораций, приобретал в сарьяновских руках небывалую гибкость и оттеночность; он не утрачивал силы цвета, но вместе с тем подходил к самым границам живописи маслом и акварелью. В пределах общих, больших, ритмически построенных контуров и цветовых масс Сарьян делался капризном кисти, сугубым импрессионистом мазков, линий, пятен, нанесенных нервно, точно бы беззаконно, вкривь и вкось, но в действительности сочетающих легкость и верность, непринужденность и меткость. Простоватая темпера зыбилась под сарьяновской кистью, пенилась, скользила оттенками. Она сохраняла яркость, но приобрела тонкость.

А теперь стало то, да не то; приемы сохранились, но их суть выветрилась. Темпера оставалась только темперой. Когда Сарьян спускал ее яркость с привязи, она лезла вперед, точно в декорациях на сцене; когда он сдерживал ее по-старому, в ней появлялась белесоватость, как будто полотна стояли на солнце и выщвели. В эту пору, девяносто пятнадцатых-двадцатых годов, никогда нельзя было сказать, чем окажется

Сарьян на ближайших выставках — излишне живым или излишне мертвенным. Будут ли его холсты кричать не своим — действительно не своим! — голосом, или станут являть бледную немочь, расслабленность растерявшегося существа. Будь времена иными, дело с кризисом Сарьяна заняло бы почетное место в суждениях критики и отношениях коллекционеров; но, на жизненное счастье Сарьяна, шла война, потом революция, потом интервенции и блокады, и художнику дано было время отсидеться. И он отсиживался. Он мало писал, того меньше выставлял, и еще меньше с него требовали, впрочем как и со всех его собратьев по кисти, ибо было «не до стихов...», как Тютчев некогда сказал.

8

Его история этих лет кратка и, собственно, внехудожественна. О Сарьяне вспоминали так же редко, как сам он напоминал о себе. Мы знали одно: что он не умер, где-то сидит на Кавказе и, кажется, не работает. Правда, изредка, своего рода визитными карточками, появлялось в Москве несколько новых картин, обычно в связи с общими выставками или заграничными выступлениями советского искусства, — вроде венецианских международных смотрин. Эти сарьяновские присылки свидетельствовали, что художник жив и даже, вопреки слухам, что-то делает, однако делает все то же и так же, кризиса не одолевает, улучшения не видно, и в конце концов это тянется уже так долго, что можно, пожалуй, считать историю конченной и больше не беспокоиться. А затем пришло известие, что Сарьян поехал за границу и засел в Париже.

Сарьян и Париж! Неестественность сочетания как бы подтверждала тяжесть положения. Это воспринималось в первую минуту с огорчением, так как Сарьяна все любили, и жалко было, что он дошел до такого состояния, а потом — с пожиманием плеч, означавшим, что против рожна не попрешь и что приходится предоставить большого его судьбе.

Их собралось много в Париже 1925 года, этих изгоев Советской России, самомнительных и робких разом, приехавших примерить свою отечественную известность к парижским масштабам или обменять свои отечественные неудачи на парижское признание и неизменно убеждавшихся, что здесь все они равны, всем надо переучиваться и запастись терпением, ибо зарубежных репутаций тут не существует, каждый должен начинать сначала, а кто не хочет, не умеет или не может, тому лучше сразу же возвращаться во-свояси. Оказывалось, что каких-нибудь две-три улицы, и даже не улицы, а улочки, вроде rue de Seine, со своими картинными лавочками, носящими громкое название «галлерей», и законодателями вкусов, довольствующимися скромными кличками «маршанов», перевешивают все национальные школы искусства; а два-три кафе на Монпарнасе, какие-нибудь café de la Rotonde или café du Dome, собирающие по вечерам за столиками, с café сгеме или аперитивом, международные толпы художников, образующих новейшую «парижскую школу» живописи, сводят на нет все академии мира, и «Ecole des Beaux Arts» Парижа — прежде всего. Нужно было быть Шагалом, здесь вываренным, препарированным и поданным свету, — возвратившимся в Париж, как к себе в Витебск, и обрадовавшимся с Парижем, как с Витебском, — знавшим всех и знакомых всякому, — пробывшим на родине, в России, точно в заграничной командировке, — чтобы продолжать продвижение с того самого места, где оно оборвалось в девятьсот четырнадцатом году, обрастать шумом и достатком и покоряюще-дурашливо, с блаженным веселием хлопывать по брюху славу, которая сама напрашивается в сожигательницы. Вообще же здесь нужно было просидеть годы и годы, подтянуть живот, обломать глаза и руки, никогда не отчаиваться, верить в себя, сунуть прежде всего поглубже в воду все концы, оставшиеся от русского искусства, чтобы в итоге упорства и метаморфоз добыть маршана и получить американскую или японскую клиентуру, признающую твои

холсты французскими по той причине, что они прибывают в парижской упаковке и с форменным ярлыком галлерей с улицы Сены или улицы Беотии.

Это — длительный, тяжелый и слишком часто безнадежный искус. Когда Сарьян приехал в Париж, там уже долго и безрезультатно сидели и приспособленствовали разные былые известности русского искусства. Они сидят до сих пор и все с тем же эффектом. Ау! Юрий Анненков, где вы? на горизонте парижской славы вас так и не видно; а ведь вы обещали море зажечь... Александра Экстер, — стоит ли сиднем сидеть в Париже, чтобы поставлять эскизы декораций всем художественным провинциям мира, но только не pays d'adoption, ибо она в вас не нуждается? Василий Шухаев, знаете ли вы, что вашего имени не выговорит ни один парижанин, не потому, что оно трудно, а потому, что оно не существует? Александр Яковлев, Яковлев, переставший быть чем-либо в русском искусстве и не сделавшийся ничем в искусстве французском, так ли уж увлекательно писать боливийских кулчих то под Энгра, то под Тропинина, чтобы оплачивать виллу наверху Монмартра? А ведь вас, блестящего виртуоза и превосходного монументалиста, могли бы ждать стены советских дворцов и клубов. Натан Альтман... Увы, даже Натан Альтман, акула отечественных вод, оказался сонной рыбешкой в парижском резервуаре и позволяет времени нестись мимо, юнцам обгонять, а советскому искусству все больше забывать, что он еще недавно был одной из крупнейших его величин.

Я застал Сарьяна в Париже в 1927 году. Он жил замкнуто. Он держался в стороне от художников, маршанов и кафе. О том, что он здесь, знали мало и еще меньше интересовались. Он не просился в парижане, не хлопотал о славе, наподобие соотечественного N. N., над которым хохотал весь Париж, так как он принял министра народного просвещения за авторитетную персону в искусстве и напечатал несколько тирад де Монзи в качестве предисловия к каталогу своей выставки. Сарьяна в Париже как бы не было. Он жил здесь для себя

и что-то для себя делал. Но что? Большой охоты встретиться с ним у меня не было: какая радость видеть в упадке талант, который когда-то так нравился? Что мог бы я сказать ему? Поучать — излишне, соболезовать — бестактно, притворствоваться — трудно. Обстоятельства все же сложились так, что не навести его было нельзя. Это было бы худшей из обид, а он не заслужил никакой. Я поехал, настороженный и собранный. Но это оказалось ни к чему. Я был посрамлен. То, что я нашел, было неожиданно. Дело было не в том, что Сарьян опять писал прекрасные вещи, обрел самого себя и находился в полноте и удаче, — совсем нет! — а в том, что он убежденно, истово и просто сел на ученическую скамью.

Да, он учился. На мольбертах в его мастерской, у стен, кучками стояли этюды, какие делают неопиты Парижа, стремящиеся усвоить навыки живописности, пробивающиеся к утонченностям валёров, ищущие проникновения в волшебство палитр Ренуара и Утрилло. Он показывал мне свои опыты, удачные и неудачные, с дружеской серьезностью и обычной застенчивой, милой улыбкой, говорившими, что он ничего не прячет, так как я — свой, так как он верит, что я-то уж несомненно пойму и оценю, что значит для него эта работа, к чему она ему, и куда она его выведет. Он перешел на новую технику, как это теперь нужно было: он работал маслом. Тут были виды Сены, — берега, волны, люди, барки, — прозрачно-жемчужная дымчатость парижского воздуха, мягко вспыхивающая цветными бликами предметов и существ, отливающая теми особыми отсветами масляных красок, которые умеют так сдержанно и внутренне мерцать только на полотнах настоящих мастеров.

Творческая тактика была ясна. Сарьян вел глубокий инстинкт. Он опять пробивался к лучшему в себе. Северный закон живописи, который когда-то давал такое благородство и свежесть его ранним работам, должен был снова освободить его от изнуряющего экзотизма промежуточных лет. Париж был для него чистилищем на пути к самому себе,

а не местом искательного ренегатства очередного кандидата во «французы». Сарьян не утаил от меня и тех вещей, которые продолжал делать в обычном, прежнем, «сарьяновском» стиле. Тут было больше срывов, чем удач. Почти все носило двойственный характер. Декоративизм и живописность спорили. Старые шаблоны теснили свежие элементы. Но важно было не это, а то, что среди вялого большинства этих парижских холстов 1926 — 27 — 28 годов уже было несколько работ нового характера. Они говорили, что кончалось сарьяновское безвременье и сквозь него уже пробивался обновленный Сарьян нынешних лет.

9

Он вернулся в самом деле обновленным. С обычной разборчивостью и скромностью он не торопился развернуться на выставках и продемонстрировать свой ренессанс. Ежели бы дело шло только о новых приемах живописи и о свежести глаза и палитры, которые дал ему Париж, все обстояло бы просто. Но решало не это, не только это. Мало было привезти с собой запас сил и обостренное мастерство. Нужно было еще найти в них соответствие тому, что делалось вокруг. А вокруг шла иная жизнь. Пока он ученичествовал в Париже, советская Армения строилась заново. Жар работы перелицовывал города и обновлял землю. Сарьяну предстояло нагонять свою страну, но нагонять не петушком, не приспособленцем, не изготовителем сюжетных заказов, а тем же подлинным и строгим к себе художником, каким он был всегда.

Он наблюдал и раздумывал; он двинулся вперед медленно и осторожно; он не старался разом перемахнуть через неизбежные этапы; он предпочитал выслушивать попреки в запаздывании, чем быть виновным перед совестью и эпохой в поверхности и неискренности творчества. По сей день еще он много работает и мало выставляет. Но то, что мы видим на выставках, свидетельствует, что внутренние пласты его искусства пришли в движение. Рядом с привычны-

ми мотивами уже разрастаются опыты новых тем. Всюду проступают свежие ритмы композиций и усложненная техника живописи. Сарьян явственно вступает в новый период творчества. Он подлинно реалистичен. Давно уже не было у него такой жизненности, как в работах этих текущих лет, и давно уже не чувствовалось такого запаса тонкости и взыскательности в его приемах, как сейчас. К его маслам и акварелям подходишь радуясь, как радовались мы когда-то, десятилетие назад.

Но он еще неровен. Он дает полную меру своим силам в сюжетах, к которым привык, которых не боится, в которых уверен, — в пейзажах, в цветах, в натюрмортах. Новые темы складываются труднее. Они еще сковывают ему руку. Он подходит к ним робче. Его «Строительства» — больше «пейзажи», чем

«индустриализация». Его приемы тут скорее дробны, чем тонки. Это чаще опыты, чем решения. Сарьян прошел большой путь, но он еще нагоняет, а не идет в ногу со временем. Это дело его будущего, скажем, его ближайшего будущего, — этих вот, наступающих лет.

Он носит звание народного художника. Революция дала этот титул лучшим мастерам искусства. Большинство получило его за то, что они уже сделали. Это — награда за старые, давно понесенные труды. Но для кое-кого, это — также кредит на будущее. Так кредитован и Сарьян. Ежели в его кругу есть в самом деле художники, соединяющие заслуги прошлого с возможностями будущего, то Сарьян среди них — один из немногих, кто уже сейчас носит свое звание не только как почетное отличие, но и как выполняемое обязательство.

Книжное обозрение

1. ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА. „Юность Маркса“.— Дм. Гельман. **2. М. КАХАНА. „Осенние маневры“.**— М. Полякова. **3. Х. ШЕПЛИ. „От атомов до млечных путей“.**— В. Е. Львов

Галина Серебрякова. — «Юность Маркса», роман, книга первая. ГИХЛ. 1934 г., стр. 194, ц. 2 р. 25 к., пер. 75 к.

«...С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачивания их, выходящая содержание революционного учения, притуляя его революционное острие, опоясывая его...» (В. И. Ленин — «Государство и революция»).

Эти слова Владимира Ильича могут быть отнесены не только к учению Маркса, но и к его личной жизни, к его биографии, которая в течение десятилетий подвергалась соответствующей «обработке» в интересах буржуазии и ренегатов международного рабочего движения. Неукротимый революционер и гениальный мыслитель, после смерти которого «человечество стало на целую голову ниже», превращался по милости лживых историкографов и мнимо объективных «комментаторов» в нетерпимого сектанга-догматика, в замкнутого кабинетного ученого, «оторванного от реальной действительности», и даже в «филистера». Учение титана революционной мысли и действия было очищено Лениным и продолжателями его дела от всех ревизионистских «поправок» и стало знаменем борьбы сотен миллионов трудящихся. Оно нашло конкретное воплощение на территории одной шестой шара, и только у нас, в СССР, представилось возможным заняться подлинно научной разработкой огромного теоретического наследия,

оставленного Марксом. Специально организован в Москве институт его имени (впоследствии институт Маркса — Энгельса — Ленина) проделал большую работу по собиранию и систематизации документов, относящихся непосредственно к деятельности основоположников научного социализма и к эпохе, в которой они жили и боролись. Извлеченные из недр социал-демократических (главным образом германских) архивов материалы и оставшиеся до сих пор неизвестными некоторые письма Маркса — Энгельса явились не только ценным вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма; они позволили подойти вплотную к изучению многогранной личности величайшего в истории человека, к раскрытию его внутреннего облика.

Эти материалы и легли в основу романа Галины Серебряковой «Юность Маркса», который является первой попыткой (если не считать неудачной попытки поэта Кирсанова «Товарищ Маркс») разрешить тему «Маркс» средствами искусства.

«Юность Маркса» представляет собой первое звено романизированной биографии, доведенной автором до 1837 года. Тема юности ждет своего продолжения во второй книге. Поэтому трудно судить по фрагментам о выполнении писательской задачи в целом. Нам остается только вскрыть основные тенденции, присущие данному художественному произведению, и определить их дальнейшее направление. «Предварительный» анализ созданных автором образов и композиционно-стилистических приемов дает основание для заключений о правильном выборе пути, по которому пошла Галина Серебрякова. Она не только умело монтирует отдельные исторические факты и эпизоды из жизни деятелей прошлого, не только раскрывает психологию своих персонажей, но также выявляет их социальную закономерность и обусловленность, соблюдая при этом нужную перспективу и вместе с тем отказываясь от так называемого объективизма в отношении оценки и описы-

заемых ею явлений. Она их оценивает с позиций сегодняшнего дня, с позиций советского пролетариата, влитавшего в себя революционный опыт всех времен и народов и доказавшего, что только рабочий класс способен стать единственным творцом истории.

Оперируя подлинными документами эпохи, Галина Серебрякова воссоздает исторический фон, без которого немислимо проникновение к истокам биографии Маркса-революционера. Главы, относящиеся к Лионскому восстанию, к утопическому социализму и революционному брожению в Германии, дают достаточно полное представление о нарождающемся рабочем движении и о политико-экономических предпосылках его возникновения.

Наряду с этим писатель знакомит нас с социально-бытовым окружением, с той средой, соками которой питался молодой Маркс, уже в те годы настроенный по отношению к ней оппозиционно. Главы, непосредственно относящиеся к герою книги, отражающие процесс формирования психики одаренного ребенка, должны быть признаны наиболее удачными, сделанными рукой художника, умеющего творчески заполнять неизбежные пробелы в строго исторической документации фактов из биографии великого человека. Образ «черного львенка», не по годам развитого, живого, энергичного, «отягощенного разветом излишеством поставленных целей», раскрыт автором во всей полноте изнутри и показан в динамике; при этом в романе нашли отображение те особенности яркой индивидуальности Карла, которые впоследствии стали доминирующими в его биографии (школьное сочинение на тему «Размышления юноши при выборе профессии», разговор Карла с Женни перед отъездом в Бонн, беседа с отцом и т. д.).

Галина Серебрякова чувствует себя устойчиво на почве быта интеллигентских и буржуазных семей, отдельные детали которого отличаются почти скульптурной выразительностью. Вот почему персонажи, поданные в окружении этого быта, вырастающие из него, носят на себе отпечаток подлинного «духа» того времени и приобретают типические черты эпохи, на фоне которой отчетливее постигается монументальный образ будущего борца за лучшие идеалы трудового человечества.

К сожалению, портретная живопись Галины Серебряковой становится беднее красками, когда она переходит к изображению рабочих и революционеров. В обрисовке Шарля и Катерины Буври, Андре, Локомба, Георга Бюхнера, Вейцера и других видны следы торопливости и неуверенности в своих силах. Автор предпочитает больше рассказывать о рабочих персонажах, чем показывать их, а такой метод неизбежно приводит к обеднению образа, к его схематизации.

Особенно неуверенным и даже беспомощным чувствует себя автор в описаниях массовых сцен (Лионское восстание), в которых обнаруживается та же поспешность, желание как

можно скорее поставить точку. Эти обстоятельства обусловили стилистические особенности первой главы, отличающейся художением образов и языковой невыразительностью («Для неграмотных женщин торжественные молитвы в разукрашенной церкви были главным развлечением, выходящим далеко за узенькие рамки их скупой жизни»; «Зарницей сверкнули обнажившиеся пашки»; «Ничета была интернациональна и одинакова по Рейну и по Роне, благодаря чему немец всюду чувствовал себя дома, нигде не зная одиночества»; «Оторопевшие было пролетарии бросились искать выхода их тупика, в который их завели» и т. д.).

В то же время главы, относящиеся к трирскому и боннскому периодам жизни юного Маркса, отличаются тщательностью отделки и местами словесной чеканкой, изобличающими в авторе любовное отношение к языку, стремление к максимальной пластичности и выразительности; следы такой работы над текстом можно найти и в первых двух книгах несомненно даровитой и вдумчивой писательницы («Женщины эпохи Французской революции» и «Очная ставка»).

Перечисленные недостатки, легко устранимые в последующей работе над романом (ну ждающимся между прочим в перелланировке глав, так как первая глава несколько выпадает из общего композиционного плана), ни в какой мере не умаляют его достоинств. Роман должен быть признан бесспорной удачей Галины Серебряковой, подошедшей со своей стороны ей серьезностью к разрешению столь ответственной задачи, как создание романизированной биографии Маркса.

Д.м. Гельман.

М. Кахана — «Осенние маневры». ГИХЛ 1933 год. Стр. 172.

М. Кахана есть о чем рассказать советскому читателю.

Его «литературный материал» приобретен им в реальной и трудной борьбе (автор прошел суровую школу коммунистического подполья в Румынии и Венгрии).

Но он — неважный рассказчик, не овладевший еще техникой литературного мастерства. Отсутствие мастерства чувствовалось уже в поспешной, незаслуженно названной романом. «Тактике». Но художественные недостатки книжки — прозаический, сухой язык, примитивность и догматичность характеристик — искупались ее мемуарным и автобиографическим характером.

«Тактика» являлась книгой о «собственной жизни», о пройденном пути, книгой о том румынском подполье, в котором много лет работал автор.

Этим она интересна, а местами и увлекательна.

Реальность материала дала ей композиционную связность и динамичность, которыми не владеет Кахана-беллетрист.

В «Осенних маневрах» Кахана от автобиографического рассказа о румынском подполье переходит к беллетристическому изображению румынской деревни.

Роль литературного построения вырастает, а с ним Кахана не справляется.

Композиционно рассказы очень слабы.

Эпизоды и детали вяло и искусственно связаны между собой. Чередование их случайно и явно невыгодно в смысле художественного впечатления.

Так, Кахана сначала даст сцену обыска солдата, а затем, когда обыск закончится, объяснит читателю, где были спрятаны летучки; сначала писатель расскажет о том, что группа солдат опоздала к перекличке, опишет их возвращение и только потом пояснит, где же они были и что делали (история голодных солдат).

Такой метод чередования идет вразрез со всеми законами занимательности, один из которых — постепенное драматическое нарастание действия, позволяющее читателю участвовать в переживаниях героя. Хотя рассказы М. Кахана посвящены действительному эпизоду, — неудачным маневрам румынской армии, закончившимся возмущением в полку и восстанием крестьян, — в них, в сущности, почти нет действия как непрерывно развивающейся цепи поступков и происшествий. Действие разрушено неумелой композицией.

Неблагополучно у Кахана обстоит дело и с обрисовкой персонажей. В рассказах много человеческих фигур. В них действуют крестьяне и солдаты, начальство и жандармы, но фигуры эти не живые.

Излюбленный прием М. Кахана, которым он изображает своих героев, прост: политическая анкета и несколько вялых реплик.

Анкетным путем изображает Кахана и сложные душевные превращения.

И только в некоторых немногих случаях Кахана показывает своих героев в действии — Мурешана, Чонаша, Карла Шиндера, но исключения эти редки, да и изобразительская сила показа невелика.

Само революционное брожение румынской деревни изображено более поверхностно, чем история рабочего подполья в «Тактике». Очевидно, первое ближе автору.

Непонятно, почему Кахана так заострил свое внимание на переживаниях крестьянина Карла Шиндера, трепещущего, что у него реживируют породистую лошадь, и сделал его одной из главных фигур двух рассказов — «История барандских конокрадов» и «История восстания в Баранде».

За всем тем книжка дает ряд сведений о жизни румынской деревни. Но ведь не одних сведений мы ждем от художественного произведения.

Язык книги скучный и бесцветный.

За многие стилистические грехи отвечает, разумеется, переводчик, фамилия которого на обложке почему-то не проставлена.

Тов. Кахана нужен литературная школа и хороший редактор.

М. Полякова.

Х. Шеппи — «От атомов до млечных путей».
ГТТИ, 1934 г.

Русский перевод книги Харлоу Шеппи — событие, в важности которого сомневаться больше нельзя.

Поставлен вопрос о сотрудничестве литературы и науки, вопрос, скрывающий в себе не одну, а две темы.

Тема первая: отражение науки (ее быта, ее кадров, ее вещного и идейного инвентаря) в литературе. Об этом больше всего говорят. Спору нет, законная, важная, актуальная тема. Но гвоздь вопроса — в том, что взаимоотношения между литературой и наукой не исчерпываются ею. Есть вооружение литературы наукой. Но есть и вооружение науки литературой. Есть пополнение багажа писателя научной тематикой. Но есть и оснащение ученого литературной техникой и мастерством.

Печатная продукция ученого ограничивалась до сих пор сжатым изложением работ в соответствующих журналах. Затем — учебники.

Но вот — новый жанр. Ярчайшая публикация науки методами литературно отточенного, поднятого на высокую философскую ступень, взволнованного слова.

Повторяю: не роман об ученом, а сам ученый и на высокой общественной, на литературной трибуне.

Это — совсем особая книга. Любители легкого, «вагонного» чтения не получат здесь ничего. Это — крепкий ясткой науки, заключенный в бокал блестящей литературной формы. Автор «Атомов и млечных путей» — призванный лидер современной экстралактической астрономии, то-есть того авангардного участка науки о небе, который оперирует уже не планетными системами и не отдельными звездами, а федерациями из миллионов звезд — галактиками, от самой близкой из которых свет доходит через миллион лет.

Пружина, стремительно разматывающая действие в «Млечных путях и атомах», — пафос материи. Материя, клубящаяся специальными завитками, материя, распростертая на квадриллионы километров, материя, спрессованная в пространстве, в триллион раз меньшем булавочной головки.

Движет действие — постепенно усложняющаяся самоорганизация вещества: от электрона — к атому, от атома — к молекуле и кристаллу, от кристалла — к планете, от планеты — к звезде, от звезды — к галактике, от галактики — к сверхсистеме миллионов галактик. Волнующее, захватывающее дух восхождение.

И наконец самое главное: Шеппи — в отличие от формально родственной, по насквозь поповской по содержанию эдингтон-джинсовской литературы — стихийный материалист. Стихийный и полусознательно, под напором врывающейся в книгу объективной реальности, он доходит до подлинно диалектических обобщений, до картины бескопечно-

го и неисчерпаемого мира. Шепли, в отличие от Эддингтона и Джинса, не рассматривает электрон, не рассматривает «метagalактику» (сверхсистему всех «галактик»), как принципиальные пределы экспансии науки в микро- и макромире. «Какое право имеем мы требовать для электронов и протонов быть наименьшими?» (стр. 26). «Непрерывно возрастающее познание вселенной может скоро перешагнуть современные границы» (границы электрона и метagalактики). «Мы должны учесть существование систем, превосходящих те, которые доступны нашему уму. Научные утверждения относительно предельных размеров, предельных масс или границ организации... представляют собой догму...» (стр. 125.).

Превосходный удар по обскурантизму «распирающихся вселенных», конечных «радиусов мира» и прочего в том же роде!

С наименьшим удовлетворением советский читатель отмечает ту последовательную линию на развенчание и дискредитацию поповского геоцентризма, которой придерживается Шепли в своей научной поэме. Нужно знать, как сильны геоцентристские рецидивы в современной буржуазной астрономии: спустя столетия после Фонтенеля сэр Джинс с легким сердцем трактует солнечную систему как единственную планетную систему во вселенной. Вторя ему, сэр Эддингтон глубокомысленно калькулирует число электронов в звезде и в человеческом теле. Тело среднего человека содержит 10^{29} электронов Масса же средней звезды равна 10^{29} массы человеческого тела. Отсюда «вывод» о божественном провидении, мудро поставившем тело человека «на полупути от звезды к электрону». Анализ этой проблемы не оставляет сомнений у Шепли. «Наше центральное положение в шкале размеров является не более как еще одной из числа нелепых иллюзий, заставляющих человека считать, что он находится непременно в центре доступного измерения мира... Мы не можем приписывать никакого космического значения положению человека во вселенной. Мы только снисходительно рассмотрели одну праздную фантазию...» (стр. 28).

Было бы странно при всем том предполагать, что «Атомы и млечные пути» не испещрены многими рсдинными пятнами, исходящими от психоидеологии той общественной среды, к которой принадлежит американский астроном. Да, эти родимые пятна безусловно наличествуют в «Атомах и млечных путях», да Шепли откладывает здесь дань и тривiallyному агностицизму, и профессорским антиматериалистическим предрассудкам, и даже религии. Но все дело в том, что философские грехопадения эти являются вполне посторонними довесками к насыщенному совершенно другим содержанием, горящему самому за себя тексту. Мало-мальски методологически чуткой редакции ничего не стоило бы тактично отретушировать эти места.

Перечислим их.

На странице 30-й Харлоу Шепли, после некоторого раздумья, решает уклониться от ответа на немаловажный вопрос: следует ли соглашаться о теми исследователями, которые предпочитают, чтобы световые кванты были исключены из списка материальных систем? Эти исследователи «полагают, что материя, будучи трансформирована в радиацию, становится нематериальной».

На странице 119-й однако он «более не колеблется» рассматривать материю и излучение как разные формы энергии (!). «Солнце в одну секунду, — искренне уверяет Шепли, — излучает со своей поверхности четыре миллисна тонны энергии».

В этих примечательных пунктах вместо смешной басни о материи как о «форме энергии», вместо рассказа об энергии, «обладающей массой» в сорок миллионов тонн, физик-материалист хотел бы, разумеется, видеть несколько иную интерпретацию формулы эквивалентности Эйнштейна, чем та, которую дает Харлоу Шепли. Физик-материалист сказал бы здесь, что материя не может быть формой энергии, потому что энергия есть форма существования материи. Физик-материалист указал бы, что солнце не излучает никакой (несуществующей в реальной природе) «чистой» энергии, а испускает материальные частицы — фотоны, несущие с собою ту порцию энергии, которая им полагается по формуле Эйнштейна.

Так сказал бы физик-материалист. И так должна была сказать редакция (профессор С. Н. Блажко), если бы она не предпочла занять позицию скрещенных рук.

Но вот на странице 120-й Харлоу Шепли вновь не удерживается от соблазна взять агностический курс в старом (решенном Энгельсом еще 60 лет назад) вопросе о «тепловой смерти мира».

«Доступная нашему познанию вселенная, повидимому, состоит из догорающих углей; каждое пламя окружено ненасытным холодом пространства, не только поглощающим свет и тепло, но истощающим в конце концов весь запас топлива, которым питаются эти обреченные огни... Избежим ли мы «тепловой смерти» вселенной в силу какого-либо обращения космических процессов, какого-либо воссоздания звездных масс... Не может ли растрченная радиация преобразоваться в корпускулы, атомы, молекулы и в конце концов в туманности и звезды, замещающие угасающие светила... Безопаснее задавать такие вопросы, чем пытаться на них ответить...»

Но на странице 5-й тот же Харлоу Шепли находит мужество дать правильный ответ. Эти (междузвездные и междугалактические) области являются могилами умирающих звезд и могут заключать в себе ту космическую почву, из которой возникают новые звезды и «млечные пути»

Типичная непоследовательность буржуазного естествоиспытателя, стихийно нащупывающего правильные диалектико-материалистические пути, но быстро сбивающегося в агностическое болото...

И наконец на 125-й странице наш астроном уже готов простереть свой либерализм и свою «терпимость» вплоть до оставления лазеек религии.

Он неуверенно возражает тем, кто пытается «продолжить астрономическую классификацию», вписав в нее «нечто, превосходящее материальную вселенную»: «Абсолют», «Разум». «Разум, по мнению Шепли, выходит за пределы этой существенно одномерной ма-

териальной классификации». «Если Разум вообще где-либо объявляется, то разве он не может входить в каждый класс или подкласс или быть преобладающим элементом во втором измерении классификации?»

Редакция «Атомов и млечных путей» несет бесспорную ответственность за оставление и этого курьеза.

Второе издание, будем надеяться, снимет все идеологические катаракты с этой волнующей книги, жаждущей своего развития и дополнения другими книгами, вышедшими уже из под пера советских ученых.

В. Е. Львов.

Редакция

А. И. Безыменский,
Ф. В. Гладков,
В. В. Григоренко,
И. М. Грокский,
Л. М. Леснов,
А. Г. Малышкин,
В. П. Ставский.

Отв редактор И. М. Грокский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».